Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ISSN 2079-9691

ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК

Випуск 15

Харків-2016

УДК 930 (082.1)
ББК 63.3я5
Х 21

Затверджено до друку рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 15 від 28 листопада 2016 року)

Редакційна колегія:

д-р іст. наук, проф. Посохов С. І. (головний редактор); д-р іст. наук, проф. Астахова К. В.; д-р іст. наук, проф. Богдашина О. М.; д-р іст. наук, проф. Журба О. І.; канд. іст. наук, доц. Іващенко В. Ю.; д-р іст. наук, проф. Каплін О. Д.; канд. іст. наук, доц. Кісельова Ю. А. (відповідальний секретар); канд. іст. наук, проф. Куделко С. М.; д-р іст. наук, проф. Орлов І. Б.; канд. іст. наук, доц. Павлова О. Г.; д-р іст. наук, проф. Петровський В. В.; д-р іст. наук, проф. Сінкевич Є. Г.

Редакційна рада:

д-р. іст. наук, проф. Астахова В. І. (Харків) – голова; д-р. іст. наук, проф. Болебрух А. Г. (Дніпро); д-р., доц. Дроснева Е. (Софія); д-р. іст. наук, проф. Зашкільняк Л. Й. (Львів); д-р. іст. наук, проф. Колесник І. І. (Київ); д-р. іст. наук, проф. Корзун В. П. (Омськ); д-р. іст. наук, проф. Кравченко В. В. (Едмонтон); д-р. іст. наук, проф. Маловічко С. І. (Москва); д-р. іст. наук, проф. Меньковський В. І. (Мінськ); д-р. іст. наук, проф. Пиріг Р. Я. (Київ); канд. іст. наук, проф. Попова Т. М. (Одеса); чл.-кор. РАН, д-р. іст. наук, проф. Рєпіна Л. П. (Москва); канд. іст. наук, доц. Румянцева М. Ф. (Москва); д-р. іст. наук, проф. Удод О. А. (Київ).

Адреса редакційної колегії: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра історіографії, джерелознавства та археології (5-56).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8073 від 29.10.2003 р.
Наказ МОН України про реєстрацію
у «Переліку наукових фахових видань України» № 1328 від 21. 12. 2015 р.

Харківський історіографічний збірник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 15. – 340 с.

У випуску наукового збірника зібрано статті з широкого кола проблем теорії та історії історичної науки та освіти.
Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історіографією.

На обкладинці використано літографію «Вічні птахи» члена Національної спілки художників України Н. С. Вербук.

УДК 930(082.1)
ББК 63.3.я5

ISSN 2079-9691

©Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, оформлення, 2016
Автори, 2016

Від редактора

Традиційно на сторінках «Харківського історіографічного збірника» обговорювалося широке коло питань, пов'язаних із розвитком історіографії як спеціальної історичної дисципліни. Також певна частина статей зазвичай була присвячена проблемам методології та історичної освіти. Цього разу у центрі уваги багатьох авторів опинилася історична пам'ять. Останнім часом не лише професійні історики почали активно обговорювати такого роду питання. Пояснюється це тим значенням, яке сьогодні приділяється історичній свідомості та політиці пам'яті. Вочевидь, що своє слово з цього приводу мають сказати й фахові історики, в тому числі й історіографи. Саме тому 20–21 жовтня 2016 р. в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна були організовані XIV Астаховські читання на тему ««Своє» й «чуже» в історичній пам'яті та історіописанні». Під час роботи конференції відбулося обговорення таких питань як: колективна пам'ять як історичний спадок; символічні прояви когерентності історичного спадку; етнокультурні зони та ментальні кордони в текстах культури; культурний ландшафт та «місця пам'яті» фронтирних територій; емоційне маркування «своїх» та «чужих» в історичній пам'яті та історіописанні та ін. За підсумками читань доповідачі підготувати тексти статей, які і були подані на розгляд редколегії нашого видання.

Зазначу, що проведення читань та видання цього випуску «Харківського історіографічного збірника» стало можливим завдяки фінансовій підтримці Програми східноукраїнських студій імені Ковальських Канадського інституту українських студій, за що ми висловлюємо щиру вдячність.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРІЇ

УДК 930:929Геродот

А. Буллер

ВОПРОСЫ ГЕРОДОТА

Данная статья содержит основные тезисы моего выступления на XIV Астаховских чтениях и имеет характер, скорее, научного очерка, в котором развитие историко-теоретической мысли анализируется в самом широком временном диапазоне и в самых различных взаимосвязях. Однако в центре внимания стоят здесь всё-таки «геродотовские вопросы» о том, «кто» и «для чего» пишет историю. Вопросы Геродота ставились историками в самые различные эпохи и в самых различных взаимосвязях. Они не утратили своей актуальности и для нас.

Ключевые слова: теория и дидактика истории, нарратив, следы прошлого, медиальная философия.

В данном случае нет необходимости напоминать о том, что *систематические* попытки теоретической рефлексии о научной дисциплине «история» начались в XVIII столетии и начались они именно в Германии. До XVIII столетия имелись лишь отдельные высказывания о роли и функции исторического знания. Одно из самых древних и известных высказываний по этому поводу принадлежит древнегреческому историку Геродоту (V в. до н.э.), который свою знаменитую «Историю» начинает следующими словами:

> «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности...». [1, с. 21].

Таким образом Геродот уже в самом начале своей знаменитой работы даёт ответ на два важных вопроса: «кто» и «для чего» пишет историю?

Своими вопросами Геродот дал толчок теоретической рефлексии об истории, заставив, следующих ему по времени, авторов обратить внимание на тот факт, что любая история создаётся «кем-то» и для «чего-то».

«Вопросы Геродота» помогли историку осознать, что любая история не является «безличностным» конструктом, а она есть «продукт»

© Буллер А., 2016

отдельного, находящегося в определённом времени и конкретном пространстве, исторического автора.

«Вопросы Геродота» позволили историку также понять, что не только историческое событие имеет свои временные и пространственные координаты, но что свои временные и пространственные координаты имеет также исторический автор («кто» пишет эту историю? – Геродот из Галикарнаса).

Благодаря Геродоту, мы стали осознавать, что координаты исторического события и координаты историка находятся в одной и той же взаимосвязи, образуя собой специфическую *временную* структуру, в рамках которой и рождаются любые исторические интерпретации конкретной эпохи.

Более того, поставив вопросы о том, «кто» и «для чего» пишет историю, Геродот таким образом выделил в историческом познавательном акте два его главных момента – *субъективный* и *объективный* момент.

Ведь в вопросе «кто пишет историю?» заключена целая масса самых различных *субъективных* элементов. История пишется отдельными людьми и любой, пишущий историю, человек является неповторимым индивидуумом. Т. е. написание истории есть процесс *субъективный*.

Но Геродот указывает и на *объективную* сторону процесса познания прошлого, которая проявляет себя в вопросе о том, «для чего люди пишут историю?». И в этом «для чего» сконцентрированы *объективные* элементы исторического познавательного акта, потому что любой историк, в каких бы условиях он свою историю не писал, пишет её для того,

> «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния... не остались в безвестности».

То есть, написание истории для Геродота не является чисто *субъективным* актом, а есть процесс, который преследует *общие* или даже *вечные* цели. Ведь все историки, как правило, стремятся выделить самое важное в истории, описать прошлое достоверно, не дав ему бесследно исчезнуть в пучине времени. В одном предложении Геродота о том, «кто» и «для чего» пишет историю, скрывается целая масса мыслей и идей.

К большому сожалению «Вопросы Геродота» на долгое время оказалась в забытьи. Лишь в XVIII столетии к вопросу о том, «кто» пишет историю, опять обратился немецкий теолог и историк Йоганн

Мартин Хладениус (Johann Martin Chladenius или Chladni), который ввёл в историческую науку важное для неё понятие «Sehpunkt» «пункта наблюдения» прошлого или «точки зрения».

Любой «пункт наблюдения» прошлого предполагает наличие исторического наблюдателя, без которого нет и не может быть «пункта наблюдения». Поставив вопрос о «пункте наблюдения» прошлого, Хладениус тем самым вернулся к теме о том, «кто» пишет историю.

Интересно, что причину дифференций во взглядах на прошлое Хладениус видит не в *объектах* прошлого, а в тех многочисленных *субъектах* настоящего, которые описывают *своё* прошлое с самых различных «точек зрения». Прошлое принципиально не позволяет описать себя с одного и того же «пункта наблюдения», был убеждён Хладениус, которому и в голову не могло прийти, что описание прошлого лишь с одного – идеологически определённого – «пункта наблюдения» станет в будущем возможным, что нам убедительно продемонстрировали тоталитарные режимы XX столетия, которые интерпретировали прошлое из одной «перспективы», создав настоящие «памятники исторического догматизма» вроде «Краткого курса истории ВКП(б)». Но, к счастью, пункты наблюдения прошлого движутся во времени! Также наш современный «пункт наблюдения» прошлого, который мы, возможно, считаем самым полным и совершенным, в действительности таковым не является.

Хладениус, который хорошо осознавал подвижность «пунктов наблюдения» прошлого, недостаточно, однако, учитывал роль и влияние социальных или общественных факторов на процессы реконструкции прошлого. Именно эти факторы оказались, и это благодаря прежде всего Карлу Марксу (Karl Marx), в центре внимания теории истории XIX столетия.

Маркс был первым, кто в индивидуальном человеке увидел «общественный продукт». Его теория оказала самое мощное влияние на развитие социальных наук. Так что даже самые далёкие от марксизма теоретики истории, как, например, Йохан Густав Дройзен (J. G. Droysen) придерживались в этом вопросе близкой ему точки зрения. Дройзен, как и Маркс, видел в отдельном историке «продукт» своего времени и своего общества:

> «мы, приступая к исследованию истории менее всего ведём себя беспристрастно (непредвзято), потому что привносим с собой целую массу, как прагматических, так и методологических предпосылок.

Мы все, как в целом, так и по отдельности, являемся историческим результатом, который определяют воспитание, образование, привычки и предрассудки, а также неизмеримое богатство собственных представлений и мнений»[1] [2, с. 7].

Заслуга Дройзена заключается в том, что он ввёл в научный оборот принцип «исторического понимания». Дройзен исходил из того, что историк, чтобы *познать* прошлое, должен стремиться *понять* его. В принципе *понимания* он видит важный «инструмент» исторического *познания*. Но тут снова возникают вопросы – «кто» и «кого» стремится понять в истории? И «для чего» нужно это понимание? «Геродотовские вопросы» являются здесь нам в совершенно неожиданном ракурсе, а именно ракурсе XIX столетия.

Для современной немецкой теории истории принцип понимания, к сожалению, утратил своё значение, став для неё в какой-то мере даже подозрительным. Здесь свою роль, конечно, сыграл негативный опыт нацистского прошлого. Ведь «понимание» может привести и к «оправданию» преступных действий прошлого, считают некоторые из немецких теоретиков истории. Но здесь всё-таки необходимо им возразить. Ведь понимание не означает автоматически «одобрения». Речь здесь идёт о «первоначальном» понимании, которое является основой как акта «понимания», так и «непонимания». Прежде чем человек будет что-то «не понимать», ему необходимо вначале уже что-то и понимать: Говоря человеку, «я тебя совершенно не понимаю», мы уже прекрасно осознали тот факт, что в действиях этого человека нет никакой логики. Мы только потому этого человека не понимаем, что мы его практически «поняли». И, не имея этого первоначального (не)понимания, мы не могли бы ничего сказать об этом человеке. По этой причине я не стал бы с такой решимостью откидывать в сторону категорию «(не)понимания», как это делают немецкие теоретики истории. Однако какова сегодня ситуация в Германии с теорией истории?

[1] «Beginnen wir damit einzusehen, daß wir an die Geschichte herantretend uns weniger als unbefangen verhalten, daß wir sofort eine Menge von Voraussetzungen mit heranbringen, sowohl sachlichen wie methodischen, wie wir denn selbst, jeder einzelne, recht eigentlich ein historisches Ergebnis, durch Erziehung, Bildung, Gewohnheit, Vorurteil mit einer unermäßlichen Fülle von Vorstellungen bestimmt sind».

Современная теория истории

Надо сказать, что в современной историко-теоретической дискуссии, по меньшей мере в Германии, ключевую роль играют вовсе не теоретики, а дидактики истории. Ситуация с теорией истории изменилась в Германии, по моему мнению, не в лучшую сторону. Немецкие университеты в настоящее время, к сожалению, практически не имеют кафедр по теории истории (исключением является кафедра теории истории университета Гёттинген). На смену кафедрам теории истории пришли кафедры дидактики истории.

Причины подобного поворота «от теории к дидактике истории» носят вполне прагматичный характер: исторические факультеты «производят» преимущественно учителей истории. Последние нуждаются, прежде всего, в дидактике истории, которая за последние десятилетия, надо сказать, существенно изменила свой характер.

Если ещё в 1970-х гг. дидактика истории в Германии выполняла преимущественно роль *практической* дисциплины, которая была ответственна за развитие и совершенствование методов преподавания истории, то современная дидактика не является одной лишь *практической* наукой, но является, без всякого сомнения, и *фундаментально-теоретической* дисциплиной. Потому что современная дидактика истории взяла на себя те функции, которые ранее выполняла одна лишь теория истории. Современные дидактики истории рефлектируют как о проблемах исторического познания, так и исторического сознания, они обращаются как к теме исторической памяти, так и к проблематике исторического нарратива. Последняя играет особую роль в современной дидактической рефлексии и даже является её центральным пунктом.

Дидактики истории обсуждают формы «нарративной презентации прошлого» и анализируют характер нарративных структур. Но в ходе всей этой «нарративной дискуссии» куда-то пропал, по крайней мере затерялся и исчез из глаз *материальный* элемент. Озабоченные историки постепенно начинают задумываться о том, какое отношение эти нарративные структуры имеют к *реальному* или *материальному* прошлому? В последнее время, как считает немецкий теоретик истории Стефан Хаас (Stefan Haas), мы наблюдаем и обратную тенденцию, суть которой заключается в стремлении *(ре)материализовать* прошлое, вернуть ему материальную базу:

«История долгое время считалась эмпирической наукой о действительности, которая исследует осязаемые реальности прошлой

жизни. Однако с наступлением Cultural Turn в 1990 гг. внимание историков переместилось с исследования ‘предполагаемых‘ реальностей на изучение культурно-символических интерпретационных структур, которые и делают возможной презентацию этих реальностей…

Действительность теперь стала восприниматься историками не как ‚реально существующая‘, а как, презентующий себя в символах и текстах, культурно оформленный человеческий конструкт… Внимание историков настолько радикально переместилось с исследования тех факторов, которые определяют развитие исторической действительности, на те, которые делают возможным появление исторических конструкций, что с 1990 гг. в Scientific Community всё чаще стал ставиться вопрос о том, а существует ли за нарративными конструкциями реальность как таковая – реальность, которая могла бы, независимо от её символической презентации, определять развитие исторического процесса?...» [1] [3, с.7].

Ответ на вопрос о том, существует ли за нарративными конструкциями действительность как таковая, могут нам дать одни только «следы прошлого». Прошлое презентует себя в *материальных* и *реальных* «следах». Любые интерпретации прошлого являются, прежде всего, интерпретациями его следов. Мы имеем полное право утверждать, что без «следов прошлого» не было бы здесь и самого прошлого.

Следы, таким образом, в состоянии (*ре)материализовать* историческую действительность, т.е. подвести под историю *реальную* базу. Следы являются важным *легитимирующим* элементом исторического познавательного акта. По этой причине я и занялся исследованием понятия «след», опубликовав на эту тему свои книги как на русском, так и немецком[2] языках.

Центральная идея, которую я презентую в своих работах, заключается в том, что, «далеко не любой след прошлого может стать для историка источником, но любой источник является для него, без сомнения, следом прошлого» [4, с. 15].

Уже по одной этой причине историк, по моему убеждению, должен заняться основательным анализом понятия «след». Но как ни странно, к основательному анализу понятия «след прошлого» обратились вовсе не историки, для которых это понятие является фундаментальной категорией, а медиальные философы. Именно последние стали

[1] Это мой довольно свободный перевод текста с немецкого оригинала.

[2] См.: Buller, Andreas. Theorie und Geschichte des Spurbegriffes. Entschlüsselung eines rätselhaften Phänomens. Marburg, Verlag «Tectum» 2016.

анализировать, рефлексировать и изучать феномен «следа прошлого», в котором они увидели не просто «остаток», а «инструмент» познания прошлого. Здесь необходимо сказать несколько слов о медиальной философии.

Медиальная философия как современная теория исторического познания

Описать предмет и метод медиальной философии – довольно непростая задача, потому что сама медиальная философия пока точно не определилась с вопросом о предмете своих исследований. А нам это сделать ещё сложнее.

С полной уверенностью, однако, можно утверждать, что медиальная философия не есть лишь наука о *средствах массовой информации*, таких, например, как радио, телевидение, пресса, книги или интернет, а медиальная философия является наукой, которая исследует самые различные, в том числе и исторические, формы человеческой коммуникации.

Медиальная философия обращается ко всем средствам человеческой коммуникации – жест, слово, знак, звук и изображение, которые в их совокупности являются *интерсубъективными* средствами познания мира. В эту сферу интерсубъективных средств человеческой коммуникации входят, разумеется, и письменность, и алфавит, и книгопечатание, которые, надо сказать, кардинальным образом изменили характер исторической коммуникации. Понятие «исторического источника» возникло вместе с письменностью, т. е. с развитием медиальной сферы. Исторический источник является сам по себе определённым видом «медиа», т.е. средством коммуникации и обмена информации, а также медиальным средством познания мира.

Но можно ли говорить о «коммуникации» в исторической области? Разве может *настоящее* коммуницировать с *прошлым*? Настоящее, без всякого сомнения, может коммуницировать и с прошлым. Хотя «историческая коммуникация» является экстремально односторонним видом коммуникации, в котором «получатель» информации не в состоянии задать вопросы её «отправителю», но тем не менее она *является* одним из видов коммуникации. Ведь также историки принимают и читают «сигналы», но только лишь «сигналы прошлого». Такими «сигналами» для историка являются его исторические источники, которые выполняют коммуникативные функции. К исследованию этих функций

и обратились медиальные философы. Я особо хотел бы здесь выделить берлинского философа Сибилле Кремер (Sybille Krämer), которая в своей статье «Что такое след и в чём заключается его эпистемологическая роль?» описала самые главные атрибуты этого понятия.

В результате своего анализа Кремер пришла к выводу, что след есть не только «средство» и «инструмент» процесса исторического познания, но он сам по себе есть «продукт» или же «результат» человеческого мыслительного акта (нем. «Spur ist nicht das (Erkenntnis-)Werkzeug, sondern das Denkzeug») [5, с.15-19]. Ведь ничто не является нам автоматически как «след», а становится таковым в нашем сознании. «Следы рождаются в глазах исторического наблюдателя», по праву утверждает Кремер.

На этот момент, однако, указывал ещё в XIX веке Дройзен, заметивший, что исторические следы могут находятся рядом с нами и тем не менее оставаться нераспознанными и неузнанными. Следы лишь тогда становятся для кого-то «следами», если их «кто-то» воспринимает и «для чего-то» использует. Но тут мы опять возвращаемся к геродотовским вопросам о том, «кто» и «для чего» пишет историю или же – «кто» и «для чего» *читает следы прошлого*? «Вопросы Геродота» не устарели и не канули в небытие, а они продолжают интересовать также современного исторического (ис)следователя, который, однако, задаёт эти вопросы уже с перспективы своего XXI столетия. И можно быть уверенным, что пока человек будет писать свою историю, он будет постоянно задавать себе вопрос – для «кого» и «чего» я её пишу?

1. *Геродот*. История в девяти книгах / пер. с греч. и комм. Г. А. Стратановского ; вступ. статья И. Е. Сурикова. – Москва, 2004. – 640 с.
2. *Droysen J. G.* Historik. Hg. v. Leyh, Peter. – Stuttgart 1977. – 394 с.
3. *Haas Stefan.* Die Wirklichkeit der Geschichte. Wissenschaftstheoretische, mediale und lebensweltliche Aspekte eines (post-)konstruktivistischen Wirklichkeitsbegriffes in den Kulturwissenschaften. Hg. v. Stefan Haas und Clemens Wischermann. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015. – 222 s.
4. *Буллер Андреас*. Три лекции о понятии след. – СПб, 2016. – 128 с.
5. *Krämer Sybille.* Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre epistemologische Rolle? In: Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst. Hg. v. Krämer, S. Kogge, W. Grube, – Frankfurt am Main, 2007. – 366 s.

Buller A. Die Fragen von Herodot

Der vorliegende Artikel beschreibt meine auf der XIV. Astachov-Konferenz der Universität Charkow vorgetragenen Thesen. Im Mittelpunkt dieser Thesen stehen die zwei „Fragen von Herodot“ nach dem „Wer“ und „Wozu“ der Geschichtsschreibung. Herodot war der erste, der über die Fragen, „wer“ schreibt Geschichte und „wozu“ Geschichte geschrieben wird, reflektiert hat. Diese zwei Fragen von Herodot wurden später von den Historikern immer wieder gestellt und auch unterschiedlich beantwortet. Jede Epoche suchte ihre eigenen Antworten auf diese zwei Fragen von Herodot. Auch unsere Epoche versucht ihre Antworten auf diese Fragen zu geben.

Stichwörter: Theorie und Didaktik der Geschichte, Narrativ, Medienphilosophie, Spurbegriff.

Буллер А. Питання Геродота

Ця стаття містить основні тези моєї доповіді на XIV Астаховських читаннях та має характер, скоріше, наукового нарису, у якому розвиток історико-теоретичної думки аналізується у якнайширшому часовому діапазоні та в різних взаємозв’язках. Проте у центі уваги стоять тут все ж таки «городотівськи питання» про те, «хто» та «для чого» пише історію. Питання Геродота ставилися істориками різних часів та у різних взаємозв’язках. Вони не втратили своєї актуальності і для нас.

Ключові слова: теорія та дидактика історії, наратив, сліди минулого, медіальна філософія.

УДК.930.2(477)“20”

Л. О. Зашкільняк

ПРО СВОБОДУ І ОБМЕЖЕННЯ В ПІЗНАННІ МИНУЛОГО: УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Модерна історіографія XX століття поглибила розуміння історичних процесів, але зберегла уявлення про прогностичну соціальну функцію історичного знання. Це залишало історію в обіймах «історицизму». Водночас формувалось уявлення про переважну залежність істориків від сучасності, яка в сутності виникала з того ж минулого. Таким чином прагнення істориків звільнитись від «примар минулого» неухильно запроваджувало їх в залежність від «примар сучасності» з перенесенням їх у майбутнє. Українська історіографія останніх двох десятиліть користала в основному з методологічного інструментарія модернізму, нехтуючи новими пропозиціями. У формуванні образу минулого України сучасним українським дослідникам досі бракує розуміння її суб’єктності і постколоніального стану. В таких умовах треба сміливо брати на озброєння нові методологічні підходи, спростовувати поширювані донині імперські міфи і стереотипи сусідніх історіографій.

Ключові слова: сучасна українська історіографія, міфи і стереотипи, постколоніальна теорія.

Прагнучі говорити про історію, треба розпочати з поширених і тривіальних істин-афоризмів: «Історію пишуть переможці. Історія пишеться тими, що вижили»; «Історія – це постійний діалог сучасного покоління з минулими»; «Історія – це роман, яким вона могла би бути, роман – це історія, якою вона ніколи не була»; «Не знати історії – означає завжди бути дитиною», нарешті «Історія – це скатертина, що ретельно випрана і відпрасована, на брудному столі життя».

З давніх часів люди намагались знайти в минулому відповіді на проблеми сучасності і проекції у майбутнє. Від XIX століття, коли запанувало уявлення про вирішальну роль історичного знання в прогнозуванні просування людського суспільства до «справедливого» і «благодатного» майбутнього, в історіографію XX століття перейшли значущі елементи

© Зашкільняк Л. О., 2016

цієї моделі пізнання і розуміння минулого як такого. Однак, модерністичне історіописання XX століття розвивалося вже в стані постійної гносеологічної дихотомії: з одного боку, історики поглиблювали розуміння суспільних процесів як взаємодію (інтеракцію) між організованими спільнотами з людиною в центрі, сподіваючись на віднайдення «золотого ключа» («сенсу», «закону») цілої еволюції; але з другого боку, вони постійно наштовхувались на непереборні перешкоди та обмеження у відмінному і різнокультурному тлумаченні та використанні історичного знання. Історія та історики завжди і повсюдно намагалися обґрунтовувати втілення тих ідей, котрі так чи інакше передбачали «впорядкування» більших чи менших людських спільнот (племен, держав, націй, станів, класів тощо). Проте, щось завжди ставало на шляху реалізації цих ідей і, за спостереженням ще Гегеля, результат людських діянь ніколи не відповідав ідеальним уявленням (ідеям).

Причини такого неспівпадіння намірів і наслідків назагал добре відомі історикам, філософам, суспільствознавцям. Написання історії, на перший погляд, не представляє якихось спеціальних труднощів. Однак ще в XIX ст. німецькі історики розділили історичне дослідження (Geschichtsforschung), з одного боку, і історіописання (Geschichtsschreibung) – з другого. Розрізнення цих двох процедур є підставовим для розуміння істоти писання історії. Після встановлення фактів історик мусить перейти на рівень «представлення» або, іншими словами, їх інтерпретації і репрезентації. Інтерпретація ж завжди є лише перенесенням власного досвіду на минулий, залишається «суб’єктивною» правдою [Докл. див.: 20, s. 33–49]. З яких би позицій не дивитись на минуле – модерних, постмодерних чи якихось інших – дослідник завжди має можливість конструювання історії і писання історичних текстів, які, що найважливіше, репрезентують його власну версію «того, що було насправді».

З іншого боку, треба звернути пильну увагу на соціальну функцію історії, тобто історичного знання як такого. Тривіальним є твердження, що без історії немає Людини, немає будь-якої спільноти (community), немає народу і держави. Кожна з них – і Людина і Спільнота – творяться, ідентифікуються і шануються через свою «біографію», тобто свою історію, якою б вона не була. Цю історію як історичні знання і пам’ять творять представники певної спільноти, а не абстрактні спільноти як такі. Вони конструюють історію на матеріалі та уявленнях передусім минулого, яке витворило сучасну їм суспільну ситуацію. Назагал це речі

добре знані, котрі польський історик Войцєх Вжосек називає «культурною імпутацією» й «моделлю історичного мислення і дослідження» («imputacja kulturowa» і «model myślenia i badania historycznego») [Див.: 23].

Ось тому і виникає й завжди виникатиме колізія між людським прагненням до кращого майбутнього і постійним шуканням його в минулому. Ця колізія неуникненна і неподоланна – просто одне минуле буде замінюватись іншим, але колізія залишатиметься. Так само, як залишатиметься вічна пізнавальна суперечність між пізнаним і пізнаваним (cognitive collision): пізнане вже не є тим, що представлене у знанні (perceived phenomenon is not that which is presented in knowledge).

Будь-яка історія як «біографія» чи то людини чи то спільноти заснована на протиставленні «себе» та «іншого», однієї спільноти з іншою. Іншого шляху самоідентифікації немає. З цим треба рахуватись і пам'ятати всім – і дослідникам і загалу. Бути понад цією колізією не дано нікому, хто здатен до соціальної самоідентифікації (нездатні тільки психічно хворі особистості!). Історія як інструмент формування індивідуальної та соціальної свідомості залишатиметься вічним інструментом самоідентифікації. Тому з цим інструментом треба обходитись дуже обережно, оскільки образи минулого є підступним порадником для бачення сучасного і, тим більше, майбутнього: вони, окрім ідентифікації, мають властивість спрямовувати пошук майбутнього у минулому.

Таким чином, якщо підсумувати, то виходить, що історик є вільний у намірах реконструкції минулого і, водночас, не вільний в можливостях його інтерпретації та репрезентації. Він обмежений всією сферою власного суспільно-культурного багажу, починаючи з мови і закінчуючи приналежністю до певної історичної спільноти і культури.

Внесення культурного чинника в історіописання розвертає його в інший бік – до світоглядних, *ідеологічних* в своїй сутності перспектив. Сучасні тенденції розвитку світової культури засвідчують, що людство постійно буде потребувати історичного обґрунтування будь-якої ідентичності – етнічної, національної, групової, расової, державної, культурної, регіональної тощо. Але водночас вони показують, що історія не є тим, що про неї пишуть історики, а також не є самою минулою дійсністю; вона є дискурсом, специфічним способом вживання мови в публічній сфері, вона є «культурною практикою осіб і спільнот». Така історія, зумовлена культурно-цивілізаційними розбіжностями і, водночас, взаємними пов'язаннями, є власне сучасною й іншою бути не може. Тому можна резюмувати такими словами: намагання істориків звільнитися від примар минулого невблаганно провадять їх до залежності від примар сьогодення. В цьому і полягає постійна «свобода несвободи» історика. І з нею треба рахуватись.

Зрозуміло, що фаховість історика полягає власне в усвідомленні своєї залежності від сучасності і вмінь використовувати наявний на сьогодні пізнавальний інструментарій для проникнення і пояснення минулого. При цьому провідну роль, на мою думку, відіграє усвідомлення істориком суб'єктності об'єкта пізнання (каламбур!), тобто чіткого уявлення того явища, яке ми збираємось досліджувати. Коли ми говоримо про Україну чи українців, то повинні чітко усвідомлювати той факт – наскільки вони виступають суб'єктами пізнання чи об'єктами. І тут важливо підкреслити, що будучи об'єктами пізнання, вони водночас можуть і повинні бути суб'єктами пізнання для тих дослідників, котрі інтерпретують їхню історію «зсередини», тобто як суб'єкти, в той час як для історика іншої суб'єктності (російського, польського британського тощо) минуле України й українців виступатиме як «Інше» й «Інакше» («Історія і є самопізнанням людиною самої себе»!).

З цього випливає, що для українського історика основним культурним кодом («культурною імпутацією») залишатиметься «суб'єктність» історії України. Наскільки така суб'єктність може долати суб'єктивність залишається під питанням. Важливо одне – конструюючи минуле свого «об'єктивного суб'єкта», історик свідомо чи несвідомо творить «біографію» цього суб'єкта, незалежно від того, чи торкається вона всієї різноманітності проявів цього суб'єкта чи тільки його частини.

Поглянемо ж на «труднощі» сучасної української історіографії. Від кінця XX ст. українська історіографія переживає складний і неоднозначний період одночасного пошуку «власного обличчя» і «вписування в світове історіописання». Ці процеси не є простою справою, якщо подивитися на них з позиції тривалого – у кілька століть – заперечення існування українського народу і його права на власну державність. Немає народу – немає історії: так принаймні довгий час розповідали і переконували російська і польська історіографії та політики з погляду інтересів імперськості чи великодержавності. XX століття не було сприятливим для української ідеї. Дивне перекроювання мап і держав під час двох світових війн не сприяли поширенню розголосу про українців і Україну, а усталені стереотипи перешкоджали і далі перешкоджають світові зрозуміти цих т. зв. «тірольців Сходу». І коли всупереч різноманітним скептикам постала незалежна Україна, то далеко не всі зро-

зуміли, що воно таке. Деякі стверджували (а часом далі продовжують стверджувати), що Україна немає своєї «біографії» в сенсі історії, а є тільки «клапті» біографій Польщі, Росії та інших її сусідів. І хоча українська історіографія вже давніше сконструювала свою «біографію», але поступалась в цьому своїм більш потужним в інтелектуальному просторі «державним» сусідам.

Цей процес вже неодноразово стояв в центрі наукових і публіцистичних дискусій, а література налічує десятки, якщо не сотні публікацій [10; 14; 18; 19; 22]. Закордонні дослідники, які звертали увагу на еволюцію українського історіописання після відновлення Української державності, відзначали її «експериментальний» характер, що відкриває сприятливі наукові перспективи в річищі сучасних новаторських течій, а також висловлювали певну стурбованість щодо тенденцій повернення до застарілих уявлень про історію та історичне пізнання під впливом певних суспільно-політичних чинників[1].

Дійсно, якщо уважно придивитися до розвитку історіографії в Україні за останні чверть століття, то можна побачити дві головні тенденції, що позначилися на її змістовному та методологічному характері. Назагал, вони добре знані українським історикам і вже багато раз обговорювалися в науковій літературі. Перша – прагнення розвіяти численні фальсифікації і спотворення минулого українців та України, що нагромадились за століття їх колоніального статусу в складі різних імперій, а, насамперед, під час існування СРСР, і, як наслідок – сконструювати національний «канон» історії, який би служив формуванню національно-державної суспільної свідомості та соціальної пам'яті. Друга тенденція – опанування здобутків світової історичної думки та її застосування в історичних дослідженнях з метою подолання відставання українського історичного знання та історично-інформаційного простору від світових взірців [18, с. 24–56]. Багатьом фаховим історикам ці тенденції видаються взаємно суперечливими за аналогією з дихотомією «ідеологія–наука». Тому можливість звільнення від догм радянського «марксизму-ленінізму» українські пострадянські історики сприйняли переважно, як заміну «комуністичної ідеології» – «безідеологічними стандартами» або «національним дискурсом».

[1] Американський вчений Марк фон Гаґен зауважував: «Україна являє собою приклад національної культури з надзвичайно прозорими межами, але саме той приклад, який можливо відповідає постмодерному політичному розвиткові, де до-національні, наднаціональні і міжнаціональні процеси вимагають такої ж уваги істориків, суспільствознавців та "культурологів", як і процеси, які раніше вивчалися у вигляді національних…» [21, p. 670].

З огляду на значний обсяг «радянізації» суспільної свідомості в незалежній Україні, відповіддю стала «націоналізація» її минулого (так це назвав Георгій Касьянов)[1]. Здавалося, що такий підхід до минулого є цілком обґрунтований і закономірний. Однак для української історії це обернулося двома загалом несприятливими наслідками, характерними для абсолютизації минулого як бази для прогнозування майбутнього: по-перше, за підставу «націоналізації» було взято взірці початку XX ст., а не її кінця, а саме – схеми М. Грушевського й В. Липинського. Запропонована і, зрештою, нині реалізована версія «нормативної» історії України, або її «канон», мало чим різняться від «марксистсько-ленінського» погляду на минуле України та українців; де Україна виникає як «закономірний» і неуникненний наслідок дії якихось трансцендентних сил, якому властиві всі провідні риси лінійності, телеологізму, функціоналізму, діалектики історичного процесу в тому вигляді, який можна знайти і у Гегеля і у Маркса і у радянській історіографії.

Діагноз такого стану речей в «історії з історіографією» було поставлено вже з десяток років тому, коли відзначили можливість поєднання суспільних завдань і очікувань від історичного знання та його функцій з науковими параметрами самого цього знання. Як писала знаний історик Н. Яковенко, криза сучасної пострадянської історіографії не є кризою науки, а є кризою «ідентичності історика», кризою вичерпання макросоціальних схем історичного процесу, котрі вже давно не задовольняють науку і науковців [19, с. 23].

Якщо ми подивимось на здобутки сучасної української історіографії у порівнянні з іншими історіографіями, то побачимо значний поступ у вивченні «білих плям» історії, але, водночас, маємо цілу низку «проваль», котрі, м'яко кажучи, не сприяють формуванню цілісного образу «історичної України» як суб'єкта цивілізаційного процесу. Це торкається всіх періодів минулого України та українців – від Давньої Русі й до сучасної Української держави. Надалі як в Україні, так і на світовій арені продовжують функціонувати і поширюватись міфи і стереотипи, створені великодержавними ідеологами попередніх імперських часів, а також і сучасними неоімперськими епігонами. Суб'єктність України як чинника європейського та світового історичного процесу губиться в хитросплетінні цих стереотипів. Про шкоду такої ситуації для самих українців, а також авторитету їх державності на міжнародній арені годі говорити. Тому й не випадковими виглядають сумніви частини євро-

[1] Термін "націоналізація" історії запропонував Г. Касьянов [18, с. 57–73].

пейських обивателів, а навіть фахових істориків, у «історичній правомірності» існування українців і України.

Усвідомлюючи небезпеку прямолінійної «націоналізації» української історії, яка слушно піддається критиці, наважусь запропонувати новий шлях і термінологію для осмислення минулого України. Сучасний стан свідомості багатьох громадян української держави, не кажучи про представників інших народів, в тому числі на Заході, залишається в полоні російських, а часом і польських стереотипів про Україну і українців як про «неповноцінну» націю, «клапті» політичних націй російської, польської чи радянської. Фактично йдеться про наслідки тривалого колоніального становища як етносу, так і території України в складі сусідніх держав (не буду зараз вдаватись у визначення «колоніального стану» [8; 9]). Стан суспільної свідомості і соціальної пам'яті багатьох українців є наскрізь «постколоніальний», тобто представляє собою суміш російських, радянських світоглядних уявлень і образів. Про вплив цих стереотипів свідчать численні соціологічні опитування. Подам лише кілька фактів з опитування, проведеного влітку 2015 р. спільно кількома авторитетними українськими та зарубіжними соціологічними службами на території всієї України, але без окупованих територій (після року боротьби з російською агресією!) щодо розуміння і ставлення до подій української історії. Результати дуже сумні: 42,9 % респондентів вважають Київську Русь державою трьох «братніх» народів – українців, росіян і білорусів і тільки 27,9 % – державним утворенням українців; 38,6 % опитаних позитивно оцінили Полтавську битву і поразку гетьмана Івана Мазепи і лише 17 % оцінили її негативно; 45,2 % позитивно оцінили утворення в Харкові в 1917 р. УСРР; а в першу десятку видатних історичних діячів України увійшли Петро I (6-та позиція), Сталін (10-та позиція) [17, с. 29–32]. Можна говорити про серйозний провал переформатування соціальної пам'яті українців. Тому, на мою думку, перед українськими істориками стоїть нині складне завдання не «націоналізації», а «деколонізації» української історії.

Зрозуміло, що про ключові моменти такої деколонізації треба говорити дуже розлого. Обмежусь загальною пропозицією і кількома провідними «проваллями» в нашій національній історії, котрі вимагають серйозного методологічного і конкретно-історичного переосмислення.

Перше. Українське суспільство потребує сьогодні наукової академічної історії України. Не багатотомної, не нормативної, а багатосмислової, проблемної. Дискусія щодо появи такого синтезу активно ведеться від 2012 р. на сторінках «Українського історичного журналу» й на низці семінарів і конференцій [11][1]. Можна погодитись з провідними авторами дискусії Г. Касьяновим і О. Толочком, котрі пропонують представити історію України не лише як історію конкуренції і змагань різних станів, верств, конфесій, етносів, культур, націй, держав тощо, а і як простір взаємодії, взаємопроникнення, взаємозбагачення цивілізацій, культур, народів [11, с. 21]. За таких умов йдеться про історію «території», яку займає сучасна Україна, про цивілізаційну еволюцію народів, що її населяли. Проте, виникає дуже серйозне застереження – чи йдеться про Україну, чи про якийсь незрозумілий конгломерат народів і культур, «прохідний двір» Європи. Зрозуміло, що ідентифікаційний, легітимаційний аспекти такої історії можуть мати не стільки конструктивний, скільки деструктивний характер у формуванні суспільної свідомості з усіма наслідками, які з цього випливають. Тому треба погодитись із слушним зауваженням Олега Горенка: «Історик має пам'ятати ще й те, що наратив у чималій мірі творить людину, яка робить себе, щосили намагається «зробити» інших, і аж ніяк не схильна відмовлятися від найменшої нагоди «робити історію» [5, с. 9].

На мою думку, важливо підкреслити, що такий синтез, як «біографія» України, повинен виходити передусім зі суб'єктності сучасної держави і політичної нації, але, водночас, бути історією людей та їхніх соціальних утворень на території сучасної України. Це не повинна бути історія державності чи етносу, оскільки вони є лише продуктом соціальної комунікації людей, продуктом, котрий повсякчасно змінюється і надалі буде змінюватись. Проте, український гранд-наратив все таки повинен бути і буде історією України як суб'єкта, а не тільки історією об'єкта. Очевидно, що це накладає на істориків певні ідеологічні обмеження. Цього не треба боятись, тому що, як слушно зауважив мексиканський-американський історик Карлос Рохас, історія безумовно є *включенням в неї сучасного*, вона *насичена ідеологією і соціальним замовленням.* Історики змушені займати визначену ідеологічну та суспільну позицію, і ця позиція визначає межі можливого використання отриманих результатів, тому праця історика завжди несе в собі ідеологічні ризики [15, с. 113].

За таких умов усі форми суспільного життя на території сучасної України повинні бути «українськими» за визначенням, повинні бути

[1] Див також статті інших істориків на сторінках «УІЖ» 2013–2015 рр.

переглянуті всі періоди і «провалля» цієї історії з погляду сучасного «суб'єкта». Йдеться про давню Русь, монголо-татарський період, польсько-литовський період, козацькі часи, модерні проекти, державницькі змагання XX ст. По кожному з них ми маємо велику кількість стереотипів і міфів, що виникли в попередні часи не в українській історіографії і значною мірою продовжують функціонувати в сучасній українській історіографії. Особливо докладно ці міфи і стереотипи розглянуто у фундаментальному тритомнику «Україна і Росія в історичній ретроспективі», більшість висновкових положень якого все ще, на жаль, не отримали поширення в сучасній українській історіографії [3; 7; 11]. Щодо багатоманітної системи міфів і стереотипів, які перейшли в сучасність від Російської імперії, написано чимало: від ідеї «триєдиної» руської нації та українсько-російської спорідненості до міфу про особливу історичну місію росіян об'єднати всіх слов'ян і православних. Про це дуже переконливо писав у 90-х роках XX ст. російський вчений Євгеній Анісімов в статті «Исторические корни имперского мышления в России» (1996) [1] та багато інших дослідників.

Наведу як приклад тільки низку радянських міфів про Другу світову війну, яка залишається головним (і чи не останнім) ідеологічним інструментом сучасної російської пропаганди, спрямованої на розпад і ліквідацію української державності. Фундаментальний радянський міф, котрий донині залишається стрижневим компонентом ідеологічного колоніалізму щодо України, є міф «Великої Вітчизняної війни» і «великої Перемоги». Історія виникнення цього міфу та його інструментального характеру в останніх десятиліттях існування СРСР добре висвітлена в сучасній історіографії. Цей комуністичний конструкт в комплексі з набором його складових про «подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні», «вирішальну роль комуністичної партії», «морально-політичну єдність радянського народу», «потужним партизанським рухом в тилу ворога», «зрадниками і колаборантами» та багатьма іншими й сьогодні вірно служить обґрунтуванню існування імперської Росії та її колоній під виглядом СРСР і радянського народу. Цей міф однозначно спрямований на заперечення українського виміру війни, оскільки не залишає місця для українського інтересу, незважаючи на химерні спроби деяких істориків послатися на творення українських міністерств, участь УРСР в заснуванні ООН тощо.

Сьогодні в світовій та українській історіографії нагромаджено велику кількість фактографічного матеріалу, який заперечує радянську версію «великої вітчизняної війни», яка не була «вітчизняною» для багатьох народів, в тому числі багатьох українців, котрі інакше трактували саме поняття «вітчизна». Одним з останніх видань, в яких зроблена ґрунтовна спроба осмислення «української війни» в складі Другої світової, є двотомне видання Інституту історії України НАН України історичних нарисів «Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття» [Див.: 16]. Фактично вперше в українській історіографії в ньому обґрунтовано терміни «друга світова війна» і «німецько-радянська війна», стверджується, що всю різноманітність політичних і воєнних подій світової війни «з наукових позицій некоректно трактувати в руслі поняття «Велика Вітчизняна війна» [16, кн. 1, с. 20]. А вміщені у двох книгах аналітичні матеріали показують значно ширший спектр настроїв, сподівань і дій українців під час війни та окупації, ніж це підпадає під ідеологему «Великої Вітчизняної війни». Розкриваючи все нові і нові документальні матеріали, можна стверджувати словами Владислава Гриневича, що «для значної частини українського населення «сталінське визволення від німців», немов у дзеркальному відображенні, повторювало картину «гітлерівського «звільнення України від більшовиків» – звільнення без визволення» [6, с. 38][1]. До речі, так само гостро критично оцінив радянський концепт війни і перемоги знаний російський історик Юрій Афанасьєв: «Для Сталіна та його оточення, коли вони визнали обстановку хоча б мінімально вигідною для себе, традиційні імперські цілі царської Росії перевтілились в революційні цілі СРСР і вони одразу приступили до їх реалізації. Ні до оборонної, ні до визвольної війни ці цілі відношення не мали» [Див.: 2].

Але головне полягає в тому, що радянський міфологізований підхід до світової війни не залишає місця для третього суб'єкта, третьої сторони – українського та інших народів цього регіону континенту. Де ж тоді шукати український національний інтерес? Я з великим інтересом прочитав статтю Івана Патриляка «Між двома проваллями: Україна в роки Другої світової війни» і підтримую запропоновані ним тези. Зокрема, йдеться про таке: остання війна була намаганням зберегти світ, усталений після Першої світової війни, зміцнити контроль великих держав над ресурсами і ринками, де західні держави використали тоталітарний СРСР проти тоталітарної ж Німеччини та її союзників, що призвело до поневолення України та низки країн Центральної Європи;

[1] Див. також добірку статей і матеріалів під рубрикою «Звільнення від Бухенвальда таборами Гулагу» в часописі «Український тиждень» (2013. № 6).

поразка українського та інших національно-визвольних рухів народів Центральної Європи в роки війни створила ситуацію «незавершеної» війни, яка повинна була завершитись з крахом не тільки Німеччини, а й СРСР, але зіткнулася зі спробою Росії відновити контроль над пострадянським простором. Тому, можна сказати, що «незавершена війна» України ще продовжується і, можливо, завершиться з розпадом такого штучного імперського утворення, яким є сучасна Росія. З цих причин не можна вважати Україну як суб'єкта одним з переможців Другої світової війни – вона швидше є серед «переможених», оскільки національний інтерес України не був реалізований після закінчення воєнних дій, і вона опинилася під пресом російсько-більшовицьких окупантів [13; 4].

Таким чином, українська історіографія та її дійові особи в сучасних умовах опинилися в складній ситуації «несвобідної свободи»: усвідомлюючи чи не усвідомлюючи потребу інтеграції та консолідації національної спільноти і державності – завдання, яке є доленосним для України в цілому, – вони не можуть відмовитись від спадку попередніх поколінь, але й не мають права ігнорувати сучасні вимоги історіописання. Така ситуація не є оригінально українською. Вона властива всій світовій історіографії, про що досить переконливо нещодавно писав вже згадуваний Карлос Рохас. Він підкреслив, що історіографічна практика у ширшій ретроспективі нерозривно пов'язана з системою знань про суспільство, яка склалась в XIX ст., а ще точніше – в гегелівсько-марксівських уявленнях про світ та його історію, які представляються відображенням універсального розвитку [15, с. 12–24]. Цей взірець епістемологічного модернізму продовжує функціонувати до наших днів, але нині демонструє своє вичерпання. Історія безумовно є *включенням в неї сучасного*, вона *насичена ідеологією і соціальним замовленням.* Історики змушені займати визначену ідеологічну та суспільну позицію, і ця позиція визначає межі можливого використання отриманих результатів, тому праця історика завжди несе в собі ідеологічні ризики [15, с. 113].

У цьому відношенні українська історіографія не є виключенням. Її перспективи, на мій погляд, є цілком оптимістичні: Загальне повернення історії до питань «партійності» або «заангажованості» безперечно є відображенням сталої тенденції розриву з модерним і позитивістським баченням історії як науки «про майбутнє». Швидше можна говорити про значення історії як «науки про сучасне і для майбутнього». Зміни,

які відбуваються з історичними знаннями та способами писання історії засвідчують, що *історіографія є полем постійної дискусії про те, хто уповноважений писати історію*. І тоді можна знову згадати, що здебільшого історії писали і пишуть з позицій «переможців» і «пануючих» («хто контролює історію, той має владу!»). Але це історії переважно політичні або політизовані. Нам же сьогодні потрібно писати сучасні історії «людського ґатунку», але все ж таки «історію переможців». Інакше не має сенсу писати про Україну.

1. *Анисимов Е. В.* Исторические корни имперского мышления в России / Е. В. Анисимов [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html.
2. *Афанасьев Ю.* Другая война. История и память / Ю. Афанасьев [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.yuri-afanasiev.ru/articles/art_1996_59.htm
3. *Верстюк В. Ф.* Українські проекти в російській імперії / В. Ф. Верстюк, В. М. Горобець, О. П. Толочко // Україна і Росія в історичній ретроспективі : нариси в 3-х т. – К., 2004. – Т. 1.
4. Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова. – Харків, 2016. –272 с.
5. *Горенко О. М.* Український метанаратив в епоху пропаганди / О. М. Горенко // УІЖ. – 2014. – № 2. – С. 9.
6. *Гриневич В.* Між молотом і ковадлом / В. Гриневич // Український тиждень. – К., 2013. – № 6.
7. *Гриневич В. А.* Радянський проект для України / В. А. Гриневич, В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко // Україна і Росія в історичній ретроспективі : Нариси в 3-х т. – К., 2004. – Т. 2.
8. *Зашкільняк Л.* Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії: «старе вино в нових міхах» / Л. Зашкільняк // Світло й тіні української радянської історіографії : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22-23 травня 2013 р.) / за ред В. А. Смолія. – К., 2015. – С. 17–31
9. *Зашкільняк Л.* Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін / Леонід Зашкільняк // Історія та історіографія в Європі. – К., 2016. Випуск 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 103–117.

10. *Зашкільняк Л.* Метаморфози сучасної Кліо (про нові тенденції світового історіописання на початку XXI століття) / Л. Зашкільняк // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – К., 2012.

11. *Касьянов Г. В.* Національні історії та сучасна історіографія: виклики і небезпеки при написанні нової історії *України* / Г. В. Касьянов, О. П. Толочко // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 4–24.

12. *Кульчицький С. В.* Новітній український державотворчий процес / С. В. Кульчицький, Б. О. Парахонський // Україна і Росія в історичній ретроспективі : Нариси в 3-х т. – К., 2004. – Т. 3.

13. *Патриляк І. К.* Між двома провалами: Україна в роки Другої світової війни / І. К. Патриляк // Проблеми всесвітньої історії. Науковий журнал. – К., 2016. – С. 169–182.

14. *Портнов А.* Упражнения с историей по-украински / А. Портнов. – Москва, 2010.

15. *Рохас К.А.А.* Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами / К. А. А. Рохас. – Москва, 2008.

16. Україна в другій світовій війні: погляд з XXI ст. Історичні нариси : у 2-х кн. – К., 2011. – Кн. 1–2.

17. Україна. Результати соціологічного дослідження, проведеного у рамках проекту «Започаткування Національного діалогу в Україні» січень – червень 2015. Київ: Фонд «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва, 2015. – С. 29–32.

18. Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми / кол. монографія за ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів, 2004.

19. *Яковенко Н.* Нариси кризової історіографії / Н. Яковенко // Критика. – Київ, 2006. Число 1–2.

20. *Ankersmit F.* Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii / pod redakcją i ze wstępem Ewy Domańskiej. – Kraków, 2004.

21. *Hagen M. von* Does Ukraine Have a History? // Slavic Review. – 1995. – № 3.

22. *Stryjek T.* Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 / *T. Stryjek* . – Warszawa, 2007.

23. *Wrzosek W.* O myśleniu historycznym / *W. Wrzosek*. – Bydgoszcz, 2009. – 144 s.

Зашкильняк Л. А. О свободе и ограничениях в познании прошлого: украинская историография в начале XXI века

Историография XX века углубила понимание исторических процессов, но сохранила представление о прогностической социальной функции исторического знания. Это оставляло историю в объятиях «историцизма». Одновременно формировалось представление о преимущественной зависимости историков от современности, которое в сущности возникало из того же прошлого. Таким образом, стремление историков освободиться от «призраков прошлого» неуклонно приводило их в зависимость от «призраков современности» с перенесением их в будущее. Украинская историография последних двух десятилетий использовала в основном методологический инструментарий модернизма, пренебрегая новыми предложениями. В формировании образа прошлого Украины современным украинским исследователям до сих пор не хватает понимания ее субъектности и постколониального положения. В таких условиях необходимо смело брать на вооружение новые методологические подходы, опровергать распространяемые до сих пор имперские мифы и стереотипы соседних историографий.

Ключевые слова: современная украинская историография, мифы и стереотипы, постколониальная теория.

Zashkilnyak Leonid. On Freedom and Limits in the Cognition of the Past: Ukrainian Historiography in the Early 21th Century

Modern historians of the twentieth century deepened the understanding of historical processes, but kept the idea of prognostic social function of historical knowledge. This story left them in the arms of "historicism". At the same time the idea of the overwhelming historians' dependence of the contemporaneity have been formed, which in fact arose from the past. Thus the historians' desire to rid of the "ghosts of the past" steadily introduced them dependent on the "ghosts of contemporaneity" with its transfer into the future. Ukrainian historiography of the last two decades used mainly methodological tools of modernism, ignoring the new proposals. In forming image of Ukraine's past Ukrainian current researchers still lack an understanding of its subjectivity and postcolonial situation. In such circumstances, it is necessary to safely adopt new methodological approaches, to refute distributed hitherto imperial myths and stereotypes of surrounding historiographies.

Keywords: Contemporary Ukrainian historiography, myths and stereotypes, postcolonial theory.

УДК 930.2:316.347

С. І. Посохов

«СВОЇ», «ЧУЖІ», «ІНШІ»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМАГОЛОГІЇ

Стаття присвячена визначенню ключових проблем та перспектив розвитку імагології – міждисциплінарного напрямку досліджень, здебільшого спрямованого на вивчення процесів формування та функціонування етнічних уявлень. Зазначається, що на становлення імагології істотно вплинули дослідження різних форм національної та групової ідентифікації, які були здійснені в другій половині XX ст. В результаті міждисциплінарної взаємодії та розширення предметного поля межі імагології в наш час виявилися вельми розмитими. Проте, важливість вивчення процесів стереотипізації «своїх», «чужих» та «інших» актуалізує наявні напрацювання в цій галузі. Робиться висновок, що на сьогодні предмет імагології значною мірою пов'язаний з проблемою культурного успадкування, відзначається, що останнім часом спостерігаються намагання розширити коло джерел імагології та вдосконалити методи такого роду досліджень.

Ключові слова: імагологія, етнічні уявлення, групова ідентичність, культурне успадкування.

Усвідомлення «спільності» і «чужості» виникло на зорі людської історії, а опозиція «свої-чужі» належить до архітипових. Про це, зокрема, свідчать вже етноніми – назви родів, племен, племінних груп і союзів. Часто етноніми пов'язані з розумінням дихотомії «свої» – «чужі» і породжені епохою розкладання родового ладу, наповненою війнами і ворожим ставленням до сусідів. Не випадково, що назви етносів часто свідчать про етноцентризм і зневажливе ставлення до інших спільнот. Напевно, до кінця середньовіччя фундаментальна протилежність «свого» і «чужого» мала форми стійкого протиставлення – соціального, культурного і найбільше релігійного. Образ ворога виростав не тільки з колективного історичного, але часто з особистого досвіду, який набували в ході конфліктів, а вже потім ці враження переносилися на народ в цілому. Так фантастично спотворені уявлення про інші народи,

© Посохов С. І., 2016

що виникали з успадкованих забобонів, з гіркого особистого досвіду, з «достовірних» розповідей очевидців, ставали образами ворога. Поряд із цим, думка про будь-яких «інших» незмінно супроводжувалася якщо не прямим згадуванням, то натяком на «своїх», впліталася у власні ментальні настанови.

Втім, вже досить давно вчені стали відрізняти етнічні «упередження», «стереотипи», «образи», «думки». Поступово в другій половині XX ст. склався міждисциплінарний напрямок досліджень, який почали називати «імагологія» (в основі лежить слово «image» – «образ»)[1]. У центр уваги імагології перш за все потрапила соціальна функція етнічних уявлень. Вже на початковому етапі її розвитку був зроблений важливий висновок про двоїстий характер такого роду уявлень (відображають не одну, а дві реальності або, точніше, два народи – і той, чий образ формується в свідомості іншого народу, і той, в середовищі якого ці уявлення формуються і набувають поширення). Сьогодні спостерігається зростання інтересу саме до того, що раніше стосовно таких уявлень називалося «упередженості» та «спотворення». Стало ясно, що етнічні образи народжені в ході взаємодії складних процесів, перш за все, процесів самоідентифікації. Свій внесок у становлення імагології зробили й історики. Більш того, поступово в науковому співтоваристві утвердився термін «історична імагологія» [Див., наприклад: 28] і відбулося усвідомлення специфічних завдань власне історичних досліджень в цій царині.

Якщо прагнути відшукати перші спроби розібратися в етнічному розмаїтті і походження «національних особливостей», то, слід врахувати, що вже мислителі Стародавнього Світу, починаючи з Геродота і Тацита, намагалися не тільки зафіксувати, але і пояснити відмінності в способі життя і звичаях народів. На цій основі метафоричну класифікацію образів «інших» запропонував французький теоретик Ц. Тодоров: перший тип він назвав «принципом Геродота» («кращі народи» проживають ближче, «гірші» - далі), а другий – «законом Гомера» (найбільш привабливими рисами наділяються найбільш віддалені народи»). Такі приклади «іншування» продовжують використовуватися й в сучасній суспільній думці [30, с. 26].

На становлення і розвиток імагології істотно вплинули ті дослідження, які були здійснені у другій половині XX ст. і спеціально присвячені вивченню різних форм національної та групової

[1] Докладніше про розуміння «імагології» в сучасній історіографії див.: [14].

ідентифікації. На думку авторитетного вченого Е. Хобсбаума в 1968–1988 рр. оригінальних праць, у яких висвітлюються питання про природу націй і національних рухів і про їх роль в історичному розвитку, написано більше, ніж у будь-який попередній період [32, с. 9]. У тому числі серед тих робіт, які отримали найбільший резонанс у науковому співтоваристві слід назвати праці самого Е. Хобсбаума, а також Б. Андерсона. Згадані автори звернули увагу на суб'єктивну сторону конструювання націй. При цьому було зазначено, що національні феномени мають двоїстий характер: в головному вони конструюються «зверху», і все ж їх не можна осягнути цілком, якщо не підійти до них «знизу», з точки зору переконань, забобонів, надій, потреб, сподівань і інтересів простої людини, які зовсім не обов'язково є національними, а тим більше націоналістичними за своєю природою [32, с. 20]. Згідно Б. Андерсону, нації – «уяви політичні спільноти», і «насправді, всі спільноти, які є більше первісних сіл, об'єднаних контактом віч-на-віч (а, може бути, навіть і вони), – уявні» [1, с. 30, 31]. Уже ця основна теза зумовила увагу до механізмів солідарності/роз'єднання в суспільстві, а також породила заклики до «деколонізації свого розуму».

Для становлення імагології велике значення мала поява низки соціальних теорій, які пояснювали соціальні взаємодії. Зокрема, поширилася думка про те, що видів громадських об'єднань можливо стільки, скільки в комунікаційному обігу обертається благ і цінностей [11, с. 8]. Відповідно, популярними серед дослідників стали такі поняття як «групова солідарність», «соціальний контроль», «соціальна роль», «легітимізація». У центрі уваги опинилися механізми саморепрезентації, саморегулювання і комунікації спільнот. На цій основі активізувалася взаємодія соціології та психології.

Слід також зазначити, що ще наприкінці XIX – на початку XX ст. заявила про себе «класична» антропогеография, що виникла на стику антропології і географії, а пізніше, виникла й культурна географія – міждисциплінарний науковий напрямок, об'єктом вивчення якого є просторова різноманітність культури і її поширення по земній поверхні [31, с. 21]. Зокрема, американський дослідник Карл Зауер, спираючись на праці німецьких і французьких вчених, розробив теорію культурного ландшафту. На його думку, природний ландшафт перетворюється культурою, породжуючи ландшафт культурний. Природна складова акцентує важливість фізико-географічних і ресурсних властивостей ареалу, культурна подає відомості про характер і результати поведінки

людини в ландшафті. Такий ландшафт проходить фази зародження, розквіту, старіння, вмирання [23].

Зазначені теоретичні побудови і нові предметні поля стимулювали конкретно-наукові дослідження. Зокрема, були актуалізовані такі теми і аспекти, які виводили на проблеми внутрішньогрупових цінностей, фронтирних соціальних ролей, культу героїв, легітимізації новацій, домінуючих сенсів, «відкритих» і «закритих» культурних систем, поляризації культурного ландшафту, районування культурного простору та ін. Такі пошуки здійснювалися й в межах історичної імагології, яка стала об'єднувати різноманітних фахівців у ході реалізації конкретних наукових проектів. Приклади таких досліджень можна виявити в 70–80-ті роки XX ст. Зокрема, безпрецедентним за масштабом, став так званий «Вуппертальской проект» Льва Копелева, здійснений ним та його однодумцями (які представляли різні гуманітарні науки), в Бергському університеті в Вупперталі [Див.: 8, 12]. Дослідники поставили перед собою складне завдання: зібрати і узагальнити відповідний літературний тезаурус і на цій основі реконструювати історію появи у німців та росіян «образу чужого» та обґрунтувати нагальну необхідність рішучого викорінення стійких історичних забобонів, і особливо «образів ворога». Були задумані дві паралельні серії: серія «А» (червона) – «Росіяни та Росія очима німців» і серія «Б» (зелена) – «Німці та Німеччина очима росіян». Перший том був готовий в 1984 р., а всього вийшло 12 томів.

В російській/українській історіографії імперської доби, а потім і в радянській історіографії, вивчення «образів народів» також спочатку відбувалося в межах етнопсихології. Характер (або психологія) народу став одним з головних елементів в концепціях народності/етнічності багатьох вчених. Серед тих, хто почав вивчення такого роду проблем, можна назвати М. І. Надєждіна, О. О. Потебню та ін. Звичайно, на тому етапі в дослідженнях було багато односторонніх оцінок і характеристик, навіяних «розповідями очевидців» і суб'єктивними настроями. Проте до початку XX ст. такого матеріалу було накопичено досить багато, що з часом дозволило Г. Г. Шпету написати роботу «Введение в етническую психологию» (М., 1927) [36], де він на основі феноменологічного методу не тільки досліджував поняття «дух», «індивід» і «колектив», а й визначав саме місце етнічної психології в системі наук. Втім, в радянський період такого роду проблеми виявилися на узбіччі дослідницького інтересу. Це пояснюється пануючими методологічними

принципами. Тема «національного характеру» була знову озвучена в радянській науці лише на межі 1960-х – 1970-х років. Зокрема, І. С. Кон помітив, що термін «національний характер», що вперше з'явився на рівні буденної свідомості в подорожніх записках, «не аналітичний, а описовий», а його використання передбачає порівняння і фіксацію відмінностей [13, с. 312]. Важливою віхою на цьому шляху стала праця Б. Ф. Поршнева «Соціальна психологія і історія», яка була опублікована в 1979 р. На наш погляд, в даному контексті заслуговує на увагу думка автора про те, що крім макрогрупп і мікрогруп слід також виділяти мегагруппи і спільноти ще меншого порядку ніж мікрогрупи, за його термінологією «суб-микрообщности» [22, с. 89, 96]. Трохи пізніше вийшла друком книга М. О. Єрофєєва, яка стала прикладом власне імагологічного дослідження [9]. У зазначеній роботі автор прагнув проаналізувати погляди росіян другої чверті XIX століття на Англію і англійців. У радянський період в рамках географічної науки, як субдисципліна географії населення, виникла етнокультурна географія. Широке поширення отримала концепція господарсько-культурних типів, тобто комплексів особливостей господарства і культури, що історично склалися у різних народів.

На сьогодні на українському науковому просторі спостерігається активізація імагологічних досліджень, що здебільшого викликано новими суспільно-політичними умовами всередині країни та зацікавленістю з боку міжнародної спільноти. Принаймні, теми про «національний характер» та «національний менталітет» стали досить поширеними. Почасти йдеться про відродження деяких міркувань минулого, а то й позаминулого століть. На цьому загальному фоні маємо декілька цікавих прикладів [5, 15 та ін.], автори яких намагаються йти в ногу з часом. Вочевидь, успішний рух в цьому напрямку можливий за умови не лише ретельного аналізу попереднього наукового досвіду, але й також урахування новітніх підходів та методів.

Розповсюдження ідей постмодернізму в гуманітарних дослідженнях безсумнівно вплинуло і на імагологію. Динамічність і нестійкість базисних понять, усвідомлення полікультурності як взаємодії гетерогенних тенденцій, здавалося, руйнують вщент всі колишні концепції, а основною характеристикою наукового поля виступає його фрагментарність. Позитивним результатом даного етапу стало усвідомлення процедури децентрації як принципу пізнання, що на

практиці означало відмову від етноцентризму на користь плюральності і рівноправності культур [34, с. 22]. Методологічно важливим став концепт «симулякр», який дозволив більш ґрунтовно розмірковувати про функціонування, еволюцію та взаємодію образів. Однак останнім часом дослідники все частіше говорять про етап «пост-постмодернізму» і початок нового синтезу. Знаковим в цьому плані концептом стала «міждисциплінарність». В рамках імагології це означає, що прийшла пора зібрати до купи напрацювання дослідників різних наукових галузей, але не просто з'єднати, а переосмислити.

На початку нового тисячоліття імагологічні дослідження стимулювалися не лише новими науковими підходами, а й посиленням націоналізму і національних рухів (в тому числі і на пострадянському просторі). І все ж, зауважимо, що початок XXI ст. ознаменовано не лише такими процесами. Глобалізація зробила свого роду переворот в наших уявленнях про національні кордони і міждержавні угоди, міграція і подорожі стали звичайною справою для багатьох людей, а засоби масової інформації і особливо медіакомунікації зв'язали гігантський простір. У нашому сьогоднішньому світі зустрічі з «іншим» в його різноманітних проявах стали частиною повсякдення [34, с. 4]. Повсюдно фіксується таке явище, яке Єва Доманська назвала «гібридна ідентичність» [7, с. 205]. Поряд з цим глобалізація супроводжується локалізацією, що навіть породило такий термін як «глокалізація». У глобалізованому світі все ширше відкриваються можливості для вибору «додаткової» або навіть «альтернативної» самоідентифікації – можливості, які в XIX столітті були вкрай малоймовірні [3].

Відповідно, проблема «свого» – «іншого» – «чужого» в сучасних дослідженнях вийшла на нові обрії. Тепер не тільки вивчаються образи народів-сусідів або народів-«лідерів епохи». Більше того, як уже зазначено, в центрі уваги опинилися образи «іншого» в культурі. Тим самим відбулася «релятивизация категорії національного» [6, с. 85]. Значною мірою предмет імагології тепер пов'язаний з проблемою культурного успадкування. Л. П. Рєпіна прямо вказує на актуальність «*історичного* [курсив автора] вивчення образів як частини культурної спадщини» [24, с. 15]. У цій же програмній статті Л. П. Рєпіна сформулювала також ряд спостережень і висновків, які можуть стати методологічними орієнтирами для дослідників: етнічний стереотип формує психологічну установку на емоційно-ціннісне (частіше негативне) сприйняття «чужого» і задає відповідний алгоритм відбору та інтерпретації

фактів взаємостосунків; «інший» за національною приналежністю може бути своїм за культурно-моральними пріоритетами; опозиція «свої-чужі» складається на різних рівнях, зокрема, в повсякденному житті вона виникає на основі комунікативних критеріїв, що мають на увазі можливість встановлення спілкування (мова, зовнішність, одяг, манери); є час складання стереотипів, їх вкорінення в культурі, і час їх руйнування і формування нових стереотипів взаємного сприйняття.

Актуальною є проблема методів імагології. Описовість, яка продовжує панувати в цій царині, робить будь-яке твердження вельми сумнівним. Разом із тим, провести демаркаційну лінію між індивідуальним і колективним, приватним і загальним, коли мова йде про сприйняття іншої культури дуже непросто. Про це, наприклад, свідчить цікава стаття О. Ф. Кудрявцева, у якій він проаналізував погляди іноземців на Московську державу XVI ст. Автор зауважує, що «…створений саме Герберштейном образ Росії переважив, знецінивши все, що було вже написано, він здійснив істотний вплив на багатьох із тих, хто в подальшому брався про неї розповідати» [16, с. 215]. Цей приклад змушує нас повернутися до проблеми стереотипізації образів «інших», а також чіткіше визначити методи їх виявлення і вивчення. Як зазначає Л. П. Рєпіна, «в центр дослідження повинні бути поставлені наступні питання: який сам образ, як він сформувався, чому він такий, яким цілям він служить, яких змін він зазнав, і що все це говорить про його творців» [24, с. 16]. Іншими словами, в межах імагології належить освоїти метод деконструкції.

Новою і вельми перспективною для подальшого розвитку імагології стала методика побудови так званих «ментальних карт». У розумінні Ф. Шенка ментальна карта – це «створене людиною зображення частини навколишнього простору» [35, с. 42]. Те чи інше суспільство, група або індивід, використовуючи певну семантику і конотацію, характеризують навколишні території, надають своє розуміння соціального і культурного простору і таким чином конструюють ментальні карти. Однак, говорячи про межі «ментальних регіонів», слід відразу зауважити, що на відміну від державних кордонів, вони не являють собою ліній на політичній карті. На думку А. Міллера, мова повинна йти про досить великі перехідні зони, в яких різні культурні та політичні впливи і традиції взаємодіють між собою [19]. Яскравим прикладом виявлення і характеристики таких просторів, як відомо, стали дослідження Ф. Броделя, який відійшов від принципів традиційного метанарративу, що здійснювався в рамках тих чи інших політичних кордонів, а зосередив увагу на спільнотах, об'єднаних геодемографічним середовищем, зокрема, в його працях таким макроісторичним простором стало виступати Середземномор'я. Втім, як вважає А. І. Міллер, перспективним напрямком досліджень є виділення також мікрорегіонів, які дозволяють побачити різні, не обов'язково національні, але і регіональні ідентичності, зрозуміти механізми взаємодії в етнічно різнорідних регіонах. Останнім часом дослідники сконцентрували свою увагу не на описі ідентичностей, але на ставленні індивідуумів до цих ідентичностей, на вивченні того, що люди думали про «свій» і «чужий» простір, як вони бачили ті чи інші географічні ареали, як конструювали територіальні цілісності і якими смислами їх наділяли. До подібних досліджень історичного простору відносяться роботи з історії формування геоісторичних (геополітичних) конструктів, таких, наприклад, як «Індія», «Східна Європа», «Балкани», «Кавказ», «Дикий Захід» та ін. До цього ж типу слід віднести і роботи з культурної антропології, в яких використовуються такі популярні тепер концепти, як «пограниччя», «зона контакту», «серединність» і ін. [25]. Важливо відзначити, що вивчення проблем «фронтиру», тобто кордонів і перехідних зон [Див.: 20 та інші статті у цьому виданні], останнім часом стало не тільки розвитком концептуальних положень, висловлених раніше, але і збагатило імагологію методикою градації і ієрахізації просторів. Стали виділяти види фронтиру: географічний, соціальний, військовий, релігійний, культурний [10, с. 47–48]. Об'єктом уваги стали прикордонні спільноти і регіони [Див., наприклад: 15]. Тим самим напрацьовуються варіанти виявлення і аналізу зон взаємної акультурації, специфіки соціополітичної культури і фронтирного менталітету. В результаті, стає зрозуміло, що такі зони дуже рухливі, частим явищем була і є змішана «географічна ідентичність», коли химерно уживаються різні лояльності. До слова, дослідження Прикордоння змушують засумніватися у висновку Б. Андерсона про те, що в традиційному суспільстві лояльності людей неодмінно були ієрархічними і доцентровими [1, с. 58]. На Прикордонні така ієрархія була дуже хиткою і, в залежності від ситуативного поєднання чинників, легко змінювалася, що ж стосується «доцентровості», то Прикордоння швидше демонструвало «самодостатність», оскільки життя часто вимагало невідкладних дій і привчало до самостійності. До цього додамо, що регіональна ідентичність також може поєднувати різні по стадіальності ознаки, наприклад, домодерні і модерні. І такі гібридні ідентичності не є винятком, а швидше виступають в якості типового явища.

Оскільки для конструювання будь-якого простору важливими є уявлення про його межі, центр та периферію, то треба було виробити відповідні дослідні практики, які б дозволяли їх виявити. Тим самим замість декларацій була запропонована послідовність аналізу, який мав на увазі: встановлення таких меж регіону, його «щільності», аналіз процесу символічного оформлення території: в першу чергу поява і закріплення за нею певної назви, інституційне оформлення регіону, поява символічних ознак, нарешті, поява ідентичності регіону, яка перетворює його в засіб боротьби за владу і ресурси [15, с. 8].

Останнім часом відбулося розширення кола джерел імагології. Стало очевидно, що регіональні ідентичності виявляються не тільки в відповідних наративах, але і в соціальних практиках і ритуалах, обмежених певним простором і часом і конкуруючих між собою, знаходять відображення в культурному ландшафті міста (перш за все – топоніміці, пам'ятниках та архітектури), публічних репрезентаціях [15, с. 8–9, 320]. Джерелом можуть стати путівники і навіть такі довідкові видання як адресні книги, оскільки саме в таких виданнях можна виявити географічні (регіональні, етнічні) маркери в назвах організацій і установ. У пошуках «своїх» і «чужих» слід уважніше вивчати художню літературу і кінофільми, які краще за інших джерел передають емоційний клімат своєї епохи і формують «національні типи».

По суті, сьогодні спостерігається прагнення вийти за рамки звичного кола джерел, а також по-новому прочитати давно відомі тексти. Тривалий час свідченням очевидців історики віддавали явну перевагу, «адже вони все бачили на власні очі». У зв'язку з цим багато фактів з таких текстів некритично переписувалося і поширювалося. Тим часом, відомо, що створенню образу ворога значною мірою сприяли саме записи мандрівників, які збирали плітки та чутки. Їх описи часто характеризуються емоційним ставлення до побаченого і почутого, високим рівнем психологічної тривожності і навіть жаху. У них багато поспішних узагальнень і відомостей про «дивацтва», які можна пояснити поганим знанням чужої мови та звичаїв, великою роллю різного роду «посередників». На такі оцінки впливали культурна дистанція і упередження відповідної доби [Див., наприклад: 17]. Відповідно, необхідно розуміти, що інформація з таких джерел обов'язково має бути «врівноважена» іншими свідченнями.

Сьогодні дослідники також наголошують на необхідності розрізнення дискурсів: літературно-естетичного, публіцистичного, історико-етнографічного і ін. У кожному з них акценти розставлені по-різному. До того ж, необхідно враховувати, що жанрові кордони текстів часто перетинаються [2, с. 124–125]. На порядку денному стоїть завдання такої обробки джерел, в тому числі і травелогів, яка б надала узагальнену інформацію. Але мова йде не тільки про можливості квантитативної історії. По новому побачити проблему ідентифікації дозволив так званий «візуальний поворот». Виявилося, що візуальні джерела надають чудовий матеріал для такого роду аналізу. Зокрема, широкі можливості надають плакати. Плакатний образ візуалізує ворога, він націлює на протиставлення героїв і антигероїв, він в концентрованому вигляді висловлює багато культурних стереотипів. Популяризація географічних образів у творах мистецтва, рекламі, логотипах і т.п. поступово формувала символічну географію регіону. Акцент на візуальному: пам'ятниках, символах, ключових (відомих) персонажах, аксіоматичних зображеннях (наприклад, в букварях [Див.: 27]) дозволяє виявити тенденції, окреслити символічні кордони, простежити трансформації образів.

Далеко не вичерпані можливості тематичного аналізу текстів і їх деконструкції. Наприклад, можна окремо аналізувати сприйняття іноземцями місцевої кухні або дозвілля. Помічено, що національна кухня – один з тих моментів, за якими перевіряється терпимість іноземця до чужої культури [29, с. 336].

Нові підходи, які виявилися в історіографії останнім часом, актуалізували деякі відомі лінії вивчення «своїх» і «чужих». Зокрема, більше уваги стали приділяти варіантам репрезентації «свого».

Вирішуючи проблему «відкритості чужої культури», дослідники звернули увагу на роль комунікації як чинника консолідації людей. Комунікація набуває особливого значення в умовах мультикультурності. У зв'язку з цим, перспективним може стати вивчення каналів діалогу культур, комунікативних розривів, «зон культурного білінгвізму».

Таким чином, на сьогоднішній день, в результаті міждисциплінарної взаємодії та розширення предметного поля, межі імагології виявилися настільки розмитими, що виникає питання про її існування як такої. З'явився навіть термін «імагінативна (тобто уявна) історія» з очевидним домінуванням уявного знання. І все ж нам рано прощатися з імагологією у вузькому сенсі цього слова. Культура продовжує потребувати «своїх» і «чужих». Все це змушує нас уважніше поставитися до такого роду ідейних пошуків. І, звичайно, треба продовжити осмислювати роль

істориків в цьому процесі. Вочевидь, наукове співтовариство істориків має ту специфіку, що воно структурується не тільки «по горизонталі», а й «по вертикалі» (тобто корені історіографічних традицій глибше, а тема спадкоємності набуває в цьому випадку особливого значення). Очевидно також, що співтовариство істориків структурується відповідно до ідейного спектру певної доби й дуже чутливе до змін суспільно-політичних умов. Втім, добре відомо, що значна частина професійного наукового співтовариства є не тільки виконавцем «суспільного замовлення», а й значною мірою визначає це замовлення. Отже історики, вочевидь, несуть певну відповідальність в тому числі й за спрямованість процесу стереотипізації «своїх», «чужих» та «інших».

1. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон ; пер. В. Г. Николаева ; вступ. ст. С. Баньковской. – М, 2001. – 288 с.
2. *Белов М. В.* «Славянский характер»: русские публицисты, литературные критики и путешественники первой половины XIX века в поисках «народности» / М. В. Белов // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 124–147.
3. *Бойцов М. А.* История закончилась. Забудьте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=595&rubric_id=1000166
4. *Вжосек В.* Культура и историческая истина / В. Вжосек ; пер. с польск. К. Ю. Ерусалимский. – М., 2012. – 336 с.
5. *Грицай Е.* Украина: национальная идентичность в зеркале Другого / Е. Грицай, М. Николко. – Вильнюс, 2009. – 220 с.
6. *Гудков Л. Д.* Евреи в России – свои/чужие / Л. Д. Гудков, А. Г. Левинсон // Одиссей. Человек в истории. 1993. – М., 1994. – С. 85–106.
7. *Доманська Е.* Історія та сучасна гуманітаристика / Е. Доманська. – К., 2012. – 264 с.
8. *Драбкин Я.* О Копелеве в жизни и творчестве // Лев Копелев и его «Вуппертальский проект» / под ред. Я. С. Драбкина. – М., 2002. – С. 33–96.
9. *Ерофеев Н. А.* Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских 1825–1853 гг. / Н. А. Ерофеев – М., 1982. – 320 с.
10. *Каппелер А.* Южный и восточный фронтир России в XVI–XVIII веках / А. Каппелер // Ab imperio. – 2003. – № 1. – С. 47–64.

11. *Ковалев А.* Книга Ирвинга Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни» и социологическая традиция // Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / пер. с англ. А. Д. Ковалева. – М., 2000. – С. 5–28.
12. *Кожевникова А. М.* «Вуппертальский проект» Льва Копелева: научное и общественно-политическое значение : автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2012. – 23 с.
13. *Кон И. С.* К проблеме национального характера / И. С. Кон // История и психология. – М., 1971. – С. 122–158.
14. *Котова С.* «Образ чужого» і «образ ворога»: «імагологія» в сучасних міждисциалінарних гуманітарних дослідженнях / С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка : Сер. Історія. – 2015. – № 4 (127). – С. 20–24.
15. *Кравченко В.* Харьков/Харків: столица Пограничья / В. Кравченко. – Вильнюс, 2010. – 358 с.
16. *Кудрявцев О. Ф.* Двоякий образ России: Сигизмунд Герберштейн и его предшественники / О. Ф. Кудрявцев // От Средних веков к Возрождению : сб. в честь проф. Л. М. Брагиной. – СПб., 2003. – С. 186–215.
17. *Лежнина Е. В.* Образ «врага»: ирландские католики глазами англикан в конце XVII – начале XVIII в. / Е. В. Лежнина // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 308–324.
18. *Лескинен М. В.* Концепт «национальный характер/нрав народа» в языке российской науки второй половины XIX в. / М. В. Лескинен // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – 148–169.
19. *Миллер А. И.* Ментальные карты историка. И связанные с ними опасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : mion.sgu.ru/empires/docs/mental.doc
20. От редакции. Границы империи: в поисках пределов применимости исторических метанарративов // Ab imperio. – 2003. – № 1. – С. 9–17.
21. От редколлегии // Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. – М., 1994. – С. 5–7.
22. *Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история / Б. Ф. Поршнев. – М., 1979. – 232 с.
23. *Рагулина М. В.* Концепции культуры и культурный ландшафт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://teoria-practica.ru/-7-2012/culture/ragulina.pdf

24. *Репина Л. П.* «Национальный характер» и «образ Другого» / Л. П. Репина // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 9–19.

25. *Савельева И.* Пространственный поворот и глобальная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gefter.ru/archive/4328

26. *Савицкий Е. Е.* Национализм – последняя угроза демократии? Европейские исследования национализма и их постколониальная критика в 1980-1990-е гг. / Е. Е. Савицкий // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 256–270.

27. *Сальникова А. А.* «Свои» и «другие», взрослые и дети в визуальном ряде татарского национального букваря «Алифба» (конец 1980-х – 1990-е гг.) / А. А. Сальникова // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 403–417.

28. *Сенявский А. С.* Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.) / А. С. Сенявский, Е. С. Сенявская // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. – 2006. – № 2(6). – С. 54–72.

29. *Солодянкина О. Ю.* Представления о русских в письмах, дневниках, воспоминаниях двух английских гувернанток / О. Ю. Солодянкина // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 334–346.

30. Стенограма та матеріали конференції «Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації» // Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації : матеріали Міжнародної наук. конф. – К., 2008. – С. 5–210.

31. *Стрелецкий В. Н.* Культурная география в России: особенности формирования и пути развития / В. Н. Стрелецкий // Известия РАН. Сер. Географ. – 2008. – № 5. – С. 21–33.

32. *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. / пер. с англ. А. А. Васильева. – СПб., 1998. – 305 с.

33. *Ходячих С. С.* «Angli» vs «Normanni»: проблемы и парадоксы англо-норманского взаимовосприятия / С. С. Ходячих // Диалог со временем. – М., 2012. – Вып. 39. – С. 295–308.

34. *Шапинская Е. Н.* Образ Другого в текстах культуры / Е. Н. Шапинская. – М., 2012. – 216 с.

35. *Шенк Ф. Б.* Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней / Ф. Б. Шенк // Новое литературное обозрение. – 2001. – № 6 (52). – С. 42–61.

36. *Шпет Г. Г.* Введение в этническую психологию / Г. Г. Шпет. – СПб., 1996. – 153 с.

Посохов С. И. «Свои», «чужие», «другие»: проблемы и перспективы имагологии

Статья посвящена определению ключевых проблем и перспектив развития имагологии - междисциплинарного направления исследований, в основном направленного на изучение процессов формирования и функционирования этнических представлений. Отмечается, что на становление имагологии существенно повлияли исследования различных форм национальной и групповой идентификации, которые были осуществлены во второй половине XX в. В результате междисциплинарного взаимодействия и расширения предметного поля границы имагологии в наше время оказались весьма размытыми. Тем не менее, важность изучения процессов стереотипизации «своих», «чужих» и «других» актуализирует имеющиеся наработки в этой области. Делается вывод, что на сегодня предмет имагологии значительной степени связан с проблемой культурного наследования, отмечается, что в последнее время наблюдаются попытки расширить круг источников имагологии и усовершенствовать методы такого рода исследований.

Ключевые слова: имагология, этнические представления, групповая идентичность, культурное наследование.

Posokhov S. I. "Their", "Alien", "Other": the Problems and Prospects of Imagology

The article is devoted to identifying the key problems and prospects of imagology development – the interdisciplinary research area, mainly aimed at studying the processes of formation and functioning of ethnic images. The author noted that the study of various forms of national and group identity, which were implemented in the second half of the twentieth century, significantly influenced on the formation of imagology. As a result of an interdisciplinary interaction and the subject field expansion, the imagology boundaries in our time are very blurred. Nevertheless, the importance of studying the stereotyping processes of "their", "alien" and "other" updates the existing groundwork in this area. The author concludes that at present the imagology subject is largely related to the problem of cultural inheritance, it is noted that in recent years there are attempts to expand the range of imagology sources and to improve the methods of this kind of research.

Keywords: imagology, ethnic images, group identity, cultural inheritance.

ІСТОРІЯ ІСТОРІЇ

УДК 930(477)–057.4

О. М. Богдашина

ІСТОРИК ТА ВЛАДА: СЮЖЕТИ, МІРКУВАННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

У статті на різноманітних прикладах з життя та творчості відомих європейських, українських та російських вчених розглядаються різні форми ставлення істориків до правлячого політичного режиму: від його активної підтримки до формальної лояльності до існуючої влади. Активна підтримка науковцями правлячого режиму виявлялася не лише у легітимізації держави та її політики, а й у підтасовці історичних фактів на користь влади. Формальна лояльність до існуючого політичного режиму часто супроводжувалася обережною його критикою.

Ключові слова: легітимізація держави, ідеологія, історичні праці.

Історична думка в усі часи у більшій чи меншій мірі слугувала одним з засобів легітимізації влади. Серед усіх можливих способів легітимації влади, які спрямовуються на найбільш оптимальне та ефективне досягнення суспільного визнання існуючої політичної влади та еліти, чільне місце займають історичні праці. Для підвищення легітимності влади, а отже формування позитивного ставлення до чинної влади більшості населення, а також визнання її правомірності світовим співтовариством в цілях встановлення офіційних і неофіційних відносин сама влада зверталася до послуг істориків. З іншого боку частина істориків, в тому числі з кар`єрних міркувань, активно возвеличувала правлячу владу та інтерпретувала на догоду останній минуле. Про складний взаємозв`язок радянської історіографії та більшовицької влади писали О. М. Дубровський [7] та інші сучасні дослідники [Наприклад: 3, 6, 16, 20]. Ми, у свою чергу, наведемо декілька прикладів з історії історичної думки у різних країнах за більш тривалий відрізок часу.

Історики слідом за Нестором оповідають вбивство князів Бориса та Гліба за наказом великого київського князя Святополка Окаянного у версії, вигідній переможцем у міжусобиці іншому зведеному брату –

© Богдашина О. М., 2016

Ярославу Мудрому. Хоча це вбивство на охоті, вочевидь, було більш вигідно Ярославу Володимировичу, який (звичайно) не організовував, але використав смерть братів для початку війни проти Святополка.

За часів абсолютизму найкраще роботу з історичної легітимації правлячої династії виконували саме придворні історіографи, які часто були непрофесійними істориками (серед найбільш відомих імен у Франції: драматург Ж. Б. Расін, філософ та письменник Вольтер; в Англії поет Джон Драйден, у Шотландії пастор Уільям Робертсон).

У Російській імперії придворні історіографи (Г. Ф. Міллер, князь М. М. Щербатов, М. М. Карамзін) не лише пояснювали історичне минуле з провладних позицій. Відомі й зворотні приклади – спроби істориків вплинути на владу. Так, наприклад, у 1811 р. М. М. Карамзін, який на той час займав офіційну посаду історіографа при імператорі Олександрі I, у своєму публіцистичному нарисі «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» [10] намагався довести шкідливість реформ для Російської імперії. У іншому творі «О Польше, мнение русского гражданина» (1816 р.) [11, с. 3–20, 194–195] він розглядав Польщу як головну перешкоду на шляху досягнення Росією великодержавного становища.

За часів правління Миколи I, особливо після європейських революцій 1848–1849 рр., у Росії були прийняті урядові заходи щодо обмеження «вільнодумства» в університетах [Див. детальніше: 3, с. 82, 184 та ін.]. Звичайно, це вплинуло й на історіописання.

Від початку реформ Олександра II лише частина науковців виступали за збереження сильної самодержавної влади. М. Н. Петров, наприклад, публічно проголошував, що своєю величчю та могутністю Росія зобов'язана самодержавству, оскільки «государ, нарівні зі своїми підданими, служить своїй державі, добробут і щастя якої і є верховним інтересом государя, країни і народу» [21, с. 433]. Самодержавство він вважав для Росії «єдино-можливим» в умовах «розкиданості слов'яно-руського населення …та при вічній боротьбі його з …іноземцями» [22, с. 146]. В той же час монархічні переконання М. Н. Петрова поєднувалися з визнанням необхідності поступових реформ та запровадження політичних свобод [23, с. 52–53].

Більша частина істориків другої половини XIX ст. виступала за перетворення абсолютної монархії Романових у конституційну монархію. Остання вважалась найбільш ефективною формою державного устрою, особливо порівняно з республікою. Так,

М. М. Ковалевський вважав для багатьох держав кращою формою правління на зламі XIX–XX ст. саме конституційну монархію, в якій монарх виступає «верховним посередником між класами та захисником інтересів народних мас» [14, с. VII]. До завдань монархічної влади вчені відносили регулювання економічних, соціальних та інших відносин, що мало стати запорукою розвитку суспільства без революцій. Той же М. М. Ковалевський неодноразово у редагованій ним газеті «Страна» (1906 р.) та інших працях [Наприклад: 13, с. 237, 239–240, 249–252 та ін.] виступав за чіткий розподіл законодавчої та виконавчої гілок влади, за солідарну відповідальність міністерств перед парламентом, за секуляризацію влади, за загальнодоступну народну школу, навіть за народні референдуми та федеративний державний устрій.

Для розвитку української історіографії у Російській імперії склалися несприятливі суспільно-політичні умови у зв'язку із заборонами 1863 р. та 1876 р. публічного використання української мови. Тому переважна більшість праць істориків підросійської України до 1905 року була надрукована російською. З бібліотек Російської імперії вилучалися вже надруковані книги, які Цензурний комітет вважав радикальними [3, с. 82, 114–145 та ін.].

Окрім загальної цензури на творчість вчених впливала самоцензура. Університетські викладачі були водночас державними чиновниками, і це певною мірою також впливало на їх наукову діяльність. Поведінку науковців, як підкреслює С. І. Лиман, коригували «магія докторських та магістерських ступенів, бажані професорські звання, перспективи отримати за службу особисте, і навіть спадкове дворянство (для тих, хто його не мав)» [15, с. 51]. Характерно, що В. Б. Антонович пояснював «потрійну» лояльність професора австрійської історії Львівського університету І. І. Шараневича саме його службовим становищем [9, ф. 1, од. збер. 8093, арк. 3 зв.]. Сам І. І. Шараневич на II з'їзді польських істориків у Львові (1890 р.) назвав себе «щасливим», зазначаючи: «Я є польським науковим високопосадовцем і це становище цілком узгоджується з моїми переконаннями» [27, t. 2, s. 107] Такий пасаж є не стільки прикладом ввічливості, скільки проявом його внутрішніх переконань. Значна частина істориків XIX – початку XX ст., яка мала помірковані ліберально-реформаторські, демонструвала повну лояльність до влади. Типовим прикладом «подвійної» лояльності є творчість та культурно-просвітницька діяльність Д. І. Багалія, який зробив успішну кар'єру в імперії. Незважаючи на вивчення в основному

проблем української історії та культури, у творах професора та ректора Харківського університету до 1918 року чітко не простежується бажання довести на концептуальному рівні окремішність російського та українського історичних процесів [4, с. 93 та ін.].

У Росії небажання суспільствознавців займатися теоретичними питаннями обумовлювалося побоюванням бути звинуваченими у політичній неблагонадійності. Як згадував звільнений з Московського університету з цієї причини[1] М. М. Ковалевський, після запровадження університетського статуту 1884 р., що суттєво обмежив автономію вищої школи, багато університетських викладачів «старанно вилучали зі своїх лекцій все те, що не є простим викладом фактів» [Цит. по: 3, с. 66].

Примітно, що значна частина російських та польських вчених не сприймала історію України як історію окремого народу. С. О. Єфремов про це писав так: «Університети на Україні просто гребували наукою про рідний край, справляючи ту саму місію, якій все слугувало в централізованій Росії» [8, с. 4]. Подібна ситуація спостерігалася, наприклад, і в підавстрійській Буковині. Як згадував депутат австрійського парламенту О. Г. Барвінський, німецькомовний Чернівецький університет та інші «наукові інституції» «не могли виховати свідомої української інтелігенції, що полюбила би свій край і народ, і подбала про його культурний розвиток» [1, с. 107].

Невпорядкованість архівних фондів, негласна заборона займатися певною тематикою також стримували розвиток історичної науки у Російській імперії. Наприклад, М. В. Довнар-Запольський лише після початку першої буржуазно-демократичної революції отримав доступ до архівних документів про декабристів, зміг надрукувати ще за правління Романових три праці з цієї теми.

Практика «обслуговування» істориками правлячої династії значно послабилася у другій половині XIX ст. Дослідження минулого набули нового забарвлення у зв'язку з модернізаційними процесами та поширенням ідей позитивізму. Висловлювання Дж. Ст. Мілля та Г. Т. Бокля з т. зв. «жіночого питання», позитивне у цілому ставлення О. Конта до революцій, пропозиції Г. Спенсера та Дж. Ст. Мілля

[1] Інформатори повідомляли, що на заняттях М. М. Ковалевський обговорював зі студентами юридичного факультету Московського університету проблему захисту особистих прав громадян, аналізуючи британські закони, і критикував у зв'язку з цим російське законодавство [26, с. 388].

обмежити державне регулювання суспільного життя були вказівками для їх послідовників щодо ставлення до важливих суспільно-політичних проблем. Об'єктивно позитивістські ідеї, як відзначав Б. Г. Могильницький, приводили читачів до висновків, які теоретично обґрунтовували необхідність реформ [17, с. 182]. Д. І. Каченовський публічно критикував політику російського уряду, висловлювався за демократичні реформи: розширення виборчого права та місцевого самоврядування, проголошення політичної свободи й конституційну монархію на кшталт англійської [Див. детальніше: 3, с. 108–109 та ін.].

На думку Д. М. Петрушевського, суспільні ідеї за таких умов обов'язково набували громадського звучання: «Юридична, політична та будь-яка інша суспільна ідея лише в тих випадках може стати реальною суспільною силою, коли вона є живою формулою чи символом фактичних відносин, що вже склалися у даному суспільстві в тій чи іншій мірі; в протилежному випадку вона являє собою мертвий капітал…книжної вченості» [24, с. 97–98]. Серед тих теорій та проблем, важливість яких збільшувалася завдяки реаліям тогочасної дійсності, були еволюційна теорія, концепція безупинного лінійного прогресу, проблема нових форм державного управління, питання про роль общини, перспективи капіталістичного розвитку та інші [17, с. 181].

Історики-позитивісти надавали культове значення принципу об'єктивності наукових досліджень. Водночас, науковці другої половини XIX – початку XX ст. ніколи не заперечували соціальний характер історичної науки, лише пропонували звести до мінімуму вплив зовнішніх обставин на творчість ученого [Див. детальніше: 3, с. 293–300].

У радянський час становище істориків докорінно змінилося. У 1920-х рр. частково зберіглася стара (дореволюційна) історіографічна традиція та частково свобода творчості. Зі встановленням у 1929 р. тоталітарного режиму у формі культу особи Сталіна науковці перетворилися на «бійців ідеологічного (історичного) фронту». Марксизм був оголошений єдиним правильним вченням. З кінця 1920-х рр. цитування класиків марксизму мало обов'язковий (можна сказати, ритуальний) характер і передбачало формальне прийняття їх положень. Цитування класиків марксизму в радянські часи принципово відрізнялося від цитування творців позитивізму у дореволюційний період. Цитування О. Конта, Г. Спенсера, Д. С. Мілля було у першу чергу виявленням поваги до їх ідей, не підтриманих офіційно владою, а

також способом приєднатися до риторики позитивістського наративу. Випадки критичного цитування, особливо у 1860-х – 1870-х роках, були порівняно менш поширеними.

Більшовикам у 1930-х рр. вдалося створити особливу, притаманну для тоталітарних суспільств, масову історичну свідомість. У суспільній свідомості поширювалися уявлення про загрози для країни від чисельних зовнішніх і внутрішніх ворогів. Одним з внутрішніх, «добре замаскованих» ворогів для частини населення була дореволюційна інтелігенція дворянсько-буржуазного походження. В тому числі у радянському суспільстві 1920-х – на початку 1930-х рр. було поширене нігілістичне, часом образливе ставлення до університетської професури як до «ворожого елементу», позбавленого моральних якостей. Із кінця 1920-х років на теренах СРСР попередня історіографія піддавався жорсткій, у багатьох випадках необґрунтованій критиці, оскільки вивчення немарксистських теорій мало на меті довести помилковість підходів їх послідовників у поясненні різних суспільних проблем та «істинну» науковість лише теорії історичного матеріалізму. Не дозволялося (принаймні публічно) висловлюватися на користь відмінних від марксистського підходу інтерпретацій минулого. Вибіркове використання джерел та заідеологізований аналіз окремих історичних фактів, відмова від інших теорій, окрім т. зв. «марксизму-ленінізму», збіднювали історичні праці радянського часу [Див. детальніше: 2].

Вже у 1920-х рр. радянська влада почала безпосередньо втручатися у роботу істориків. О. П. Оглоблин про такі форми адміністративного втручання писав: «надоїдлива, дріб'язкова опіка й суровий партійний контроль, брутальне втручання офіційних комуністичних істориків, цензурні заборони, переслідування окремих українських вчених, мізерні кошти тощо» [18, с. 86]. З середини 1920-х років поступово обмежується трансляція не лише суспільно-політичної, а й суто наукової інформації. Так, майже не проводилися суто наукові конференції. З 1924 р. обмежувався доступ непартійних дослідників до архівних матеріалів, особливо з історії більшовицької партії [16, с. 38]. Листування через можливість перлюстрації перестало бути важливим каналом обміну науковою інформацією. Крім того, було обмежено спілкування з закордонними науковцями; а з 1929 р. отримання книг з-за кордону. Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. у ВУАН та різних ІНО організовувалися кампанії критики та самокритики. Обговорення

наукових доповідей з будь-якої тематики перетворювалось на політичні звинувачення. Відвідування таких зборів було обов'язковим для усіх співробітників даної установи. Окрім самобичування винуватця, передбачалися співдоповіді з критикою наукової продукції та виступи «бажаючих»; серед останніх обов'язково мали бути учні. Після публічного морального приниження винуватці ставали як правило безробітними [19, с. 30–33]. Політичні звинувачення загрожували не лише звільненням з роботи, а й у подальшому часто арештом здебільшого за статтею 54 Карного кодексу УРСР (антирадянська агітація та пропаганда).

Молоді історики фанатично боролися, не гребуючи ніякими засобами, проти «старої», «буржуазно-націоналістичної» історіографії. Саме історики-партійці були активними учасниками різноманітних чисток (керуючими та членами бригад по обслідуванню відділів інституту), диспутів (головуючими, співдоповідачами) тощо [Див. детальніше: 2, с. 90].

Після публікації листа Й. В. Сталіна у часописі № 6 за 1931 р. «Пролетарская революция», в якому прихильники документального пояснення історії більшовицької партії були оголошені «безнадійними бюрократами» та «архівними крисами» [25, с. 9], посилилися негативні тенденції у роботі наукових установ та вищих навчальних закладів. Наукова робота організовувалася за бригадним методом з розгортанням соціалістичного змагання та ударництва, з перевірками та взаємоперевірками бригад [5, ф. 37, од. зб. 477, 485]. Нові форми знецінювали внесок окремих науковців у дослідження обраної теми, робили неможливим обрати тему, далеку від політичного замовлення. Крім того, у бригадах легше було стежити за «чистотою» методології. Учений кінця 1920-х – 1930-х рр. не міг відійти у «внутрішню наукову ізоляцію», як це зробили деякі науковці 1960 – 1980-х рр. За таких умов політичні кон`юктурники з партійним квитком були краще захищені, ніж творчі люди, до того ж часом з не більшовицьким партійним минулим. Наступив «зірковий час» для молодих комуністів-аспірантів. Авторитетні науковці практично втратили свій вплив на роботу наукових і навчальних установ, в яких вони працювали.

Від арешту не врятовували жодні посади та регалії. Від арешту, як це зрозуміло на прикладі М. Є. Рєдіна [Див. детальніше: 2, с. 91], не рятували навіть власні доноси до ЦК КП(б)У і НКВС УСРР. Приводами для репресій ставали минула приналежність

до політичних партій (наприклад, В. О. Романовського – до партії російських кадетів, М. В. Горбаня, Я. О. Риженка – до української партії соціалістів-революціонерів, О. Г. Водолажченко, Н. Ю. Мірза-Авак`янц, М. Є. Слабченка – до українських соціал-демократів), збереження українофільських чи немарксистських (за термінологією того часу «буржуазно-націоналістичних», «контрреволюційних», «троцькістських») поглядів, звичайно, часом невмотивовані, доноси [Див. детальніше: 2, с. 91].

Атмосфера публічних політичних звинувачень, доносів, відсутність хоча би примарної свободи наукової творчості, руйнація старих моральних норм, ліквідація дореволюційної системи підготовки наукових кадрів – все це справило вкрай негативний вплив на розвиток радянської науки.

Можна виокремити найбільш негативні наслідки контролю державного апарату у СРСР для науки (не лише історичної):

1. Організація історичної науки та освіти у відповідності з урядовими директивами. Підготовка кадрів нових викладачів та учених як ідеологічних працівників правлячої партії.

2. Політичні переслідування інакомислячих (кампанії критики і самокритики кінця 1920-х – початку 1930-х рр.; арешти переважно у часи правління Й. В. Сталіна); звільнення з роботи; особисте втручання вищого партійного керівництва у наукові дискусії тощо.

3. Штучна ізоляція радянських істориків від світового наукового співтовариства (одиничні виїзди за кордон для роботи в архівах чи для участі у конференціях; боротьба з «безрідним космополітизмом» у 1947–1953 рр., з «підлабузництвом перед Заходом»).

4. Ідеологізація соціогуманітаристики найбільш яскраво проявлялася в організації «історичного фронту» для боротьби з буржуазними істориками; у кількісній перевазі революційної проблематики. Науковці слідом за теоретиками марксизму-ленінізму оголосили класову боротьбу головною рушійною силою суспільного розвитку. Спрощення теорії історичного процесу привело до визнання 5-членнної схеми суспільно-економічних формацій останнім словом науки.

5. Суттєвим негативним соціокультурним фактором розвитку радянської соціогуманітаристики стала цензура, а також самоцензура авторів. З 1950-х рр. посилюється «ухід» частини науковців в археологію та інші спеціальні історичні дисципліни, що давало більшу свободу творчості.

6. Обмежений (особливо за часів сталінізму) доступ до архівів та книгосховищ звужував джерельну базу багатьох досліджень.

7. Радянські науковці своїми працями часто міфологізували минуле. Так, за вказівкою сталінського керівництва у 1940-і рр. відбулося вибіркове возвеличення деяких історичних діячів (Олександра Невського, Дмитра Донського, Івана Грозного, К. Мініна та Д. Пожарського, Петра І). Головними досягненнями цих державних діячів оголошувалися боротьба з зовнішнім ворогом, у ряді випадків збереження державності та розширення кордонів держави. Суттєвому спотворенню минулого не лише у наукових працях, а й у масовій історичній свідомості сприяли історична романістика та кінематограф.

Все це призводило до зниження наукового рівня частини надрукованих праць, які подекуди сприймалися як фактологічний коментар до цитат з праць К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, постанов чергових партз'їздів.

Деяке послаблення диктату радянсько-партійних органів відбулося за часів т. зв. хрущовської відлиги та горбачовської перебудови. Отже, історичну науку радянського періоду можна схарактеризувати як репресовану науку і водночас як засіб репресій.

Після розпаду СРСР у незалежній Україні встановилася відносна свобода творчості. В той же неодноразово за каденцій різних президентів політичне керівництво країни намагалося використовувати ті чи інші наукові інституції, окремих учених для висвітлення у вигідному для правлячої еліти національної історії. З іншого боку, самі історики інколи висловлюють дуже радикальні погляди. Так, непродумана діяльність Українського інституту національної пам'яті з декомунізації посилює протистояння у суспільстві. До того ж політика уряду щодо науки (особливо академічної) останніх років, зокрема суттєве недофінансування цієї важливої галузі, призводить до зниження багатьох показників роботи наукових інституцій та виїзду частини учених за кордон.

Отже, підтримка істориками правлячого режиму ставала засобом легітимізації держави та її політики. Більшість істориків виконували та продовжують виконувати соціальне замовлення, яке може бути явним (як у радянський час) чи завуальованим (як тепер). Зворотний вплив на державні інституції залишається незначним та ситуативним. Між тим однією з головних цінностей для науковців була і залишається свобода творчості. Опозиційність (часто конструктивна) до будь-якого

політичного режиму притаманна значній частині наукової інтелігенції, яка є найбільш освіченою та гуманістично налаштованою частиною суспільства. Хотілося, щоб у процесі подальшої демократизації суспільства та вкорінення проєвропейських державницьких і культурних традицій тиск державних установ (у будь-якій формі) на діяльність установ та творчість окремих вчених гуманітарного профілю зменшувався. З іншого боку самі історики та інші гуманітарії мають більш активно захищати свободу своєї творчості та виявляти корпоративну солідарність.

1. *Барвінський О.* Історія української літератури. Ч. 2. Третя (народна) доба письменства / О. Барвінський. – Львів, 1921. – 429 с.
2. *Богдашина О. М.* Життєві стратегії істориків радянської України 1920 – 1930-х рр. / О. М. Богдашина // Харківський історіографічний збірник. – Х., 2012. – Вип. 11. – С. 80–94.
3. *Богдашина О. М.* Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX –20-ті рр. XX ст.) / О. М. Богдашина. –2-е вид., доп. та переробл. – Х., 2013. – 560 с.
4. *Богдашина О. М.* Слобідський літописець історії України Д. І. Багалій / О. М. Богдашина // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 88–112.
5. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.
6. *Водотика С. Г.* «Соціальне замовлення» історичній науці УСРР (1920–1930-і рр.) / С. Г. Водотика // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 194–207.
7. *Дубровский А. М.* Историк и власть : историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.) / А. М. Дубровский. –Брянск, 2005. – 800 с.
8. *Єфремов С. О.* Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – К., 1995. –686 с.
9. Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського Національної академії наук України.
10. *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. – М., 1991. – 127 с.
11. *Карамзин Н. М.* Неизданные сочинения и переписка/ Н. М. Карамзин. – СПб., 1862. – Ч. I. –VI, 240 с.

12. *Ковалевский М. М.* Очерки по истории политических учреждений в России: пер. под ред. Е. Смирнова / М. М. Ковалевский. – СПб., 1908. – 242 с.
13. *Ковалевский М. М.* Прогресс / М. М. Ковалевский // Вестник Европы. – 1912. –№ 2. – С. 225–260.
14. *Ковалевский М. М.* Происхождение современной демократии / М. М. Ковалевский. – М., 1895. – Т. 2. – IX, 570 с.
15. *Лиман С. И.* Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 –первая половина 1880-х гг.) / С. И. Лиман. – Х., 2009. – 688 с.
16. *Ляпіна О. В.* Політизація історичної науки та освіти в Україні в 20-х–30-х рр. XX ст. (на прикладі Київського інституту народної освіти) / О. В. Ляпіна // Історія та історіографія в Європі. – 2003. – Вип. 1–2. – С. 31–42.
17. *Могильницкий Б. Г.* У истоков социально-экономического направления в русской буржуазно-либеральной медиевистике / Б. Г. Могильницкий // Методологические и историографические вопросы исторической науки. – Томск, 1965. – Вып. 3. – С. 178–252. – (Труды Томского государственного университета. Серия историческая ; Т. 178).
18. *Оглоблин О.* Українська історична наука в 1920-х роках / О. Оглоблин // Український історик. – 2000. – №1–3. – С. 79–86.
19. *Оглоблин О.* Як большевики руйнували українську історичну науку/ О. Оглоблин // Український історик. – 2000. – №1–3. – С. 16–53.
20. *Очеретянко В. І.* Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20-30-ті рр. XX ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. І. Очеретянко – Х., 2000. – 19 с.
21. *Петров М. Н.* Из всемирной истории: очерки / М. Н. Петров. – 2-е изд. – Х., 1882. – 440 с.
22. *Петров М. Н.* Лекции по всемирной истории. Т. 2. Ч. 1. История средних веков / М. Н. Петров. – СПб., 1906. – 150 с.
23. *Петров М. Н.* Новейшая национальная историография в Германии, Англии и Франции: сравнительный историко-библиографический. обзор / М. Н. Петров. – Х., 1861. – VII, 310 с.
24. *Петрушевский Д. М.* Очерки из истории средневекового общества и государства. Введение. Задачи и методы всеобщей истории / Д. М. Петрушевский // Научное слово. – 1904. – Кн. 3. – С. 78–115.

25. *Сталин И. В.* О некоторых вопросах истории большевизма / И. В. Сталин // Пролетарская революция. – 1931. – № 6. – С. 3–12.

26. *Чильяни Д.* Позитивистская учёность, педагогические устремления и либеральная политика в работах М. М. Ковалевского / Д. Чильяни // Власть и наука, ученые и власть: 1880 – начало 1920-х годов : материалы Международного научного коллоквиума / отв. ред. Н. Н. Смирнов. – СПб., 2003. – С. 379–401.

27. Pamiętnik Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie. – Lwów, 1890–1891. – T. 1–2.

Богдашина Е. Н. Историк и власть: историографические сюжеты, размышления и предостережения

В статье на различных примерах из жизни и творчества известных европейских, украинских и российских ученых рассматриваются различные формы отношения историков к правящему политическому режиму: от его активной поддержки до формальной лояльности к существующей власти. Активная поддержка учеными правящего режима проявлялась не только в легитимизации государства и его политики, но и в подтасовке исторических фактов в пользу власти. Формальная лояльность к существующему политическому режиму часто сопровождалась осторожной его критикой.

Ключовые слова: легитимизация государства, идеология, исторические труды.

Bohdashyna O. The Historian and Power: Reflections and Warnings

The article on various examples from the life and works of famous European, Ukrainian and Russian scientists examines different attitudes of famous historians towards the ruling political regime: from its active support to formal loyalty to the current government. Active support of the regime by scientists was manifested not only in legitimizing the state and its policies, but also in known historical facts of fraud in favor of the government. Formal loyalty to the existing political regime often was accompanied by cautious criticism.

Keywords: legitimization of the state, ideology, historical works.

УДК 930(430)“17”

С. А. Ганус

ИНОЙ КАК ИНАКОВЫЙ В ПОСТРОЕНИЯХ НЕМЕЦКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XVIII в.

Статья поясняет особенности немецкой исторической мысли эпохи Просвещения в осмыслении ею категории «иного». Расширение пределов познаваемого мира в XVIII веке поставило этот вопрос на повестку дня как весьма актуальный. «Иной» представлялся как «инаковый», а не как совершенно «чужой». Не наблюдалось реакции отторжения, агрессивного непонимания и отрицания. Это выражало заметную гуманистическую составляющую немецкой просветительской историософии, стремящейся к положительному, наполненному конкретикой познанию многообразия мира, специфики индивидов и их общностей за пределами Западной Европы.

Ключевые слова: немецкая историография, Просвещение, гуманистические ценности, толерантность, образы восприятия, Восточная Европа.

Острые вызовы современности, связанные с недостаточно контролируемым вторжением инонационального/иноконфессионального, причем плохо управляемого, элемента в спокойное и пресыщенное благами цивилизации западноевропейское пространство обострило дискуссии по вопросу о допустимых пределах толерантности, которая априори считается одним из высших достижений длительной исторической эволюции, результатом усилий по гуманизации мировосприятия, и сознательного стремления к гармонизации общественных отношений, выработке механизмов защиты прав индивидов и человеческих общностей. Призывы к соблюдению непреходящей ценности толерантного отношения к иному, подобно заклинаниям жрецов экзотических культов, ежедневно звучат из уст политиков, экспертов, религиозных деятелей и представителей культуры.

Хотя одновременно наблюдается усиление позиций и влияния представителей противоположной точки зрения, которая исходит из необходимости создания достаточно эффективных преград и средств защиты от неконтролируемой миграции, угрожающей размыванием

© Ганус С. А., 2016

европейскости самой Европы, в демографическом балансе которой неуклонно возрастает абсолютное число и удельный вес выходцев из различных регионов Азии и Африки. Из 82 млн. жителей Германии 15,4 млн. являются иммигрантами или в первом поколении, или же их родители были таковыми; а это – почти 19 % населения. Обществоведы пишут и говорят о том, что эти лица являются частью германского общества. Но не следует обманываться в том, что органической интеграции не уделялось должное внимание. Многое упущено, при всем том, что много и красиво говорилось о мультикультурализме и иных приятных вещах [23]. Оперирование идеей укорененности традиции толерантности имело в условиях современных вызовов не мобилизующие, а, скорее, усыпляющие последствия. Да и какая из традиций является для Германии приоритетной и органичной: гуманистическая традиция толерантности, сформировавшаяся в эпоху Просвещения, или те традиции собственной эксклюзивности, которые зародились в эпоху романтизма и впоследствии довели себя до крайности и породили свое собственное отрицание? Представляется, что для нашей страны размышления на эти темы имеют ныне не только лишь академический интерес.

Несколько аргументов в пользу актуальности темы исследования в собственно историографическом ракурсе. Во-первых, когда заходит речь о Просвещении, то, как правило, едва ли не все его достижения и ведущие идеи согласно некоему ритуалу приписываются французским «отцам-основателям». К примеру, обосновывая предметную область нового направления обществоведения – политической антропологии, Жорж Баландье называет ее предтечей Ш.-Л. Монтескье, ибо тот «особо классифицирует подразумеваемые им общества и выделяет политические традиции, отличные от традиций Европы», «составляет опись, демонстрирующую различие человеческих обществ» [1, с. 14–15]. При этом остается открытым вопрос: почему предтечей не назвать Ж.-Ж. Руссо, или же Г. Форстера, которому состояние архаических социумов рисовалось не в воображении, а было предметом его изучения во время кругосветного путешествия в составе экспедиции Дж. Кука в 1772–1775 гг.? То есть мы стоим перед необходимостью концептуального осмысления Просвещения как важного феномена духовного бытия, рассмотрения его в динамике и всей полноте проявлений. Его обобщенная конвенционалистская модель, которая фактически является французской модификацией страдает схематизмом. Ни

космополитизм французских просветителей, ни их влияние на развитие научного и художественного творчества в разных странах не отменяет того факта, что Просвещение, как сложный комплекс принципов и идей, фигурирует в виде отдельных его национальных вариантов. Если даже французское Просвещение не составляло однородной и строго выдержанной системы представлений о мире и человеке, то тем важнее для научного изучения этого феномена является выяснение специфики его национальных модификаций: английской, американской, немецкой, украинской и других.

Во-вторых, в условиях определенной методологической растерянности постсоветских историографий, колеблющихся между эпистемами «вчерашнего завтра»[1] [3, с. 18–32] и стремлением обрести желаемую степень соотнесения с опытом мировой гуманитарной науки следует не изобретать, а принять отработанные десятилетиями «правила игры», бытующие в научном сообществе. Эти «правила» среди прочего, предполагают имплементацию определенных ценностей и подходов: деидеологизацию, причем не на словах, а на деле; сначала обращение к источнику, а потом выводы, а не наоборот; определенные нормы культуры и этики научного поиска. Тщательное изучение историографического опыта может помочь в самых разнообразных вопросах, например, в преодолении терминологической неразберихи, в частности, в использовании порожденной исторической мыслью Просвещения дефиниции «цивилизация», «поскольку забвение предыстории теории цивилизаций деформирует общую картину эволюции» этого понятия и эпистемологического подхода, смысл которого вовсе не размыт, а вполне ясен и конкретен [11, с. 63].

Не составляет сомнения, что человек получает не прямое отражение определенного явления, феномена, скажем, иного этноса в своем сознании. Он создает образ, на контуры которого влияют условия времени и среды, в которых рационально мыслящий индивид пребывает. При этом данный образ располагается в определенной системе воображаемых пространственных координат (то, что сегодня обозначается понятием «ментальная карта»). Гуманистический поворот, начавшийся в европейском сознании в ренессансную эпоху, пройдя через философско-рационалистическую инструментализацию в ходе

[1] Так остроумно назвали Г. Бордюгов и В. Бухараев фиксируемую в постсоветских историографиях тенденцию к выработке некоей усредненной нормативной истины, что ранее было свойственно «историческому материализму» (с той разницей, что ныне эта истина этноцентрична).

научной революции XVII в., нашел определенное завершение в период Просвещения. В XVIII в. в процессе «очеловечения» истории произошла логичная эпистемологическая метаморфоза. Если Возрождение создает культ исторической личности, воспевает достойных внимания современников и потомков героических персонажей, то просветители преодолевают рамки подобной традиции интереса к индивиду. По мнению И. М. Савельевой и А. В. Полетаева, историки Просвещения, исходя из того, что человек – часть природы, а культура – лишь способ адекватной реализации его природы, исключили для себя возможность разработать концепцию самого человека, ибо такая концепция предполагает изменчивость, а не постоянство человеческой природы [18, с. 125]. То есть, место «человека исторического» занял «человек вообще». С подчеркнутой категоричностью М. Фуко даже писал о том, что философские, или же этические упражнения, размышления политического характера и иные формы рефлексии в XVIII в. «не столкнулись с таким предметом, как человек... Поэтому под именем человека или человеческой природы XVIII век передал... некоторое очерченное извне, но пока еще пустое внутри пространство» [19, с. 364]. Критика чрезмерной абстрактности многих построений просветительской мысли, пожалуй, вполне понятна. Но есть ли основания по этой причине отвергать их в принципе? Именно поэтому мы стремимся разобраться, настолько ли бесплодными оказались мнения просветителей по поводу человека как монады рода людского, параметров его «естественного» состояния и исторических форм его индивидуального и общественного бытия?

Расширение пределов видимого и познаваемого мира с его неведомым ранее природным, этническим и культурно-цивилизационным многообразием, значительно ускорившееся в XVII–XVIII вв., поставило перед западноевропейскими интеллектуалами задачу обобщить весь накопленный массив информации в виде определенных классификационных систем, натурфилософских и философско-исторических построений. Хронологически непрерывный и одновременно дискретный процесс историко-логического формирования самосознания европейцев, предполагающий раздвоенность на мир «Я» и мир объективной действительности, вступил в новую фазу. На повестку дня был поставлен вопрос о выработке нового отношения человека к миру, выражаемого в рефлексии по поводу таких отношений, как «я – природа», «я – социум», «я – я»

[10, с. 54]. Ведь и вправду, по наблюдению Р. Ю. Виппера, европейское общество чувствовало себя твердо лишь на европейском клочке. Поэтому рассказы путешественников, коммерсантов, миссионеров, открывающих пути в иные земли и страны, иногда вовсе неведомые, «как бы на Луну», читались с особым интересом [4, с. 39].

Важным являлось также и то, на основе каких принципов выстраивались эти модели восприятия и понимания, классификационные схемы. Очень многое в эпоху Просвещения должно было способствовать выработке толерантного, а временами – доброжелательного и даже восхищенного (как в отношении, например, Китая, в котором, якобы, правит император-философ в окружении ученых-мандаринов) отношения к «инаковости», специфичности, отличию. Евангельская парадигма, в которой «нет эллина и нет иудея», ренессансная гуманистическая традиция, предпринимаемые еще со времен Платона попытки «утопийного» моделирования идеального и гармоничного общества и государства, осознанное стремление к непредвзятому созерцанию и рационалистической интерпретации чужого опыта, влияние космополитических идей французского Просвещения на его национальные варианты (в том числе и на немецкую просветительскую мысль) послужили той основой, на которой форматировались образы восприятия «иных» государственно-политических образований, цивилизационных, этнических сообществ и их отдельных представителей.

В эпоху Просвещения доминировало представление о том, что человечество едино, и, несмотря на видимые антропологические, языковые, этнографические, хозяйственно-бытовые и культурные различия, оно развивается согласно естественным законам в пределах как своих локальных сообществ, так и во всестороннем взаимодействии, в качестве людского рода как такового. Расцвет в Германии жанра всеобщих историй именно в XVIII в. является этому выразительным свидетельством. Кроме того, эпоха Просвещения обосновала оптимистическое представление по поводу возможности усовершенствования человека в процессе его общественного развития, исходя из веры в огромные возможности человеческого разума. Каждое новое поколение в понимании просветителей наследует сокровища мудрости от своих предков и что-то к ним добавляет. То есть, потомки неизбежно превосходит своих предков [17, с. 128]. При всех частностях, в просвещенческом общественно-историческом

мышлении доминировало представление о поступательном развитии человечества (за исключением регрессистской концепции Ж.-Ж. Руссо), главными движителями которого были факторы не потустороннего, а «очеловеченного» характера. Показателями этого развития в направлении «вперед и вверх» были прогресс разума (наук, искусств и ремесел в терминологии того времени), морали (согласно И. Канту), гуманности (по мнению И. Г. Гердера).

Переходя к конкретике изложения ряда положений немецкой просветительской мысли, мы обращаем внимание на принципиальный момент. Многочисленные германские князья (и князьки) с легкостью совмещали ставшую модой «просвещенность» с расточительностью, самодурством и жестокостью. Во имя «торжества» идей Просвещения эти правители использовали и армию, и чиновничий аппарат, и административный произвол, чем вызывали, например, среди людей искусства, устойчивую аллергию на усиленно культивируемые в Германии эстетические взгляды французских вольнодумцев [13, с. 197]. В Германии Просвещение имело ряд особенностей, что отличало его как специфическую систему принципов и ценностей от конвенциональной французской модели Просвещения. Носителем просветительских идей здесь был, прежде всего, образованный слой населения, передовое бюргерство, то есть, тогдашний «средний класс». В состав этого слоя входили также представители традиционной немецкой учености [22, s. 414]. «Прикладной» характер немецкого Просвещения был связан с задачами распространения позитивного знания, разработки норм немецкого литературного языка, изучения проблем морали, политики, юриспруденции, государствоведения [24, s. 152]. Этико-педагогическая направленность усилий немецких просветителей, как отмечал В. Дильтей, вполне закономерна. Бюргерство, лишенное в Германии возможности самовыражения в сфере социально-политической деятельности, подвизалось на поприще духовного совершенствования индивидов и общества [Цит.: 9, с. 105].

Квинтэссенцией германской просветительской историософской мысли стали «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791) И. Г. Гердера. Этот труд имеет общепризнанное значение. Идея единства людского рода в его многообразии выражена уже в эпиграфе к этой книге, в качестве которого избраны строки римского поэта-сатирика Персия: «Кем быть тебе велено Богом и занимать средь людей положенье какое. Это познай» [7, с. 5]. Очевидными для мыслителя были значительные

отличия людей и их общностей в пределах природно-климатической среды и исторических условий их бытования. Воображение человека, а конкретнее – человеческие образы восприятия и фантазии повсюду климатически и органически определены, полагал Гердер, и повсеместно традиция руководит воображением [7, с. 199–205]. Но, тем не менее, по его убеждению, «лишь Дух рода человеческого способен охватить всю его историю в целом» [7, с. 140]. Более того, «человечество – эскиз плана, столь изобилующего силами и задатками, столь многообразный набросок, а в природе все настолько зиждется на самой определенной конкретной индивидуальности, что великие и многообразные задатки человечества могут быть лишь распределены среди миллионов живущих на нашей планете людей и как-то иначе вообще не могут проявиться», – резюмирует германский мыслитель [7, с. 440]. Поэтому, «всякий народ несет на себе печать соразмерности своего, присущего только ему и несопоставимого с другими совершенства» [7, с. 440–441]. Соответственно, любая культура и, соответственно, каждый народ имеет естественное право на существование, ибо они являются даром Божьим и наделены собственной, безотносительно к иным культурам и народам самоценностью.

Аналогичных позиций придерживались и иные властители дум – крупнейшие авторитеты немецкой философии и историографии. В ранней работе «О различных человеческих расах» (1775) И. Кант, демонстрируя приверженность просвещенческому космополитизму, подчеркивал, что «люди на всем пространстве земли принадлежат к одному и тому же естественному роду... как бы они вообще сильно не отличались по своему внешнему виду» [14 с. 453]. А вот в поздней работе «Антропология с прагматической точки зрения» (1798) ученый, предлагает свое понимание дефиниции «народ», в частности трактует его как соединение многих людей той или иной местности. Народы имеют свой характер, вытекающий из врожденных качеств человека и приобретенных в процессе совместной жизни [15]. Впрочем, по мнению философа «природные задатки человека…, направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в роде» [16, с. 9]. Предлагая, таким образом, собственное понимание соотношения общего и частного, что показательно, Кант, как «ранний», так и «поздний» не сворачивает со стези гуманистической трактовки понятий, связанных с родом человеческим. А вот один из отцов-основателей норманнской теории Г. Ф. Миллер в духе XVIII в. и не без

гуманистической патетики мечтал: "Хотел бы я очень, чтобы все народы признали общее свое происхождение от одного корня [в данном контексте от Бога – *С.Г.*] и вследствие этого отложили бы всякую ненависть и вражду между собой" [2, с. 108].

Интересно также в этом смысле обратить внимание на одну из первых историко-этнологических классификаций, предложенную А. Л. Шлецером в его «Представлении всеобщей истории» (1809). Имея достаточно материала для систематизации и сопоставлений, из всех историк избрал лишь те народы, «которые в великом сообществе мира преимуществовали». Это победоносные народы – персы, татары, монголы; важные народы, украсившие мир без великих завоеваний – египтяне, финикийцы, евреи, греки. И, наконец, главные народы, соединившие оба критерия – ассирийцы, македоняне, римляне, франки, аравитяне, испанцы, британцы, россияне [20, с. 19-20]. Показательно, что определения «победоносные», «важные», «главные» аксиологически приблизительно равноценны. Шлецер не делил народы на «исторические» и «неисторические», как это позднее сделал Г. В. Ф. Гегель. Более того, историк резонно подчеркивал, что «воображение могут занимать не только «четыре монархии», выбранные может быть из тридцати других, не народ Божий, не только греки и римляне» [20, с. 27].

Нельзя не упомянуть также умозаключений известного немецкого путешественника и натуралиста Г. Форстера, состоявшего, как уже говорилось, в числе участников второй кругосветной экспедиции Дж. Кука, а позже приглашенного польской Эдукационной комиссией преподавать в университете в Вильно (1784–1787). С огромной симпатией и сочувствием Форстер пишет о народах посещенных им земель и островов. Он естественно, не мог не попасть априори под влияние весьма распространенных в XVII–XVIII вв. представлений о преисполненной идиллической простоты жизни добрых и благородных дикарей, что служило наглядной иллюстрацией к утверждениям о многих преимуществах «естественного» состояния общества. Во всех случаях ученый стремится выяснить содержание и истинный смысл особенностей бытия и представлений туземцев Океании. Для него очевидно, что пасторальной идиллии нет и на экзотических архипелагах и малоисследованных землях, где также присутствуют нужда, насилие, зависть, угнетение и иные личностный и общественные пороки. Вместе с тем, ученый незыблемо верил в преимущества «цивилизованного устройства», осуждая при этом его недостатки, отчетливо

просматривавшиеся в сопоставлении с «естественными» законами развития и «священными правами человека», которые он смог видеть в жизни островных сообществ во время своего научного путешествия. Подобные мысли встречаются в его описании «Путешествия вокруг света» во многих местах.

Пребывая в пределах Речи Посполитой, Форстер ужаснулся от картин бедственного хозяйственного положения страны, варварской роскоши ее аристократии и рабского состояния народа. Используя свой традиционный маркер цивилизационной зрелости, Форстер констатировал измеряемое целыми столетиями отставание Польши от других стран Европы. По его мнению, «поляки одни довели невежество и варварство до такой степени, что почти уничтожили последний след умственной силы» [цит.: 5, с. 491]. Однако упражнений на предмет чьих-либо преимуществ или ущербности ученый не предпринимал, излагая свои впечатления во время кругосветного путешествия, или же от пребывания в Восточной Европе. А ведь многим, например, автору «Приключений барона Мюнхгаузена» Р. Э. Распэ, Россия, в частности, рисовалась страной, где по улицам бродят медведи, а снег засыпает городки и села до самых верхушек колоколен. Впрочем, и в этом случае мы имеем дело, скорее, не со злобной предвзятостью, а с неким юмористическим подтруниванием и желанием сделать свое сочинение занимательным.

Славянская стихия как иной полюс мира, как этногеографическая среда и культурно-цивилизационная реальность, если применить аксиологическое измерение историографического анализа, представляла собой индикатор, который определял ценностные ориентиры и качество научного творчества в Германии в разные периоды ее истории[1]. В свою очередь, учитывая универсальную широту немецкой гуманитаристики в хронологическом и географическом разрезах, то история славистики, историография отечественной истории, в частности, были бы фрагментарными без учета ее достижений.

Украина, будучи частью восточнославянского мира, по обыкновению соотносится с Восточной Европой. По убеждению Ларри Вульфа, Восточная Европа была порождена интеллектуальным изобретательством периода Просвещения, причем, она была не антиподом цивилизации, не находилась в самой бездне варварства, но скорее помещалась на шкале сравнительной развитости, которая

[1] Более подробно об этом изложено в нашей публикации в ежегоднике «Проблеми слов'янознавства» (2003, Вип. 53) [6].

измеряла дистанцию между варварством и цивилизацией. Две Европы, Восточная и Западная предстали как две смежные, противоположные и взаимодополняющие концепции, невозможные друг без друга [5, с. 35–37]. Имели место многочисленные путешествия, во время которых делались открытия и производились наблюдения. Не следует недооценивать контакты посредством торговли и войн, которые подпитывали интерес к экзотическим и малоизученным краям. К таковым относилась и Украина в рассматриваемое время.

Перейдя к нескольким примерам жанров и сюжетов просвещенческой литературы на украинскую тематику в немецком авторстве начнем с «Тщательного описания состояния земель и народов между реками Днепром и Доном», принадлежащее Готлибу Фридриху Вильгельму Юнкеру (1703–1746). Указанное описание Юнкер подготовил по обязанностям службы во время пребывания при главной квартире фельдмаршала Миниха в годы российско-турецкой войны 1735–1739 гг. в качестве историографа «для содержания журнала». Это произведение представляет собой характерный образец статистико-историко-географической литературы времен Просвещения, соответствующее специфически немецкому жанру «Landeskunde» и упорядоченное по определенному алгоритму изложения. Поскольку составленное описание Юнкер назвал лишь первым главным разделом своей работы, то, очевидно, предполагалось также повести речь об украинских землях, которые находились под польским и татарским владычеством [12, с. 201–207]. Автором была проявлена настолько заметная компетентность в вопросе о наличии в крае полезных ископаемых и способах их разработки, что вскоре после составления своего отчета он был пожалован именным указом императрицы Анны Иоанновны от 30 июля 1737 г. «надворным камерным советником и надзирателем украинских бахмуцких и торских соляных заводов» [21].

Немецкий врач и естествоиспытатель Самуил Готлиб Гмелин в своем 4-томном «Путешествии по России» (1770–1784) отобразил результаты исследований Степной Украины, прибыв туда в самом начале своего путешествия на Кавказ и в Каспийский регион весной 1768 г. Он писал об украинцах, что они «очень внимательны, характером веселы, приветливы, привержены к музыке, а еще больше к питию... Любят и следят за чистотой, для того и в простейших домах у них значительно лучше, чем в богатейших дворах у россиян. Кушанья их также деликатны»... Да и вообще, «что вольные жители щастливые

суть люди, и живут в веселии и спокойствии…». Останавливаясь на внешнем виде и убранстве украинцев, Гмелин подробно характеризует их: «Волосы на голове у них вокруг обриты. Нижнюю одежду носят хлопчатобумажную, шелковую и суконную, которую крепко подпоясывают шелковыми поясами. Верхняя одежда длинна до пят и бывает всегда суконной. Они не носят ничего на шее. Шляпы у них округлые... Женщины также в добрых суконных кунтушах». Отдельно Гмелин останавливается на интересующем его вопросе, сообщая, что украинцы – специалисты в производстве селитры. Как врач, путешественник он испытывает удивление, что в Украине уже с давних времен знали различные химические лекарства, а также весьма распространенным было оспопрививание, только-только начавшее практиковаться в Западной Европе! Кстати, в апреле 1768 г. лишь приехав в район Дона, естествоиспытатель сразу повел речь об Украине как таковой и никаких сомнений в этногеографической идентификации региона у него не возникало. Поэтому он сразу счел нужным отметить, что «о плодородии Украйны не токмо в России, но и в других землях довольно ведают» [8, с. 130–132, 138–142]. Этот пассаж обычно служил маркером-определителем хозяйственного процветания и достатка.

Подытоживая, отметим, что апории «свой-иной», «цивилизация и варварство», представляя собой своего рода виртуальные определители ценностных ориентаций, в публицистическом, литературном и научном творчестве создают интеллектуальное напряжение, непосредственно влияющее, образно говоря, на кривизну зеркала, в котором отражены образы иных народов с их ментальностью, историей и культурой. В эпоху Просвещения в Германии с ее образцовой организацией университетского преподавания и научных исследований, в условиях существенного расширения рамок познаваемого мира и неизбежно возникающей при этом потребности моделирования образа восприятия «иного», это задание выполнялось достаточно взвешенно, толерантно и разумно. Германские философы, историки, публицисты вполне четко осознавали ограниченность рационалистических абстракций для познания многообразного мира, предлагая свои модели осмысления соотношений общее-особенное-единичное, человечество и составляющие его народы, общество и индивид. Очевидная «инаковость» в подавляющем большинстве случаев не вызывала реакции отторжения, агрессивного непонимания и невосприятия. «Иной» представлялся именно как «инаковый», а не как совершенно

«чужой» и представляющий опасность, от которой следовало бы немедленно избавиться. Это выражало заметную гуманистическую составляющую немецкой просветительской историософии, стремящейся к положительному, наполненному конкретикой познанию мира общества и человека.

1. *Баландье Ж.* Политическая антропология / Ж. Баландье ; пер с франц. Е. А. Самарской. – М., 2001.
2. *Белковец Л. П.* Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в. Г. Ф. Миллер и А. Ф. Бюшинг / Л. П. Белковец. – Томск, 1988.
3. *Бордюгов Г.* Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишуться теперь / Г. Бордюгов, В. Бухараев. – М., 2011.
4. *Виппер Р.* Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на западе/ Р. Виппер. – М., 2007.
5. *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Л. Вульф. – М., 2003.
6. *Ганус С.* Німецька славістика доби Просвітництва / С. Ганус // Проблеми слов'янознавства. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 37–54. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://old.lnu.edu.ua/slavistyka/n53/04.pdf
7. *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер ; пер. и прим. А. В. Михайлова. – М., 1977.
8. *Гмелин С. Г.* Путешествие по России для исследования трех царств естества: в 3-х ч. Ч. I : Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска, главного города донских козаков в 1768 и 1769 годах / С. Г. Гмелин ; пер. с нем. – 2-е изд. – СПб.,1806.
9. *Гурьева И. Ю.* Некоторые аспекты дильтеевской концепции немецкого Просвещения / И. Ю. Гурьева // Вопросы историографии всеобщей истории : сб. статей под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. – Томск, 1986.
10. *Денисенко В.* Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях нового часу європейської історії / В. Денисенко. – Львів, 1997.
11. *Ионов И. Н.* Рождение теории локальных цивилизаций и смена научных парадигм / И. Н. Ионов // Образы историографии. – М., 2001.

12. *Исаевич Я. Д.* Г. Ф. В. Юнкер и его описание Украины / Я. Д. Исаевич // Славяно-германские культурные связи и отношения. – М., 1969.
13. Исторический лексикон. XVIII век. Энциклопедический справочник. – М., 1997.
14. *Кант И.* Антропология с прагматической точки зрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bim-bad.ru/docs/kant_anthoropology.pdf
15. *Кант И.* О различных человеческих расах // Кант И. Сочинения в 6 т. – М., 1963. – Т. 2.
16. *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения в 6 т. – М., 1966. – Т. 6.
17. *Мизес Л.* фон. Теория и история. Интерпретация социально-экономической эволюции /Л. Мизес ; Пер. с англ. А. Г. Грязновой. – М., 2001.
18. *Савельева И. М.* Теория исторического знания / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – СПб., 2008.
19. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко ; пер. с франц. – СПб., 1994.
20. *Шлецер А. Л.* Представление всеобщей истории / А. Л. Шлецер ; пер. с нем. – СПб., 1809.
21. *Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм* // Большая биографическая энциклопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/133226/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
22. *Dann O.* Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Geschichte und historische Forschung in den zeitgenössischen Zeitschriften // Historische Forschung im 18. Jahrhundert. Organisation. Zielsetzung. Ergebnisse. (12 Deutsch-Französisches Historikerkolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris) / hrsg. von Karl Hammer und Jürgen Voss. – Bonn, 1976.
23. *Laschet Armin.* Toleranz und Multikulturalismus / Politische Kultur in Deutschland und Italien // Konrad Adenauer Stiftung. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kas.de/wf/de/71.7660/
24. *Schilfert G.* Deutschland von 1648 bis 1789 (Vom Westfälischen Frieden bis zum Ausbruch der Französischen Revolution. – Berlin, 1980.

Ганус С. О. Інший як інакший у побудовах німецької просвітницької історичної думки XVIII ст.

Стаття пояснює особливості німецької історичної думки епохи Просвітництва в осмисленні нею категорії «іншого». Розширення меж пізнаваного світу у XVIII ст. ставило це питання на порядок денний як вельми актуальне. «Інший» уявлявся як «інакший», а не як цілковито «чужий». Не спостерігалося реакції відторгнення, агресивного нерозуміння і заперечення. Це виражало помітну гуманістичну складову німецької просвітницької історіософії, прагнення до позитивного, наповненого конкретикою пізнання різноманіття світу, специфіки індивідів та їх спільнот за межами Західної Європи.

Ключові слова: німецька історіографія, європейське Просвітництво, гуманістичні цінності, толерантність, образи сприйняття, Східна Європа.

Hanus S. O. The Other as Different in the Constructions of German Enlightenment Historical thought of the 18th Century

The article explains the peculiarities of German historical thought of the Enlightenment era in understanding its category of "the other". The extension of the limits of the knowable world in the 18th raised this issue to the top of the scholarly agenda. "The other" was seen as "otherness", and not as a completely "alient", was observed rejection, aggressive, misunderstanding and denial. It expressed a notable humanist component of the Enlightenment German philosophy of history, striving for positive, filled with specific knowledge of the diversity of the world and individuals and communities outside Western Europe.

Keywords: German historiography, Enlightenment, humanistic values, tolerance, images of perception, Eastern Europe.

УДК 930(470+571)"17/19":271.222(470+571)–86"16"

П. В. Єремєєв

КОНСТРУЮВАННЯ МЕЖ СТАРООБРЯДНИЦТВА В РОСІЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.

Стаття присвячена процесу конструювання меж старообрядництва в російській науковій літературі та публіцистиці XVIII – початку XX ст. Показано, що відсутність внутрішньої єдності старообрядництва, а також брак об'єктивних критеріїв визначення приналежності певної групи віруючих до «старої віри», створювали можливості для дуже різного опису меж такого явища, як старообрядництво. Суспільно-політична та конфесійна ангажованість російських авторів XVIII – початку XX ст. грала вирішальну роль при розв'язанні ними даного питання. Включаючи до обсягу поняття «старообрядництво» одні релігійні групи та виключаючи з нього інші, дослідники різних суспільно-політичних та конфесійних поглядів свідомо чи несвідомо намагалися представити старообрядництво у тому світлі, яке було вигідне для захисту їхніх переконань.

Ключові слова: старообрядництво, сектантство, єдиновірництво, наукова література, публіцистика, поняття, межі.

Однією з найскладніших проблем, що постають при дослідженні старообрядництва, є визначення меж цього явища. З самого початку свого існування старообрядництво не було єдиним, причому старообрядці різних напрямів (так званих «толків» та «згод») заперечували православність один одного, вважаючи істиною Церквою лише власну згоду [21]. При цьому, як зазначає Є. І. Арінін, відсутні об'єктивні «індикатори», «атрибути старообрядництва». Зокрема, окремі елементи дониконівської обрядовості не можуть вважатися такими, адже вони присутні в різних маргінальних общинах, які належать до «пануючої церкви» [2, с. 141]. Немає чітких критеріїв, за якими можна визначати приналежність людини чи певної групи віруючих до старообрядництва. При цьому, теоретично сформульоване старообрядницькою елітою світосприйняття, побутові уявлення, норми та практики старовірів, суспільні зв'язки різних рівнів можуть вступати

© Єремєєв П. В., 2016

у протиріччя. Все це дає підстави для дуже різних визначень меж того конгломерату різноманітних релігійних напрямів, котрі традиційно об'єднують поняттям «старообрядництво».

У даному дослідженні здійснена спроба з'ясувати, яким чином російські науковці та публіцисти XVIII – початку XX ст. конструювали межі такого складного суспільно-релігійного феномену, як «старообрядництво», в якій мірі внутрішня логіка та зміни наукових ідей та методів, суспільна та конфесійна ангажованість авторів впливали на вирішення ними даної проблеми та як взаємодіяли ці фактори?

В узагальнюючих працях з історіографії старообрядництва традиційним став поділ проведених у Російській імперії досліджень «старої віри» на відомчі, місіонерські, демократичні та старообрядницькі [3; 11; 13; 20]. В основі даної класифікації – відмінності в суспільно-політичних і релігійних поглядах авторів, що мали істотний вплив на зміст їхніх концепцій.

Першими дослідниками «старої віри» стали представники РПЦ, які вивчали старообрядництво в контексті критики «старої віри» та боротьби із нею. Хоча полемічні праці антистарообрядницького спрямування розповсюдилися вже у другій половині XVII ст. [4], формування церковної історіографії старообрядництва як дослідницького напряму традиційно пов'язують із появою в 1709 р. праці митр. Дмитра Ростовського «Розыск о раскольнической брынской вере» [20]. Серед іншого, Дмитро Ростовський спробував висвітлити внутрішню структуру релігійної опозиції в Росії [8, с. 588–610]. У подальшому антистарообрядницькі полемісти (прот. Андрій Журавльов, митр. Макарій Булгаков та інші) уточнювали та доповнювати відомості щодо розподілу старообрядництва та толки та згоди [1, с. 1–73; 15, с. 260–358].

Слід зазначити, що помічена сучасними дослідниками історіографії старообрядництва конфесійна ангажованість представників РПЦ [13, с. 19–24] мала певний вплив і на висвітлення в їхніх працях внутрішньої структури старообрядництва. У роботах православних полемістів робився особливий акцент на багаточисельності та роздробленості старообрядницьких згод. Наприклад, у журналі Санкт-Петербурзької духовної академії «Христианское чтение» при характеристиці життя у стародубських старообрядницьких слободах зазначалося: «Среди лужковцев [один з напрямів старообрядництва – П. Є.] имеются «пунные» раскольники, получившие своё название от сарая, куда

в былые времена сходились они для молитвы; есть и зелёные, посещающие молельню, на которой установлена зелёная крыша; живут раскольники так называемой «старой моленной» и множество других... Одна секта гнушается другой сектою, не обществует с ней ни в чём, не ест и не пьёт вместе, не сходится на общей молитве; каждый толк, таким образом, ненавидит и презирает друг друга, и каждый называет другого не иначе, как вероотступником» [7, с. 172]. Можна погодитися із сучасним дослідником старообрядництва М. О. Шаховим, що подібна акцентуація була полемічним прийомом [21]. Вона мала показати старообрядництво як «царство, що розділилося саме в собі» (Мф., 12:25), продемонструвати, що старовіри відпали від благодаті Святого Духа.

При цьому, як правило, у церковній історіографії не проводилося чіткої межі між старообрядництвом та іншими напрямками російської релігійної опозиції. Це також мало полемічне значення. Адже такі сектантські напрямки, як хлистівство, скопецтво, були настільки віддалені від православного вчення, що їхня інтелектуальна критика з позицій східної ортодоксії була досить простою. Відповідно, «прив'язуючи» старообрядництво до інших напрямків сектантства (єретичність яких була очевидною), представники РПЦ отримували можливість для додаткової критики «старої віри».

У середині XIX ст. починає розвиватися так званий «відомчий» напрямок вивчення «старої віри» – з'являються наукові праці, створені чиновниками, які за службовим обов'язком займалися боротьбою із релігійним дисидентством.

В 1853 р. чиновник з особливих доручень при Міністерстві внутрішніх справ І. П. Ліпранді склав «Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в политическом их значении; с некоторыми по сему предмету примечаниями». Автор класифікував розкольницькі угруповання відповідно до їхньої політичної небезпеки [14, с. 99–100]. Він відмежовував старообрядців від представників раціоналістичного та містичного сектантства [14, с. 139]. При цьому, вказуючи на наявність великої кількості напрямів старообрядництва, І. П. Ліпранді, на відміну від антистарообрядницьких полемістів XVIII–XIX ст., не абсолютизував їхньої розмежованості. Зокрема, безпопівщину він характеризував як «конфедеративно-релігійну республіку», вказував на вплив, який мають федосіївці на деякі більш дрібні напрями старообрядництва [14, с. 106–107]. Можливо, тут позначилася

характерна для чиновницького дискурсу середини 1850-х рр. переконаність у політичній неблагонадійності релігійних інакодумців: суттєвою загрозою для державного ладу могла бути лише сконсолідована релігійна опозиція, а не сукупність маргінальних общин.

Державний чиновник П. І. Мельников (більш відомий як письменник Андрій Печерський) у роботі «Письма о расколе» (1862 р.) піддав критиці розповсюджене в працях антистарообрядницьких полемістів перебільшення різнорідності та розпорошеності старообрядництва [16, с. 213]. При цьому, на відміну від представників церковної історіографії, П. І. Мельников чітко розмежовував старообрядництво та сектантство, пишучи з цього приводу: «Сектаторы – не раскольники и не имеют ничего общего с раскольниками. Только одно невежество наше ставит их в одну группу с раскольниками. В простом народе, который собственные дела если не постигает ясно, то всегда чует верно, ни духоборцы, ни молоканы, ни хлысты, ни скопцы и им подобные не считаются и не называются «раскольниками». Эти темные, по выражению самого народа, секты, о которых многое еще не разъяснено, существуют у нас совершенными особняками; не только православные, но и самые раскольники дичатся последователей этих сект, питают к ним какое-то отвращение и даже суеверный страх, весьма близкий к страху черта или ведьмы, считают их какими-то загадочными кудесниками, плюют и крестятся при одном упоминании об них» [16, с. 242–243].

Важко сказати, чим була зумовлена позиція П. І. Мельникова. Можливо, його акцент на розмежованості старообрядництва та староросійського сектантства пов'язаний із досить глибоким знайомством зі старообрядницьким віровченням. На рівні теоретично сформульованого старообрядницькою елітою віровчення, більшість напрямків старообрядництво дійсно досить далеко відстоять від староросійського сектантства. Так само, критика П. І. Мельниковим перебільшених уявлень місіонерів РПЦ про ступень розмежованості старообрядництва почасти була справедливою. Проте варто враховувати, що певні «точки перетину» між сектантством та старообрядництвом мали місце, особливо, на рівні побутового світосприйняття (на це, зокрема, вказують сучасні дослідники О. О. Панченко, О. Еткінд) [18, с. 131, 243; 23, с. 33]. Що ж стосується внутрішньої диференціації старообрядництва, на низовому рівні розподіли всередині вже існуючих напрямів «старої віри» часто стосувалися найдрібніших з точки зору стороннього спостерігача елементів культу. Утім,

П. І. Мельников робить акцент на інших аспектах старообрядництва. Можливо, це було простою реакцією на місіонерський дискурс, в якому межа старообрядництва та староросійського сектантстства дійсно була надто розпливчастою, а рівень внутрішньої диференціації «старої віри» перебільшувався. Проте слід зазначити, що, як буде показано нижче, позицію з даного питання, дуже схожу на запропоновану П. І. Мельниковим, демонстрували старообрядницькі апологети: вони також намагалися різко відмежуватися від сектантства, і як правило, виступали проти абсолютизації відцентрових тенденцій у «старій вірі». Можна припустити, що позиція П. І. Мельникова, в якійсь мірі, була зумовлена певними симпатіями до старообрядництва, що з'явилася у його пізніх роботах (на що звертали увагу вже місіонери другої половини XIX ст., і що підтверджує, щоправда, з іншими конотаціями, сучасний дослідник В. Боченков) [5, с. 282–285; 17, с. 489–503].

У другій половині XIX ст. починається розвиток так званого «демократичного» напрямку дослідження «старої віри». Його витоки, як правило, бачать у присвячених старообрядництву роботах Афанасія Щапова. Їхня головна новизна полягала в утвердженні погляду на старообрядництво як на вираз народного протесту проти посилення державної влади, централізації, соціально економічних утисків, кріпацтва тощо [22, с. I-II] (хоча, як доводить О. А. Вішлєнкова, зародки деяких із цих ідей містяться у працях чиновників МВС) [6]. Теза про церковно-громадянський демократизм розколу та його соціальну сутність вплинула і на розуміння А. П. Щаповим характеру внутрішнього розподілу старообрядництва на окремі напрями. Автор зазначав: «Общность главного первоначального стремления раскола – церковно-гражданского демократизма, была существенною причиною живучести и постоянного развития раскола в одну упорную русскую демократически-старообрядческую общину» [22, с. 264]. А. П. Щапов наводив приклади взаємодії між різними старообрядницькими згодами, пояснюючи це спільною для всіх старообрядницьких толків неприязню до влади та демократичним духом [22, с. 287–289].

На межі XIX–XX ст. історію та сучасний стан релігійного дисидентства активно вивчав революціонер-народник О. С. Пругавін. У роботі «Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства» дослідник вказував на поступове посилення раціоналістичних тенденцій у безпопівстві [19, с. 21]. При цьому, акцент на цих дійсно помітних у безпопівстві тенденціях грав для

О. С. Пругавіна важливу пропагандистську роль. Народники плекали надії долучити релігійних дисидентів Росії до революційної боротьби, бачили в них вираз народного протесту проти самодержавства [23]. Вказуючи на поширення раціоналізму серед безпопівців, О. С. Пругавін таким чином показував їх як групу, що поступово за своїми ідеями наближається до російських революціонерів.

Проблема структури та меж старообрядницької спільноти підіймалася також в роботах старообрядницьких авторів початку XX ст. Після указу про віротерпимість 1905 р. серед представників старообрядницької інтелігенції посилюється відчуття своєї історичної єдності. І хоча консервативні кола у старообрядницьких згодах протистояли цьому процесу, ліберальна частина старообрядницьких авторів у цей час перейшла від «згодоцентризму» до «старообрядоцентризму», описуючи старообрядництво як єдине явище [11]. Так, старообрядець А. Т. Кузнєцов у 1912 р. писав: «Старообрядцам всех согласий пора бы бросить вековую борьбу, каковая ведётся и поныне, протянуть один другому руку помощи и обоюдно разобраться со всеми вопросами, разъединяющими нас» [12, с. 89].

Ідеї єдності старообрядництва простежуються і в працях старообрядницького полеміста І. А. Кирилова. Зокрема, у своїй брошурі «Статистика старообрядництва» (1913 р.) він пише: «старообрядчество [саме старообрядництво, а не тільки Білокриницька згода, до якої належав автор – П. Є.] на наших глазах превращается в правильно организованную религиозную корпорацию» [10, с. 25]. Ці ж ідеї І. А. Кирилов висловлював і пізніше. У 1918 р. у статті, надрукованій у старообрядницькому журналі «Голос Церкви», він стверджував: «При всей глубине своих догматических разномыслий, о которых мы здесь говорить не будем, старообрядчество едино в своих житейских выводах, в своей повседневной жизни, по отношению к внешней жизни, получившей явное языческое направление, все старообрядческие согласия являются целым, инородным телом; пред всеми старообрядческими согласиями переживаемое нами время ставит однородные задачи, представляет одни и те же соблазны и преткновения» [9, с. 54–66].

Одночасно, поширюючи свої симпатії на все старовір'я, І. А. Кирилов прагнув чітко встановити його межі. Він різко виступив проти включення єдиновірців у поняття «старообрядництво», пишучи з цього приводу: «Единоверие – это церковь, официально зависимая от

господствующей, но содержащая древние обряды; но следует отметить, что огромная масса крестьянства, особенно в поволжских губерниях, принадлежа к официальной церкви, держатся старого обряда, и таким образом граница между единоверием и официальным православием настолько извилиста, что её лучше мыслить в виде постепенно переходящего оттенка; и если причислить единоверие, само по себе, по паспортной статистике, весьма малочисленное, к староверию, то получится слияние, после которого будет совершенно невозможно установить границы старообрядчества» [10, с. 5].

На нашу думку, цей висновок є полемічно загостреним. Безумовно, є вагомі підстави говорити про розмитість меж єдиновір'я та новообрядництва, але на рівні повсякденних практик не менш розмитими були і кордони між єдиновірством та релігійними групами, які І. А. Кирилов відносив до старообрядництва. Вказуючи на взаємопроникнення «никоніанства» та єдиновірництва, старообрядницький публіцист тим самим таврував останнє, адже новообрядництво, з точки зору старовіра, було єрессю. Так само, автор, слідом за П. І. Мельниковим, різко розмежовував старообрядництво та староруське сектантство, вказуючи: «Староверы и сектанты – два совершенно изолированных друг от друга мира, которые находятся на несравненно большем друг от друга отдалении, чем староверие и официальная в России церковь» [10, с. 4–5]. Очевидно, що поширюючи свої симпатії на все старовір'я, І. А. Кирилов, як представник одного з найбільш поміркованих його напрямків (Білокриницької згоди), прагнув відмежуватися від тих релігійних груп, які по своїй догматиці відстояли від попівщини значно далі, ніж РПЦ.

Таким чином, проблема внутрішніх та зовнішніх меж старообрядництва неодноразово підіймалася у дослідженнях старообрядництва XVIII – початку XX ст. При цьому, варіанти її вирішення різними авторами суттєво відрізнялися. Великий вплив на дослідників старообрядництва мала їхня суспільно-політична та конфесійна позиція. Акцентуючи увагу на розпорошеності або єдності старообрядництва (а в емпіричному матеріалі можна було знайти свідчення і того, й іншого), символічно «зв'язуючи» або розділяючи старобрядництво з тими чи іншими релігійними групами, дослідники, що дотримувались різних світоглядних позицій, свідомо чи несвідомо намагалися представити старообрядництво у тому світлі, яке було вигідне для захисту їхніх переконань.

1. *Андрей (Журавлёв), прот.* Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах : в 4 ч. / прот. Андрей (Журавлёв). – СПб., 1855. – Ч. 2.
2. *Аринин Е. И.* Религиоведческая методология перед вызовом старообрядческой идентичности / Е. И. Аринин // «А мне глаголати не леностно…»: раскол и старообрядчество в современной рефлексии : сборник научных трудов / сост. и науч. ред. И. А. Едошина. – Кострома, 2012. – С. 141–146.
3. *Архипова Е. А.* Экономический социум старообрядцев в дискурсах второй половины XIX – начала XX в. / Е. А. Архипова // Проблемы российской историографии середины XIX – начала XXI в. : сб. труд. молодых ученых. – М ; СПб., 2012. – С. 7–76.
4. Белянкин Ю. С. Церковь и государство в полемике со старообрядцами во второй половине XVII в. (на примере деятельности Московского Печатного двора) : автореф. дис… канд. ист. наук / Ю. С. Белянкин. – М., 2012.
5. *Боченков В. В.* П. И. Мельников (Андрей Печерский): Мировозрение, творчество, старообрядчество / В. В. Боченков. – Ржев, 2008.
6. *Вишленкова Е. А.* Проблема церковного раскола в трудах А. П. Щапова : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Казань, 1991.
7. Главнейшие центры современного раскола // Христианское чтение. – 1890. Ч. 1. – С. 159–173.
8. *Димитрий Ростовский (Туптало), митр.* Розыск о раскольнической брынской вере / митр Дмитрий Ростовский. – 5-е изд. – М., 1855.
9. *Кириллов И. А.* Старообрядчество и современные старообрядцы / И. А. Кириллов // Голос Церкви. – 1918. – № 2. – С. 54–66.
10. *Кириллов И. А.* Статистика старообрядчества / И. А. Кириллов. – М., 1913.
11. *Костров А. В.* Развитие концепции старообрядчества в официально-церковном и старообрядческом направлениях отечественной историографии во второй половины XIX – начала XX вв. : автореф. дис… канд. ист. наук / А. В. Костров. – Иркутск, 2004.
12. *Кузнецов А. Т.* Мои впечатления от Единоверческого Съезда в Санкт-Петербурге / А. Т. Кузнецов // Златоструй: Старообрядческий ежемесячный иллюстрированный журнал духовно-поучительного и просветительного чтения. – 1912. – № 7. – С. 86–89.

13. *Кузоро К. А.* Церковная историография старообрядчества: возникновение и эволюция (вторая половина XVII – начало XX вв.) : автореф. дис… канд. ист. наук / К. А. Кузоро. – Томск, 2009.
14. *Липранди И. П.* Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в политическом их значении; с некоторыми по сему предмету примечаниями / И. П. Липранди // Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В. Кельсиевыв. – Лондон, 1861. – Вып. 2. – С. 93–169.
15. *Макарий (Булгаков), митр.* История русского раскола, известного под именем старообрядчества / митр. Макарий (Булгаков). – 3-е изд. – СПб., 1889.
16. *Мельников П. И.* Письма о расколе / П. И. Мельников // Собр. соч. – М., 1963. – Т. 6. – С. 193–252.
17. Мнение покойного Платона, архиепископа Костромского, о предложениях Комиссии для всестороннего обсуждения и разработки Высочайше утверждённых 16 августа 1884 года предначертаний Особого временного комитета по делам о раскольниках // Странник. – 1894. – Февраль. – С. 489–503.
18. *Панченко А. А.* Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект / А. А. Панченко. – 2-е изд. – М., 2004.
19. *Пругавин А. С.* Раскол внизу и раскол вверху: Очерки современного сектантства / А. С. Пругавин. – СПб., 1882.
20. *Пушкарев С. Г.* Историография старообрядчества / С. Г. Пушкарев // Журнал Московской Патриархии. – 1998. № 5-7 [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://starajavera.narod.ru (дата звернення – 10.11.2014).
21. *Шахов М. О.* Философские аспекты староверия / М. О. Шахов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://starajavera.narod.ru (дата звернення – 07.08.2009).
22. *Щапов А. П.* Русский раскол старообрядчества / А. П. Щапов. – Казань, 1859.
23. *Эткинд А.* Хлыст (Секты, литература и революциия) / А. Эткинд. – М., 1998.

Еремеев П. Конструирование границ старообрядчества в российской научной литературе и публицистике XVIII – начала XX вв.

Статья посвящена процессу конструирования границ старообрядчества в российской научной литературе и публицистике XVIII – начала XX вв. Показано, что отсутствие внутреннего единства старообрядчества, а также нехватка объективных критериев определения принадлежности определённой группы верующих к «старой вере», создавали возможность для очень разного описания границ такого явления, как старообрядчество. Общественно-политическая и конфессиональная ангажированность российских авторов XVIII – начала XX вв. играла решающую роль при рассмотрении ими данного вопроса. Включая в понятие «старообрядчество» одни религиозные группы и не включая другие, исследователи различных общественно-политических и конфессиональных взглядов сознательно или несознательно стремились представить старообрядчество в том виде, который был выгоден для защиты их убеждений.

Ключевые слова: старообрядчество, сектантство, единоверие, научная литература, публицистика, понятие, границы.

Yeremieiev Pavlo. The Construction of Old Belief's Borders in the Russian Scientific Literature and Publicism of the 18th – Early 20th Century

The article is devoted to the process of the construction of Old Belief's borders in the Russian scientific literature and publicism of the 18th – early 20th century. It is shown that the absence of the Old Belief's unity and the lack of the objective criterions of some religion group's belonging to the Old Belief determined the opportunities for the very different borders definition of the Old Belief. Social-political and confessional involvement of Russian authors of the 18th – early 20th century was crucial to their dealing with this problem. Counting or discounting some religion groups in the denotation "Old Belief" they consciously or unconsciously tried to show the Old Belief to advantage for their convictions' apology.

Keywords: Old Belief, sectarianizm, Edinoverie, scientific literature, publicism, denotation, borders.

УДК 94(470+571)

А. Д. Каплин, И. М. Харченко

СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ ВО ВЗАИМНЫХ ОЦЕНКАХ 1850-х гг.

В статье исследуется один из ключевых эпизодов во взаимной оценке исторических взглядов западников и славянофилов во второй половине 1850-х годов, а именно: после выхода в свет VI тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (1856 г.). Учитывая, что о знаменитом историке и его наследии сказано за более чем полтора столетия немало (хотя многое из этого требует переосмысления), более подробно речь идёт о суждениях его оппонентов.

Ключевые слова: С. М. Соловьев, «государственная школа», А. С. Хомяков, славянофилы, «антиисторическое направление», история России.

Предлагаемая к рассмотрению тема заслуживает специального монографического исследования. В этом контексте никак нельзя не обратить внимания на суть непростых отношений самого крупного историка «государственной школы» С. М. Соловьева (1820–1879) и главы «православно-русского» («славянофильского») направления А. С. Хомякова.

Тема эта столь сложна, затрагивает такой широкий круг религиозных, философских, исторических, нравственных вопросов, требующих тактичного и неспешного размышления, что никак не может вместиться в пределы одной статьи, а потому мы вынуждены ограничиться лишь одним важным эпизодом, по мере необходимости выходя за установленные рамки. Речь пойдет о взаимных оценках, высказанных во второй половине 1850-х годов, а именно после выхода в свет VI тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (1856 г.) и его статьи «Шлецер и антиисторическое направление» (1857 г.)

Немало читателей (в том числе и историков) до сих пор убеждено, что написанное С. М. Соловьевым – это авторитетное слово выдаю-

© Каплин А. Д., Харченко И. М., 2016

щегося профессионала, многое же, что делалось на поприще истории славянофилами, – дилетантизм. На самом деле тот, кто имеет хотя бы некоторое представление о наследии А. С. Хомякова, мог убедиться, сколь много места он отводил уяснению сущности науки вообще, исторической в частности, и сколь велик его вклад в уяснение начал, путей исторического развития.

И, пожалуй, пора признать, что критерием здесь не может служить факт: занимаешь ли ты кафедру в университете (С. М. Соловьёв был ещё с 1855 г. и деканом историко-филологического факультета Московского университета, а с 1871 г. и ректором университета) или пишешь (порой) свои труды на клочках бумаги на почтовых станциях (как А. С. Хомяков); издаешь ли каждый год по увесистому тому или более двадцати лет составляешь свои записки, совершенно не заботясь об их публикации. Так в чем же тогда дело, если не в этом?

Учитывая, что о С. М. Соловьеве, его наследии сказано за более чем полтора столетия немало (хотя многое из этого требует переосмысления), мы более подробно остановимся на суждениях противной стороны. Причем ограничимся в основном лишь тремя небольшими заметками А. С. Хомякова, на которые до сих пор обращалось явно недостаточное внимание: «Замечания на статью г. Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление»; «О статье Чичерина в Русском Вестнике»; «Заметка по поводу статьи г. Соловьева о Риле».

Причина появления «Замечаний...» такова. К. С. Аксаков напечатал в четвёртом номере за 1856 г. «Русской Беседы» подробный и, по мнению А. С. Хомякова, «вежливый, беспристрастный и очень дельный разбор VI тома «Истории...» С. М. Соловьева. Но вместо ожидаемого серьезного возражения последнего и разбора спорных вопросов, Соловьев, как считал Хомяков, избрал другой путь: «он напал на все то направление, к которому принадлежит его снисходительный рецензент» [9, с. 266].

Здесь нам необходимо сделать экскурс в историю. Хомякову не было нужды вмешиваться в полемику в её начале, о чем он не преминул упомянуть в своих замечаниях, потому что участники «умеют постоять сами за себя», да и слишком неравен был бы спор. Соловьев же решил дать бой там, где его шансы были минимальны. В полемике ему пришлось выслушать аргументы человека, твердость убеждений, обширные познания, полемические способности которого уже давно и широко были известны, о чем впоследствии поведали многие мемуаристы.

Но дело даже не столько в этих качествах, сколько в самом мировоззрении Хомякова, который к тому времени уже два десятилетия работал над «Записками по всемирной истории», был автором богословских работ, которые поставили его в первый ряд христианских богословов, а Ю. Ф. Самарин называл его (после кончины) даже «учителем Церкви».

Безусловно, А. С. Хомяков прекрасно знал и русскую историю, прочно занимал главенствующее положение в «православно-славянском» направлении, тем более что уже умер И. В. Киреевский (1856), так что и разработка философских вопросов полностью стала его делом. Именно дорогое имя последнего, затронутое Соловьевым, и стало причиной вступления Хомякова в спор.

Он не собирается опровергать все несостоятельные подробности соловьевской статьи «Шлецер и антиисторическое направление», он указывает лишь на «самые замечательные», но, прежде всего, он в очередной раз (в очередной, потому что уже делал это сразу после смерти И. В. Киреевского) говорит об исторической задаче, которую разрешил его единомышленник, а «задача эта была – определение типов западного и восточного, т.е. тех идеалов, которые лежат в основе двух разнородных просвещений и двух разнородных историй» [9, с .269].

Эту высокую задачу первый поставил И. В. Киреевский, и он же ее разрешил с «такою ясностию и с таким чудным глубокомыслием, что все дальнейшее развитие того же вопроса будет озаряться светом, который зажжен незабвенным деятелем науки. Вот исторический смысл его статей; а то направление, к которому он принадлежит, может гордиться его подвигом и добродушно улыбаться, когда приводят великую историческую заслугу в доказательство мнимого антиисторизма» [9, с. 269].

Итак, «добродушно улыбаясь», Хомяков сожалеет о том, что оппонент не понимает написанного Киреевским. Это «непонимание» и есть один из ключей к разгадке не только данного эпизода в отношениях С. М. Соловьева и А. С. Хомякова, но и к уяснению состояния русской общественной мысли XIX века. Об этом Хомяков говорит в самом начале своих «Замечаний...», о двух направлениях, к которым более или менее принадлежат все пишущие люди.

Одно из них «открыто признает за русским народом обязанность самобытного развития и право самотрудного мышления; другое... отстаивает обязанность постоянно-ученического отношения нашего

к народам Европы...» [9, с. 266]. К этому-то другому направлению и принадлежит С. М. Соловьев.

И А. С. Хомяков, горько недоумевая, пытается уяснить: какие причины мешают «такому трудолюбивому и образованному деятелю, каков г. Соловьев, отдать справедливость заслуге Киреевского и вообще понять то направление, на которое он нападает» [9, с. 272]. Обратим внимание на настроенность сторон. Одна «дает вежливый, беспристрастный и дельный разбор», «добродушно улыбается», «пытается понять», говорит, что у нее «нет охоты к полемике», «жалеет» историка, дает ему доброжелательные советы, терпеливо объясняет свои воззрения...; другая – «дает бой».

Исходя из текста, Хомяков не может не констатировать: «спутанность понятий... проникает насквозь всю статью г. Соловьева» [9, с. 273]. Но отчего же эта «спутанность»? Отчего историк, имея подобный арсенал, нападает на славянофилов? Хомяков предполагает: «можно подумать... что их [славянофилов. – *А. К., И. Х.*] понятия основаны на иной нравственной почве» [9, с. 273]. И он, как представляется, не давая себе воли утвердиться в подобном мнении окончательно, пусть в догадочной форме, но вынужден это констатировать.

Однако «нравственная почва» не самоценна, она определяется первоосновой – вероисповедованием. Но мог ли в таком случае предполагать А. С. Хомяков в своем православном брате «иную нравственную почву?» Ведь не атеист же в самом деле был перед ним (напомним, что С. М. Соловьев родился в семье московского протоиерея, преподававшего Закон Божий в Московском коммерческом училище)?

Вопрос столь серьезен, что мы, поставив его, попытаемся рассматривать лишь в пределах материала данной статьи, а он не позволяет решить его во всей полноте.

Фундаментальные расхождения А. С. Хомяков устанавливает в самом начале «Замечаний...» по отношению к «обязанностям развития» и «правам мышления» каждого народа. Для него, как и для И. В. Киреевского, истории западная и восточная разнородны, потому что разнородны идеалы, которые лежат в основе просвещения Запада и Востока. В основе русской истории – Православная вера, от которой уклонился Запад.

Для С. М. Соловьева законы развития русской и западноевропейской истории одни и те же. Одинаково и могущественное внутреннее

условие, определяющее духовный образ – христианство. Следовательно, внутренние условия или средства равны. Историк не подчеркивает коренные расхождения в вере. Более того – христианство он ставит в один ряд с наукой, вступая под знамена позитивизма и некоторых иных «-измов» [7, с. 43–55]. И причины задержки развития русской жизни, как считает Соловьев, – в неблагоприятных внешних условиях. Отсюда задача – учиться.

Эти соловьевские суждения намеренно взяты нами из его «Публичных чтений о Петре Великом» (1872 г.) Они в данном случае весьма уместны и показательны, ибо прошло полтора десятилетия после обмена мнениями об «историчности» и «антиисторичности», уже давно не было в живых главных оппонентов Соловьева, взгляды же его (о которых даже сдержанный и доброжелательный А. С. Хомяков говорил, что они с кафедры произносятся «с крайней наивностью»), остались неизменными и произносились уже маститым ректором университета. И снова речь идет об учении. И как пятнадцать лет назад, для историка учение есть подражание, хотя он и расширяет свое понимание учения.

Для А. С. Хомякова же «учение не есть подражание, оно есть пробужденное самомышление» и «разумное развитие отдельного человека есть возведение его в общечеловеческое достоинство, согласно с теми особенностями, которыми отличила его природа. Разумное развитие народа есть возведение до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом корне народного бытия» [9, с. 281, 284].

Итак, С. М. Соловьев, описывая историю России, исходит из общности ее законов с западноевропейскими. Но, как показал А. С. Хомяков в своей «Заметке по поводу статьи г. Соловьева о Риле»: «общая история не его специальность». В этой «Заметке...», стараясь быть максимально корректным, тем не менее, Хомяков был вынужден заявить, что «историк не уразумел исторического значения того умственного явления, которое он подвергает своей критике», и что «объяснения г. Соловьева вовсе не состоятельны. Но всего страннее то, что историк, сводя исторические явления под одни закон, даже и не замечает их прямого противоречия между собою» [9, с. 345, 340].

Что же это за такой закон, которым теперь руководствовался историк? Хомяков указывает на это с иронией: «Главный характер,

избранный г. Соловьевым в последнее время, это характер рыцаря прогресса» [9, с. 342]. Но это «в последнее время», а что было раньше, да и во многом продолжало оставаться и «теперь» и «после»? Продолжение «учения» в смысле «подражания», но с претензией на «учительство».

Вот почему в своей реплике «О статье Чичерина в Русском Вестнике» А. С. Хомяков назвал «государственную школу» в числе устаревших. «Конечно, эта школа давно доказывала, что уже вовсе не понимает о чем дело идет...» [9, с. 322]. И далее он перечисляет вопросы, в решении которых они кардинально расходились. Итак, «Русская Беседа» с «государственной школой» «слов тратить не будет, разве для исправления каких-нибудь частных ошибок в частных исследованиях». А потому и появилась «Заметка о Риле», где опять указывается на «неуразумение». Что же движет А. С. Хомяковым в этом подчеркивании? Определенный ответ дает текст «Замечаний...». Не желание поспорить, хотя он далеко не обделен качествами истинного бойца. А. С. Хомяков вступается за истину, оставаясь на «нравственной почве», с которой никогда не сходил. А потому ему важно не только указать на слабые, непродуманные, неверные места «ловкого в полемических приемах» оппонента, не только указать на причины, откуда они берутся, но и желание помочь ему обрести верный взгляд на историю той страны, коей решил посвятить свою научную жизнь. А. С. Хомяков никоим образом не решается допустить даже тени личной неприязни, старается быть максимально объективным. Посмотрим это по тексту.

А. С. Хомяков называет С. М. Соловьева «трудолюбивым и образованным деятелем», его первые отдельные исследования не лишены «истинного достоинства». Хомяков признает «неутомимую деятельность г. Соловьева, его любовь к науке и даровитость», он не думает «отрицать ни достоинства, ни полезности его исторического труда» [9, с. 272, 275, 282] и советует в конце концов избегать тех ошибок, на которые ему указывают его доброжелательные оппоненты.

Вышесказанное не идет ни в какое сравнение с оценкой А. С. Хомяковым значения трудов И. В. Киреевского. Может быть, в первую очередь потому, что первый был мыслитель, совершивший подвиг, а здесь всего лишь «даровитость».

Но ведь дар мы можем употреблять на разное и по-разному? Что же мы видим в оценке А. С. Хомякова? «Неутомимая деятельность» «трудолюбивого и образованного» С. М. Соловьёва, «его любовь к науке

и даровитость» приводят к тому, что он в шести томах «рассказывает не историю России, даже не историю государства Русского, а только историю государственности в России» [9, с. 282], где нет «жизни нигде».

А раз нет жизни, то – «мертвенность». А. С. Хомяков как опытный врач (а он был успешно практикующим врачом) констатирует мертвенность всего взгляда, которая отомстила за себя автору «в крайней мертвенности самой истории», где «обойдены все живые вопросы в истории» [9, с. 279]. Подражая западным учителям, известный историк не понимает ни своей, ни западной жизни. Таковы плоды. И А. С. Хомяков применяет абсолютный критерий: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7,16).

А. С. Хомяковым движет не чувство гордости (гордость ему была вовсе не свойственна, Н. А. Бердяев был совершенно неправ, утверждая, что гордость есть его отличительная черта [3]; чтобы убедиться в обратном, достаточно прочитать «Послание к сербам» (1860), (о чем ниже), и тем более чувство зависти. Он руководствовался иным, высшим – чувством братской любви. И потому как «друг науки» он искренне желает, чтобы «такое трудолюбие и такие способности» Соловьева «принесли, елико возможно, добрые плоды» [9, с. 282].

Но обойдены ли «все живые вопросы в истории» и имел ли право так говорить о нем А. С. Хомяков? И тут нам опять придется возвратиться к тому, что было определено как «иная нравственная почва». Мы можем позволить себе ограничиться лишь комментариями к некоторым источникам.

В «Вестнике Европы» (1907 г., № 3–6) впервые был опубликован полный текст (с искажениями частного характера) «Моих записок для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьева (они были изданы в сокращённом виде в 1896 г. и уже тогда вызвали критические отклики [2]. В них вновь оживала полемика полувековой давности со славянофилами, которая отличалась со стороны С. М. Соловьева необоснованной резкостью, а то и злорадством тона по отношению к своим научным и идейным оппонентам.

А. С. Хомяков предстает «черным человечком», «не робевшим... ни перед какою ложью», «раздражительным, неуступчивым, завистливым, злым» «скалозубом»; С. Т. Аксаков, по мнению С. М. Соловьева, в молодости «легонький литератор», «стихоплет», в старости – «хитрый, с убеждениями ультра-западными»…

Подобные характеристики С. М. Соловьевым были даны не только членам славянофильского кружка, но и известнейшим, уважаемым людям иных званий и положений. Московского митрополита Филарета (Дроздова) он изображает «страшным деспотом, обскурантом и завистником». Заметим к слову, что митрополит Филарет в 1994 году Русской Православной Церковью причислен к лику святых, но еще значительно раньше его ставили в ряд с такими великими святителями, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов [6, с. 90]. И именно с одобрения святителя Филарета «Православное Обозрение» с 1863 г. начало печатать богословские сочинения А. С. Хомякова.

В монографии о Церкви (1894) Е. П. Аквилонов констатировал, что «в русской богословской письменности по вопросу о Церкви более других сделали лица, не занимавшиеся специально этим вопросом, а именно: московский святитель митрополит Филарет и вождь наших славянофилов А. С. Хомяков» и «в лице этих знаменитых мыслителей наши духовная и светская школы как бы протягивают друг другу руки для общего всем «созидания» Церкви Божией и для ограждения последней от внутренних и внешних врагов» [1, с. 50. 54, 57].

Совокупность этих трудов Е. П. Аквилонов называет «твердыней современной православно-догматической науки о Церкви» и последующим православным писателям «остаётся пока только раскрывать и изъяснять добытые научные результаты». К. Н. Леонтьев вообще делил русское Православие на «филаретовское» и «хомяковское».

Естественно, тенденциозность С. М. Соловьёва не способствовала объективному, спокойному и доброжелательному исследованию славянофильства. И совсем не удивительно, что впоследствии Г. В. Флоровский назвал «записки» С. М. Соловьева «самодовольно-злобными» [8, с. 272].

Кстати, близкими по духу к соловьёвским воспоминаниям о славянофилах были и мемуары Б. Н. Чичерина (написанные в конце 1880-х –начале 1890-х гг.), считавшего, что «ни одной путной мысли о так называемых русских началах они не высказали, а рассеяли только множество кривых воззрений...» [5, с. 157].

Как видим, недаром чувствовалась «иная нравственная почва», на которой возрастали не только исторические, но и другие взгляды С. М. Соловьева, в чем мы убеждаемся, читая не только его «Записки». Теперь нам понятней и слова А. С. Хомякова: «Кажется строгая правда

и насилие неравномысленны ни в каком человеческом наречии, а г. Соловьев их смешивает» [9, с. 274]. И вот эта «смешанность», «спутанность понятий» не только проникает насквозь всю статью С. М. Соловьева («Шлецер и антиисторическое направление»), но и многое другое, что вышло из-под пера известного историка в последующие годы.

А. С. Хомяков дал свое понимание творческого пути С. М. Соловьева, и нам полезно обратить внимание на некоторые этапы. Хомяков отмечает, что первые отдельные исследования историка были не бесполезны и не лишены истинного достоинства, но С. М. Соловьев не довольствовался ими и скромным путем исследований. Он приступил к истории России. Но, по мнению А. С. Хомякова, всякому действительному ученому было ясно, что истории в смысле художественной летописи после Карамзина уже писать нельзя; для критической же истории не заготовлено достаточно предварительных исследований. Нужно было ими запастись, но когда же кончится предварительная работа? «Историк решился обойтись без нее, что из этого решения вышло, мы имеем перед собою» [9, с. 282].

Трудно придумать более горькую оценку титанического труда. Многие современники смотрели иначе на дело, совершаемое С. М. Соловьевым. По мере увеличения числа томов «Истории России...» неловко стало вообще подвергать издаваемое критике, хотя бы и потому, что почти никто подобное уже не совершал. Этот труд стали называть подвигом жизни, и сомнения в его доброкачественности работали в общественном мнении прежде всего против оппонентов.

С. М. Соловьев считал, что «первая обязанность общества образованного разъяснить для себя значение деятельности великого человека, сознать свое отношение к этой деятельности, к ее результатам, узнать во сколько эти результаты вошли в нашу жизнь, что они произвели в ней, какое их значение для настоящего, для будущего...» [7, с. 42].

Конечно же, в данной статье мы не могли ответить с достаточной полнотой даже на часть этих вопросов применительно к автору этой цитаты. Мы позволили себе расставить лишь некоторые акценты, видя, что эта пора давно настала.

Посмертная судьба сделанного С. М. Соловьевым внешне довольно благополучна: им не пренебрегала ни одна власть, о нем высоко

отзывались: от крупнейшего философа XX века И. А. Ильина до рядового советского историка [4].

Судьба наследия А. С. Хомякова иная: в дореволюционной России его не только плохо понимали, но и немного читали; в советское время его прятали подальше с глаз, первый раз издав поэтический сборник только в 1969 году [10], а книгу очерков и статей – двумя десятилетиями позже [11].

Но значит ли это, что история все расставила по своим местам? Конечно же, нет. Более того она настойчиво призывает нас вернуться к далеким спорам 50-х годов XIX века.

Мы видим, что в них выявились два разных подхода к русской истории. Первый, внешне победивший и до сих пор не собирающийся нас покидать (по крайней мере, университетские кафедры), связан с признанием только общих для всех народов законов развития (но которые почему-то пересматриваются чуть ли не каждое десятилетие), видением задачи в подражании, взглядом на историю народа до Петра I как на «девятисотлетний рост будущей обезьяны» [9, с. 279]. Главный представитель второго называл свою родину иначе: «наша Святая Русь», нисколько её не идеализируя. Он искренне желал, «чтобы г. Соловьев узнал, наконец, в мнимых противниках истинных доброжелателей, которых цель даже в критике – навести его на такой путь, на котором его дарования могли бы принести добрые плоды» [9, с. 345].

Непредвзятое изучение наследия основоположника славянофильства А. С. Хомякова не может не убедить в том, что он имел дар «различения плодов».

1. *Аквилонов Е. П.* Научное определение Церкви и апостольское учение о ней как о теле Христовом / Е. П. Аквилонов. – СПб., 1894. – 254 с.
2. *Бартенев Ю. П.* Недоучки-славянофилы и высокоучёный западник-профессор (А. С. Хомяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьёва) / Ю.П. Бартенев // Русский Архив.– 1907. – № 8. – С. 557–563.
3. *Бердяев Н. А.* Алексей Степанович Хомяков / Н. А. Бердяев. – М., 1912. – 251 с.
4. *Иллерицкий В. Е.* Советские историки о С. М. Соловьеве / В. Е. Иллерицкий // Вопросы истории. – 1981. – № 11.– С. 124–130.
5. Русское общество 40–50-х годов XIX в. – Ч. II. Воспоминания Б. Н. Чичерина. – М., 1991.– 254 с.

6. *Серафим (Соболев)*, архиеп. Русская идеология. Историко-религиозный очерк / Серафим (Соболев).– СПб., 1994.– 184 с.
7. *Соловьев С. М.* Избранные труды. Записки / С. М. Соловьев. – М., 1983.– 437 с.
8. *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия / Г. В. Флоровский. – 3-е изд. – К., 1991.– 599 с.
9. *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. Т.1–8 / А. С. Хомяков. – М., 1900. – Т. 3. – 482 с.
10. *Хомяков А. С.* Стихотворения и драмы / А. С. Хомяков. – Л., 1969.– 595 с.
11. *Хомяков А. С.* О старом и новом. Статьи и очерки / А. С. Хомяков. – М., 1988. – 462 с.

Каплін О. Д., Харченко І. М. Слов'янофіли і західники у взаємних оцінках 1850-х рр.

У статті досліджується один з ключових епізодів у взаємній оцінці історичних поглядів західників і слов'янофілів у другій половині 1850-х років, а саме: після виходу друком VI тому «Історії Росії з найдавніших часів» С. М. Соловйова (1856 р.). Враховуючи, що про знаменитого історика і його спадщину сказано за більш ніж півтора століття чимало (хоча багато з цього вимагає переосмислення), більш докладно йдеться про судження його опонентів.

Ключові слова: С. М. Соловйов, «державна школа», О. С. Хом'яков, слов'янофіли, «антиісторичний напрям», історія Росії.

Kaplin A.D., Kharchenko I.M. The Slavophiles and the Westerners in the Mutual Evaluations of the 1850s.

The article examines one of the key problems in the mutual assessment of historical views of Westerners and Slavophiles in the second half of the 1850s, namely after the publication of the 6th volume of «History of Russia from ancient times» by S. M. Solovyov (1856). Taking into consideration the fact that both the famous historian and his legacy have been told about a lot in more than a century and a half (although much of that requires rethinking), the article mainly focuses on the judgments of his opponents.

Keywords: S. M. Solovyov, «government school», Khomiakov, the Slavophiles, «anti-historical trend», history of Russia.

УДУ 930.2(477):159.942

Ю. А. Киселева

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ МАРКИРОВАНИЕ В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ В. П. БУЗЕСКУЛА)

Статья представляет собой вариант case-studies и посвящена исследованию эмоционального маркирования, присутствующего в историографических репрезентациях историка Харьковского университета В. П. Бузескула. Автор рассматривает вопрос об особенностях репрезентации эмоций в историографических текстах, а также их значения в качестве элементов исследовательского инструментария историографа эпохи позитивизма. В статье обосновывается тезис, что эмоции в текстах В. П. Бузескула выступали объектом исследования, инструментом аргументации и частью исследовательской гипотезы. Автор статьи высказывает мысль, что исследование эмоций и эмоционального маркирования может обогатить исследовательские подходы современной истории историографии.

Ключевые слова: история эмоций, эмоциональное маркирование, история историографии, В. П. Бузескул, историческое мышление, историографическая рефлексия.

На современном этапе развития гуманитаристики, когда эмоции становятся важным объектом изучения в рамках различных дисциплин и исследовательских полей, все уверенней говорят о свершившемся «эмоциональном повороте» [См. 6; 10]. Увлечение ученых такого рода проблематикой можно объяснить не только научной модой, но и определенными эпистемологическими предпосылками. Современная наука вступает в постнеклассический этап своего развития, связанный с акцентированием внимания на субъекте и его познавательной активности. Своеобразным воплощением данного этапа в исторической науке можно считать утверждение конструктивизма с его абсолютизацией интерпретационной деятельности исследователя, когда осмысление работы историка происходит не в терминах «объективного поиска исторической истины», но в терминах сознательного конструирования

© Киселева Ю. А., 2016

им прошлого. Однако подобная замена терминов влечет и определенные проблемы. Во-первых, конструктивизм сам по себе не устанавливает границы интерпретационной деятельности историка, а, во-вторых, идеи конструктивизма плохо конкурируют с традиционным идеалом «объективной истории» в сознании читателей. В этих условиях возрастает интерес к ценностным, в том числе и эмоциональным основам исследовательской работы ученых. Рефлексия о ценностях, эмоциях и добродетелях становится, таким образом, способом осмысления интерпретационной деятельности историка и одновременно способом ее репрезентации и оправдания в глазах потребителей «исторической продукции». Сама объективность начинает рассматриваться как ценностно-эмоциональная категория и сопоставляется с другими эмоциями. Например, Ева Доманская замечает, что то, чем являлась «правда» для академической истории, сопоставимо с тем, чем является «искренность» для неконвенциональной истории [12]. Таким образом, главным результатом происходящих изменений является то, что сегодня этико-эмоциональная позиция исследователя становится предметом саморефлексии и обсуждения.

Именно эти условия способствовали появлению нового направления в проблемном поле изучения эмоций. Так, по мнению Андреаса Буллера, наряду с собственно историей эмоций исторических акторов прошлого, рассматривающей эмоции как фактор исторического процесса, можно выделить проблемную область, рассматривающую эмоции как фактор исторического мышления [См.: 11]. Исследователей, работающих в этой области, объединяет внимание к так называемым «возвышенным эмоциям»: скорби [См. 15], состраданию [См. 11], искренности [См. 12]. Общей является и интенция доказать, что данные чувства не столько окрашивают определенной эмоциональностью репрезентации историков, сколько участвуют в процессе глубинного смыслообразования в исследовательской практике ученых, являются условием и неотделимым элементом процесса исторического мышления исследователей [15, с. 42–43].

Необходимо оговорить, что данные исследования пересекаются с таким субнаправлением как эпистемология добродетелей (epistemic virtue). Представители данного направления пытаются изучать сущность исследовательской деятельности историков и их представления о профессионализме сквозь призму культивируемых ими достоинств (к которым относятся, например, честность,

объективность, интеллектуальная отвага и т.д.). По мнению Г. Пауля, концепт «эпистемологические добродетели» способен обогатить исследовательский инструментарий как философии истории, так и историографии. Последней предлагается изучать эволюцию добродетелей и недостатков в рамках отдельных дисциплин и практик, проблемы их конфликтности в диахронном и синхронном срезах, соотношение эпистемологических добродетелей ученых и современных им систем моральных убеждений [13, с. 12–14].

При этом само проблемное поле эпистемологии добродетелей зависит от определения сущности самих добродетелей. Если раньше в качестве достоинств в большей мере фигурировали такие когнитивные способности как память, внимательность, тщательность исследования, которые носили отчасти врожденный характер, то со временем на смену им пришли личностные черты характера, такие как интеллектуальное бесстрашие и критицизм, которые воспринимались как результат целенаправленной интеллектуальной тренировки исследователей. Сегодня происходит очередной этап переосмысления сущности добродетелей ученых, и наряду с критицизмом становится актуальной чувствительность и способность сострадать. Данные изменения обусловлены необходимостью интерпретации и преодоления сложной истории XX века и воспринимаются отчасти как результаты осмысления данной истории и выводы из уроков истории историографии новейшего времени [См.: 11]. Таким образом, изучение эмоций не является только данью интеллектуальной моде, но вполне соотносится с проблемами развития современной гуманитаристики. Эта сфера может стать перспективным исследовательским полем и для историков исторической науки.

Однако при этом остается открытым вопрос о подходах к изучению эмоций в проблемном поле историографии. По нашему мнению, подобные исследования должны проводиться на основании сочетания подходов «истории эмоций» и «эпистемологии эмоций». С одной стороны, необходимо рассматривать сообщества историков прошлого как особые «эмоциональные сообщества» [14, с. 842–843], которые разделяют общие нормы выражения и оценки эмоций, соотнося их с актуальными нравственными ценностями и представлениями об идеалах науки и образе ученого [См.: 9]. С другой стороны, важно исследовать влияние эмоций на историографическую исследовательскую практику ученых: как эмоции влияли на выбор предмета изучения и

на характер проведения исследований, какое участие они принимали в познавательных процедурах историографов и как воплощались в историографических репрезентациях, т.е. собственно речи идет об исследовании на микроуровне эмоционального мира отдельного ученого [См.: 7, с. 11]. В итоге также интересно посмотреть, как взаимопересекались и взаимовлияли две эти сферы бытования эмоций.

Данное исследование представляет собой попытку сделать предварительные замечания по поводу способов изучения эмоций как элемента исследовательской историографической практики на примере анализа текстов В. П. Бузескула. Выбор этого историка не случаен. С одной стороны, В. П. Бузескул является представителем позитивистской историографии, которая была институционализирована на основе замены субъективных, чувственных оценок историков-романтиков аналитическими процедурами, с другой стороны, по своему психологическому складу он был достаточно уравновешенной и цельной личностью. Поэтому выбор данного автора предполагает своеобразный вызов определенным стереотипам.

Объектом нашего анализа станет историографическая глава из работы В. П. Бузескула «Афинская полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в.» (1895 г.) [1] и его работа «Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столетия. К происхождению современной германской идеологии» (1915 г.) [5]. Эти работы различаются как по жанру, так и целеполаганию автора. Первая представляет собой докторскую диссертацию ученого, а вторая, по его собственным словам является не научным исследованием, но скорее публицистической работой [5, с. 3], написанной в разгар Первой мировой войны. Тем не менее обе эти работы были глубоко связаны со сферой личных переживаний автора. По признанию В. П. Бузескула, полемика вокруг «Афинской Политии» послужила ключевым фактором, окончательно склонившим профессиональные предпочтения историка к области древнегреческой истории [4, с. 7]. В то же время работа, посвященная разоблачению идеологии, воплотившейся в немецкой историографии, стала своего рода «открытием», которое протрясло систему духовных и профессиональных ценностей ученого [8, с. 178–179].

Анализируя эмоциональное маркирование в историографических репрезентациях, можно говорить о двух уровнях: о *сознательно артикулируемых эмоциях* и *неартикулируемых эмоциях,* но

появляющихся в тексте как прямой результат сознательной авторской интенции или как следствие выбора им определенных риторических стратегий.

К уровню артикулируемых эмоций прежде всего относится фиксация эмоциональности исторических акторов и эмоционально окрашенных явлений прошлого. Например, В. П. Бузескул в работе «Афинская Полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в.» неоднократно отмечал чувства, вызванные находкой памятника у тех историков, взгляды которых он исследовал. Например, «исследователи с восторгом приветствовали находку» [1, с. 10], «свою статью Рюль начинает заявлением, что вероятно не он один испытал горькое разочарование при чтении трактата» [1, с. 32] и т.д. В работе, посвященной немецкой историографии, такие сюжеты также присутствуют. Так, В. П. Бузескул писал, что Б. Нибур, признавая влияние «поры унижения Пруссии» на создание его истории, эмоционально определял мотивы своего творчества выражением: «ушел к давно исчезнувшей нации, чтобы подкрепить дух мой и моих слушателей» [5, с. 10], а Карл Лампрехт, будучи приват-доцентом, приветствуя приезд Бисмарка, «готов был кричать ура и как от волнения лишился голоса» [5, с. 57]. Также к уровню артикулируемых эмоций можно отнести и эмоции самого автора. Например, рассуждая о немецкой идеологии, В. П. Бузескул часто использует выражение «идеология, удивившая многих» [5, с. 6]. К этому же уровню относятся и авторские характеристики и оценки, выраженные посредством эмоциональных слов, которые проявляют отношение автора к изучаемой реальности. Например, говоря об «Афинской Политии», В. П. Бузескул писал, что против Аристотеля «выступил известный своими нападками на афинскую демократию Юлиус Шварц», который подверг памятник «беспощадной, страстной и придирчивой критике» [1, с. 25]. И далее, характеризуя взгляды Рюля, харьковский историк замечал, что «никто еще в критике не заходил так далеко, никто не впадал в такие крайности, не говорил таким страстным и раздраженным тоном» [1, с. 32].

Авторские интерпретации также выражаются и путем приписывания объектам исследования определенных эмоций. В работе о связи идеологии и исторической науки в Германии такие сюжеты преобладают и приобретают особую остроту. Характеризуя В. Гизебрехта, В. П. Бузескул упоминал, что этот историк «с пафосом, высокопарным языком описывает немецкие победы», «в особенности

с явным удовольствием и каким-то умилением говорит Гизебрехт об истребительных войнах немцев против славян» [5, с. 10]. В другом месте В. П. Бузескул указывал, что французский историк О. Тьерри «испытывал скорбь и сострадание при виде документа, в который занесены страдания побежденных» и противопоставлял чувства Тьерри позиции Т. Момзена, который признавал только право победителей [5, с. 34]. Авторское приписывание эмоций проявилось и при описании «резко враждебного отношения», «бурной ненависти» Г. Лео к французам [5, с. 22] или в замечании следующего типа: «По ненависти и презрению собственно к русскому народу чрезвычайно характерна книжка Виктора Гена» [5, с. 42].

Таким образом, за счет артикулируемых эмоций в историографических текстах происходило придание описанию реальности прошлого определенной «живости», присущей изначально этой реальности. С другой стороны, обнажаемые эмоциональные отношения автора облегчали читателям навигацию в системе его оценок и мнений, создавали эмоциональные предпосылки для солидаризации с позицией автора или наоборот расхождения с ней.

Второй уровень эмоционального маркирования представлен, по нашему мнению, *неартикулируемыми эмоциями*, но тем не менее проявляющиеся посредством риторических приемов. Прежде всего, этим целям служили эмоциональные по своему характеру понятия и метафоры. Например, в работе, посвященной «Афинской Политии», это такие понятия: «скептицизм и гиперскептицизм», «умеренное направление»; метафора «драгоценная находка», фразы «Фукидид – величайший историк древности» [1, с. 16], «мы не будем подробно следить за нападками Рюля, это заняло бы слишком много места» [1, с. 33]. Эти эмотивные выражения хотя и не содержат прямых отсылок к эмоциям, но ясно отражают отношение автора, за которым так или иначе стоят определенные эмоции. В работе о немецкой исторической науке такие эмоциональные оценки передавались системой выделения тех или иных слов курсивом. Так, характеризуя творчество и взгляды Л. Ранке, В. П. Бузескул признавал, что во многих случаях объективность и беспристрастие этого историка удивительны [5, с. 12]. При этом отношение автора проявляется в курсиве, которым он выделяет слово «объективная»: «Ранке глава немецкой исторической *объективной* школы», ссылаясь при этом на политические взгляды Ранке, высказанные им в источниках личного происхождения [5, с. 10].

В другом месте, В. П. Бузескул, говоря о высказывании Т. Момзена о том, что война является двигателем «прогресса», подчеркивал, что историк при этом не просто «констатировал факт, но видимо *сочувствовал* [курсив – *В.П.*] ему» [5, с. 34]. Фактически курсив, подчеркивающий значение отдельных слов, должен был не только обращать на них внимание, но и вызывать или усиливать определенные эмоции. В частности, в тексте курсивом выделялись такие слова: «культ силы», «армия», «милитаризм», «соединение политики и исторической науки» и др.

Неартикулируемое эмоциональное маркирование проявлялось посредством особого отбора фактов, героев, цитат и в особой логике изложения материала. Рассмотрим историографическую главу диссертации В. П. Бузескула. Интересно, что в этой работе сообщение о мнениях российских ученых по поводу «Афинской Политии» появляются в самом конце параграфа «Начало умеренного направления». При этом, отмечая, что в российской литературе преобладало умеренное направление, В. П. Бузескул заканчивает параграф цитатой П. Г. Виноградова, содержащей характеристику дискуссии:

> «Немало и усердно работают ученые, особенно немецкие над интересной находкой. Приступают к ней со всеми предписанными наукой предосторожностями, сплошь и рядом начинают с правильных и ценных наблюдений. Но затем всеми овладевает какое-то загадочное безумие, которое прямо уносит исследователей в область нелепого. Одни поражены фанатическим увлечением и непрерывно славословят, другие проникаются берсеркерскою яростью, третьи думают разгадать все тайны автора с помощью подстановки политических понятий современной Германии, четвертые во имя критики пытаются стяжать славу Герострата и Колумба, разрушить и создать новую историю Афин 5 века. Кто знает, может быть, старый папирус… заколдован и приносит несчастье всем, кто им занимается?» [1, с. 60].

Цитируя этот очень эмоциональный отзыв, В. П. Бузескул не только солидаризируется с автором, но также выражает и доказывает определенную мысль о значении русской науки всеобщей истории, нашедшую позднее ясное выражение в последней итоговой историографической работе Бузескула «Всеобщая история и ее представители в России в XIX начале XX века». Вот эта мысль:

> «Подчиняясь влиянию западных идей, западной науки, русская наука в деле изучения всеобщей истории однако не ограничилась лишь пересказом результатов, добытых на Западе; она, хотя и молодая, внесла тут и нечто свое; внесла и новый материал при решении некоторых вопросов, и новое освещение и новую точку зрения. Примыкая к тем или другим течениям на Западе, разделяя те или иные его симпатии и антипатии, всеобщие историки в России стояли все же дальше от той борьбы политической, классовой, национальной, вероисповедной и т.д., которую переживала Европа … они находились скорее в положении зрителей, нежели действующих лиц; они могли отнестись поэтому спокойнее, беспристрастнее [курсив – Ю.К.] ко многим из изучаемых явлений и заметить в них то, что иногда ускользало от взора западных историков» [3, с. 6].

Таким образом, незаангажированность и связанный с этим уровень эмоциональности при проведении исследований историками Российской империи ставили их в выгодное положение, являясь условием совершения определенных научных открытий. Если в последней цитате эта мысль высказывается ясно как вполне сформировавшееся убеждение, то в докторской диссертации В. П. Бузескула она только начинала оформляться и наблюдаемые ученым эмоции в текстах историков стали для ее зарождения и предлогом, и важным аргументом. Таким образом, эмоции в историографических текстах могли присутствовать не только как характеристики объектов изучения, или маркеры авторского отношения к ним, но и могли выступать в качестве элементов исследовательской аргументации историографов.

Сделать эту мысль более явной поможет анализ содержания рассматриваемых работ В. П. Бузескула. Интересно, что изложение процесса исследования «Афинской Политии» в первые годы после её публикации представлено в работе В. П. Бузескула не только как борьба мнений, но и как определенная «история чувств» по поводу данного памятника. Это наглядно представлено в разбивке текста на параграфы: «Опубликование «Афинской Политии» и первые восторженные отзывы о ней»; «Отрицательное отношение к находке в Англии»; «Представители скептического направления на континенте»; «Борьба противоположных взглядов»; «Начало умеренного направления».

Кажется, что подобное структурирование естественно и автор в данном случае не привносит эмоции извне, но скорее следует за эмоциональными характеристиками реальных исторических процессов. Действительно, была острая борьба мнений, сопровождающаяся

проявлением эмоций. Однако, автор мог придерживаться и другого принципа изложения хода полемики. Например, хронологический принцип тоже был бы вполне логичным и реальным. Почему же все-таки чувства стали структурировать изложение? Первая причина уже была озвучена. Это иллюстрация и обоснование важной для автора идеи об особом положении российской науки всеобщей истории. Вторая причина связана с доказательством исследовательской гипотезы Бузескула о принадлежности «Афинской Политии» Аристотелю. Нужно сказать, что в предисловии к книге автор специально оговаривает, что в основу историографической главы легла его ранняя статья, опубликованная в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1892–1893 гг. [2] в то время, когда, по словам историка, вопрос об авторстве Аристотеля оставался «спорным и сомнительным» [1, с. III].

Таким образом, в тех условиях, когда В. П. Бузескул в своей работе не мог охарактеризовать вопрос о принадлежности памятника Аристотелю как «исчерпанный», а само это утверждение как научно удостоверенное, он наделял и подкреплял это мнение в своем историографическом обзоре важной характеристикой, его умеренностью. Эта «умеренность» репрезентовалась как результат борьбы эмоций. И если в отношении научной полемики можно было ожидать появления новых мнений и серьезных аргументов, их подкрепляющих (например, достаточно влиятельной была мысль о принадлежности трактата одному из учеников Аристотеля), то в отношении борьбы эмоций победа «умеренного направления» была окончательной и безусловной. Постулировалась мысль о том, что больше никогда полемика по поводу авторства «Афинской Политии» не сможет приобрести былой остроты, и все последующие мнения будут соизмеряться с умеренностью (однако за этим умеренным направлением стояла и вполне определенная научная концепция, приписывающая авторство трактата Аристотелю). Таким образом, историографическая рефлексия (с использованием в качестве аргументов эмоций), помогла доказать точку зрения В. П. Бузескула и внесла свою лепту в сам ход дискуссии, ускорив утверждение мнения, что вопрос о принадлежности «Афинской Политии» Аристотелю решен.

Работа В. П. Бузескула «Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столетия» также является ярким примером использования эмоционального маркирования в процессе создания историографической репрезентации и доказательства авторской гипотезы. Так, исследование В. П. Бузескула состоит из

пронумерованных параграфов, посвященных отдельным историкам или историческим школам, при этом часто конкурирующим как по своим методологическим подходам, так и по политическим взглядам их представителей, что автор сознательно подчеркивал. Например, в книге противопоставляются Ранке и Шлоссер, Зибель и Дан, Ранке и Лео и т.д. Тем не менее главной темой книги стало сходство всех этих историков.

Сходство проявилось прежде всего, по словам В. П. Бузескула, в единстве милитаристской идеологии историков. Лейтмотивом книги стало утверждение: «Нигде, может быть, интересующая нас идеология не проявилась так ясно, так рельефно как в немецкой исторической науке» [5, с. 7]. Однако фактически идеологию автор сближал с «настроением» [5, с. 26], подразумевая под ним не столько систему убеждений, сколько чувств, которые испытывали историки и которые пытались вызвать посредством своих исторических работ. Среди этих чувств главными были чувства гордости, патриотизма и ненависти. Именно на уровне чувств для немецких историков был возможен отход от идеалов объективности и признание обусловленности собственного научного творчества с актуальными общественно-политическими запросами. Более того, именно чувства стали той общей платформой, которая дала В. П. Бузескулу возможность найти сходные черты немецких историков, придерживающихся разных политических взглядов. В этом плане интересен сюжет, посвященный творчеству Г. Гервинуса. В. П. Бузескул начинает анализ его книги «История немецкой поэзии» с цитирования цели автора «показать нации ее настоящую цену, возродить утраченное доверие к себе самой, вдохнуть в нее, наряду с гордостью своим древнейшим прошлым, радость по отношению к настоящему моменту и мужество по отношению к будущему» [5, с. 23–24]. При этом В. П. Бузескул указывает на признание автором политико-патриотических целей которыми он руководствовался [5, с. 24]. Однако вместе с тем харьковский историк упоминал, что Г. Гервинус мечтал о достижении единства Германии мирным путем, а события 1864–1870 г. и объединение, произошедшее в результате ряда военных конфликтов, «ему не внушало энтузиазма», так как победы не принесли удовлетворения по поводу внутреннего состояния Германии и вели «к непредвиденным опасностям», противореча, по мнению ученого, природе немецкого народа [5, с. 26].

Несмотря на свои политические убеждения, в изложении В. П. Бузескула Г. Гервинус не выпадает из ряда «обвиняемых» немецких

историков. Его «вина» доказывается на основе тех чувств, которые вызвала его книга. При этом В. П. Бузескул ссылается на критиков, отмечающих, что «Германия почерпнула у Гервинуса чувства, которые ее одушевляют теперь: навязчивую идею будущего величия и единства Германии, пылкий и ярый патриотизм … безрассудную ненависть к чужим нациям» [5, с. 25].

Таким образом, в основе работы В. П. Бузескула «Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столетия» также лежит определенная «история чувств». С одной стороны, чувства историков прошлого стали объектом изучения исследователя, с другой стороны, они использовались в процессе научной аргументации, позволяя в ходе «объективного» изложения биографических сведений и аккуратного цитирования мнений немецких историков доказать совершенно конкретную гипотезу. При этом и сама гипотеза являлась эмоциональной по своей природе. Фактически работа стала обвинительным актом, вынесенным немецкой историографии, пропагандирующей потенциально опасные чувства.

Нужно упомянуть, что в послевоенных работах В. П. Бузескул «примирился» с немецкой исторической наукой, сумев увидеть в ней симптомы научного обновления [8, с. 181]. Таким образом, все творчество харьковского историка может быть исследовано с вопросником об эмоциональности его историографических репрезентаций и такой анализ позволит обогатить наши представления о самом историке, его исследовательском целеполагании и инструментарии, а также в целом поставить вопрос об особенностях исторического мышления историков-позитивистов.

В итоге, предложенный в данной статье анализ эмоционального маркирования в историографических работах В. П. Бузескула подкрепляет утверждение, что эмоции являются важным элементом исторического мышления и конструирования историографических репрезентаций даже в эпоху позитивизма, настаивающего на ценности безэмоциональных подходов. С другой стороны, исследование эмоций, присутствующих в историографических текстах, позволяет поставить вопрос о взаимодействии систем моральных убеждений определенной эпохи, ценностно-эмоциональных нормативов отдельных сообществ и социальных групп и способов использования эмоций в научном исследовании. Например, за «умеренностью» можно увидеть как долгую традицию формирования поведенческих практик интеллектуалов,

так и процесс формирования представлений о сущности науки, идеалах ведения научной полемики, а также исследовательских добродетелей. исследование эмоционального маркирования тестов историков прошлого может не только расширить инструментарий историографов, но и стать важным фактором саморефлексии в эпоху постнеклассической науки, когда этико-эмоциональная позиция становится результатом сознательного выбора историка.

1. *Бузескул В. П.* Афинская полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. / В. П. Бузескул. – Х., 1895. – 484 с.
2. *Бузескул В. П.* Вопрос о новооткрытой «Афинской политии» // ЖМНП. – 1892. – № 7. – С. 142–189; 1893. – № 5. – С. 134–212; № 10. – С. 450–483.
3. *Бузескул В. П.* Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века : в 2 ч. / В. П. Бузескул. – Л., 1929. – Ч. 1. – 218 с.
4. *Бузескул В. П.* Речь в ответ на приветствия и доклады в заседании научно-исследовательской кафедры истории европейской культуры 1 апреля 1928 г. / В. П. Бузескул // Наукові записки науково-дослідної кафедри історії європейської культури. – Х., 1929. – Вип. 3. – С. 5–9.
5. *Бузескул В. П.* Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столетия: К происхождению современной германской идеологии / В. П. Бузескул // Русская Мысль. – 1915. – № 2. – С. 24–85.
6. *Винницкий И.* Заговор чувств или русская история на «эмоциональном повороте» / И. Винницкий // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 117. – С. 441–460. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/v35.html
7. *Зорин А. Л.* Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века / А. Л. Зорин. – Москва, 2016.
8. *Кісельова Ю. А.* Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія / Ю. А. Кісельова. – Х. , 2014. – 252 с.
9. *Кісельова Ю.* Перспективи дослідження співтовариства істориків як «емоційного співтовариства» // Історик і влада. Колективна монографія / відповід. ред. В. Смолій; творчий кер. проекту І. Колесник. – К., 2016. – С. 287–301.
10. *Николаи Ф. В.* История эмоций и «аффективный поворот»: проблемы диалога / Ф. В. Николаи, А. В. Хазина // Диалог со временем. – М., 2015. – Вып. 50. – С. 97–115.

11. *Buller Andreas*. Theorie und Geschichte des Spurbegriffs. Entschlusselung eines ratselhaften Phanomens. Tectum Verlag Marburg, 2016. – S. 102–120.
12. *Domańska Ewa*. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszlosci w nowej humanistyce [Unconventional Histories. Reflections on the Past in the New Humanities]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
13. *Herman Paul*. Performing History: How Historical Schoolarship is Shaped by Epistemic Virtues // History and Theory. – 2011. – № 50 (February). – P. 1–19
14. *Rosenwein B. H.* Worrying about Emotion in History / Barbara H. Rosenwein // American Historical Review. 107. – No 3 (2002).
15. *Rusen Jorn*. Emotional Forces in Historical Thinking: Some Metahistorical Reflection and the Case of Mourning // Historein. – 2008. – № 8. – P. 41–52.

Кісельова Ю. А. Емоційне маркування в історіографічних текстах (на прикладі історіографічних праць В. П. Бузескула)

Стаття є варіантом case-studies та присвячена дослідженню емоційного маркування, присутнього в історіографічних репрезентаціях історика Харківського університету В. П. Бузескула. Автор розглядає питання про особливості репрезентації емоцій в історіографічних текстах та про їхнє значення як елементів дослідницького інструментарію історіографа доби позитивізму. Доводиться теза, що емоції в текстах В. П. Бузескула були об'єктом дослідження, інструментом аргументації та виступали складовою дослідницької гіпотези. Автор відстоює думку, що студіювання емоцій та емоційного маркування може збагатити дослідницькі підходи сучасної історії історіографії.

Ключові слова: історія емоцій, емоційне маркування, історія історіографії, В. П. Бузескул, історичне мислення, історіографічна рефлексія.

Kiselyova Ju. A. The Emotion Marking in the Historiographical Writings (on the Materials of the V. Buzeskul`s Historiographical Works)

The article is a case-study. It investigates emotion marking in V. Buzeskul's historiographical works. The author considers the question of how emotions are represented in his historiographical texts and examines the meaning of the emotions as part of the research toolbox of a positivist historiographer. The author advances the thesis that emotions could be a research object, instrument of argumentation and part of a research hypothesis. The author argues that studying emotions and emotion marking can open up new approaches for present-day history of historiography.

Keywords: history of emotion, emotion marking, history of historiography, V. Buzeskul.

УДК 94 (477) Яворницький

С. І. Світленко

«СВОЇ» І «ЧУЖІ» СИМВОЛИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ У СВІТОГЛЯДІ ТА ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

У статті розкрито зміст «своїх» та «чужих» символів історичної пам'яті в контексті світогляду та творчої спадщини видатного українського історика Д. І. Яворницького. Показано, що символіка історичної пам'яті зароджується та функціонує в певному історичному часі та просторі та є тісно пов'язаною з етнонаціональним, етнокультурним, соціальним, професійним, морально-етичним та духовно-релігійним усвідомленням індивідуума та суспільства. Акцентовано на значенні символів історичної пам'яті для утвердження історичної та національної ідентичностей.

Ключові слова: символи, історична пам'ять, світогляд, творча спадщина, Д. І. Яворницький.

У сучасному українському соціумі, який вступив у вельми складний період кардинальних внутрішніх трансформацій, революцій і війн, проблема історичної пам'яті набула особливої теоретичної актуальності та практичної значущості. Адже вона тісно пов'язана з такими непростими категоріями , як історична ідентичність, свідомість, мислення тощо. Увага до такого роду проблематики сприятиме утвердженню успішної перспективи розвитку українського соціуму. Тому невипадково новітня історіографія стала активніше вивчати попередній досвід вироблення моделей історичної пам'яті спільнот, теоретично розробляти концепт «історичної пам'яті» [5; 7; 9]. Проблема відродження і збереження історичної пам'яті порушувалась і в рамках окремих регіональних досліджень [6].

Серед ще недостатньо досліджених аспектів цієї проблематики є символи як важливі вияви історичної пам'яті, що визначають її напрями, внутрішні змісти та смисли. Символіка історичної пам'яті зароджується та функціонує в певному історичному часі та просторі, будучи тісно пов'язаною з етнонаціональним, етнокультурним, соціальним, професійним, духовно-релігійним усвідомленням індивідуума та суспільства. Механізми утворення певної системи символів історичної пам'яті залежать тим самим від світоглядних, професійних, морально-

© Світленко С. І., 2016

етичних та інших чинників, які впливають на окремого суб'єкта, групу осіб або суспільство в цілому.

У символах історичної пам'яті виявляється те ключове, основоположне, що обумовлює її змістово-смислову наповненість, визначає відбір імен, подій, явищ, проблемно-тематичних блоків, які стають об'єктами суб'єктивного вибору носія інформації про минувшину. За своїм походженням та внутрішнім змістом символи історичної пам'яті поділяються на «свої» та «чужі», «інші», оскільки суб'єкти історичного процесу діють у складному, багатошаровому й суперечливому, але водночас, у певному сенсі, єдиному часі та просторі.

Життя та діяльність видатного українського історика Д. І. Яворницького, який залишив помітний слід в українському історіописанні та інтелектуальній традиції, вельми перспективні в контексті вивчення проблеми історичної пам'яті. Попри динамічний поступ яворницькознавства впродовж останніх десятиліть, ця тематика ще має значний інноваційний потенціал. Нам вже доводилося зіставляти світоглядні символи по лінії «своє» – «чуже» в контексті вивчення характеру національної ідентичності Д. І. Яворницького [8, с. 30–36]. Дана стаття ставить на меті поглибити уявлення про «свої» і «чужі» символи історичної пам'яті у світогляді та творчій спадщині цього визначного знавця історії запорозького козацтва.

Насамперед, зазначимо, що символи історичної пам'яті є конструктом етнічної та національної ідентичності й самосвідомості її носіїв. Це повною мірою простежується у світогляді та творчій спадщині Д. І. Яворницького, який від діда та батька успадкував свою етнонаціональну належність до українства, яке визначав як «своє», «наше». Так, у листі до історика, журналіста, видавця та першого редактора журналу «Киевская старина» Ф. Г. Лебединцева від 6 травня 1886 р. молодий вчений-дослідник просив, щоб під його статтями стояв підпис: «Д. И. Эварницкий (Д. І. Яворницький)». Цим він хотів наголосити, що є «не лях, а українець» [2, с. 104]. Таке самоусвідомлення Д. І. Яворницького, безперечно, вплинуло на його світогляд та професійну діяльність, зумовило формування і становлення як українського історика. Зміна набутого у школі, «чужого» прізвища «Эварницкий» на «своє» – «Яворницький», як писали себе його прадід, дід і батько [2, с. 109, 247], мала для українського вченого не формально-процесуальне, а глибинне етнонаціональне і суспільне значення з далекосяжними наслідками.

У колективній свідомості української національної інтелігенції (та й не тільки її) Д. І. Яворницький ідентифікувався як український вчений,

нерозривно пов'язаний з Україною. Так, наприклад, археолог-аматор, син сільського вчителя В. І. Чайкін писав про Д. І. Яворницького 19 жовтня 1910 р. як про «великого дослідника Украйни» [3, с. 696, 944–945], а священик М. Цикановський у листі від 8 січня 1912 р. звертався до Дмитра Івановича як до «історика України і малороса» [4, с. 600]. З часом ім'я Д. І. Яворницького саме як українського історика стало знаковим, «своїм» символом інтелектуального українства. Наприклад, священик К. Г. Шарай у листі періоду 1919 р. писав про нього як «свого для нас українців святого ймення» [4, с. 627].

І навіть у драматичні часи комуністичного тоталітарного режиму сучасники усвідомлювали Д. І. Яворницького українським національним істориком, який самовіддано працював на користь Батьківщини-України Приміром, український маляр, поет і письменник Т. С. Котенко згадував про Д. І. Яворницького як про незламного в боротьбі, вояку за українську справу» [3, с. 242, 924], а письменник Г. О. Бабенко у листі від 31 травня 1931 р. писав: «Маю надію, що зараз Ви [тобто Д. І. Яворницький – *С.С.*] почуваєте себе вже добре і працюєте на користь нації і України» [4, с. 23].

Д. І. Яворницький як дослідник зробив цілком певний вибір на користь вивчення історії України, насамперед теренів колишніх Вольностей Війська Запорозького низового, ще у ранній молодості. Саме Україна з її територією, людністю, мовою, культурою, духовністю, звичаями та минувшиною набула характеру одного з ключових символів його історичної пам'яті. Для Дмитра Івановича, як людини і вченого, Україна назавжди стала «своєю», «нашою», «дорогою», «милою» та «рідною», про що багаторазово йшлося в епістолярних джерелах, зокрема в особистих висловлюваннях Дмитра Івановича та його сучасників [1, с. 214; 2, с. 51, 169, 202, 203; 3, с. 20, 108, 913; 4, с. 484].

Вельми прикметним є романтичне зізнання Д. І. Яворницького у листі до громадського діяча, педагога та письменника Г. І. Маркевича від 4 жовтня 1884 р. про те, що «в чистих річкових водах своєї Украйни» він бачив «журливий образ своєї особи…». Не менш промовистою є його фраза у листі до українського письменника, видавця, лікаря, громадського діяча та близького друга К. О. Білиловського від 8 травня 1897 р.: «… і всі мої думки на Україні…», котра вказувала та життєві та професійні орієнтири людини і вченого [2, с. 113, 30].

У свідомості Д. І. Яворницького «своя» Україна асоціювалася з цілою низкою символів-образів, серед яких першорядне місце посідали Дніпро, Хортиця, Запорожжя, степ, пороги тощо, тобто історико-географічні та

природні прикмети земель Вольностей Війська Запорозького низового, або козацького краю. «Якби Ви знали, як я люблю своє Запорожжя і його сердечних сіромах?!», – запитував і водночас стверджував він у листі до Г. І. Маркевича від 4 жовтня 1884 р. і далі називав запорозьку землю священною для себе [2, с. 112]. А громадський діяч А. М. Миклашевський, який підтримував дружні стосунки з істориком козаччини, писав у листі до Д. І. Яворницького 10 червня 1894 р.: «Ми тут, в улюбленому Вами Запорожжі…» [4, с. 443, 813].

У цій системі сакральних символів історичної пам'яті Д. І. Яворницького визначальною категорією був Дніпро, який називався ним «Святим», «коханим». У листі до свого ідейного однодумця, українського фольклориста, етнографа, педагога і громадського діяча Я. П. Новицького від 13 жовтня 1884 р. Дмитро Іванович так визначив свої пріоритетні символи: «Дніпро, степ, пісня, сопілка – ось що для мене вище всього на світі» [2, с. 155, 157, 159, 166]. «Свої» неповторні смисли у словах «Запорожжя, запорожці, Дніпро, пороги, степ!» він перелічував і в дещо пізнішому листі до того ж адресата від 22 січня 1885 р. [2, с. 159]. І все це знаходило підтвердження у згадках сучасників ученого. Наприклад, А. М. Миклашевський у листі до Дмитра Івановича від 16 грудня 1885 р. згадував про Дніпро, що здавна напував своїми водами Запорожжя, як про «фаворита» свого адресата [4, с. 438].

Утім «свій», рідний просторовий світ Д. І. Яворницького не обмежувався лише «милими», «любими», «гарними» його серцю землями Запорожжя. Так, у листі до українського історика М. С. Грушевського від 8 лютого 1900 р. він писав своєму адресату із Москви до Львова: «Нудно мені тут страшенно, і хотів би я податись геть із Москви до Галичини», а у листі до українського літератора, педагога, видавця і громадського діяча Б. Д. Грінченка від 17 червня 1903 р. просив його показати й розповісти одному зі своїх найближчих однодумців, першому офіційному зберігачу Катеринославського музею ім. О. М. Поля В. І. Строменку, «що найцікавого єсть у Києві із *нашої* [виділено нами. – *С. С.*] Гетьманщини і Запорожжя» [2, с. 166, 61, 59, 331].

Почуття щирої любові Д. І. Яворницького до рідної землі були очевидними для його сучасників. Так, близький до молодого історика харківський поет-романтик і громадський діяч Я. І. Щоголев у листі від 24 грудня 1885 р. зичив йому отримати кафедру в Харкові, Одесі або в Києві, тобто «саме там, де Ваша душа» [3, с. 704, 705]. В іншому

листі – від 21 грудня 1886 р. – він же, добре відчуваючи стан Д. І. Яворницького, котрий тоді перебував у Санкт-Петербурзі, писав: «… і гадаю, що Ви дорого б дали, щоб перенестись тепер, хоча б на один день, в українську хату, в українські хутори, в українське село, навіть у напівукраїнський Харків?» [3, с. 710]. Прикметно, що саме того ж дня В. Каплуновський, харківський поет і учень однієї з тамтешніх гімназій, де свого часу викладав молодий історик, присвятив своєму вчителю вірш з вельми симптоматичною назвою – «Украинцу, Дмитрию Ивановичу Яворницкому». В ньому Дмитро Іванович уособлювався з рідною Україною, називався її «сыном верным» [4, с. 291–292]. Отже, у свідомості Д. І. Яворницького «своїми» були різні українські землі, зокрема Запорожжя та Лівобережжя, Слобожанщина та Галичина.

Безперечно, улюбленим краєм рідної землі для Дмитра Івановича було Запорожжя, наповнене славним романтизованим минулим українських козаків – лицарів Східної Європи. Цей соціокультурний, в даному випадку козацький, чинник історичної пам'яті відігравав велику роль у світогляді та діяльності Д. І. Яворницького. Від першої половини 1880-х рр. і на багато десятиліть козацька тематика стала домінуючою у творчості українського історика. Таке стійке прагнення відродити історичну пам'ять про «своє» козацтво було абсолютно органічним для Дмитра Івановича, бо підживлювалося, як він сам писав до Я. П. Новицького 2 грудня 1894 р., «невгасимою любов'ю до того Запорожжя» – «не залить її водою, ні засипать її землею» [2, с. 182].

Неперехідна і всеосяжна любов історика до запорозьких козаків обумовлювалася його чітким усвідомленням їхнього щирого українського патріотизму. Саме це Д. І. Яворницький мав на увазі у листі до українського письменника, драматурга та громадського діяча М. П. Старицького від 31 березня 1898 р., коли писав, «яко казали славні і великі борці за рідну Україну, низові лицарі, запорожці» [2, с. 242]. Безперечно, волелюбність запорозьких козаків робила в очах Д. І. Яворницького землю Запорозької Січі «священною», про що він писав у листі до свого друга, видатного художника І. Ю. Рєпіна 30 грудня 1927р. [2, с. 208].

І цей свободаризм героїв «нашої України» обумовив головний, козацькоцентричний напрям наукових досліджень Д. І. Яворницького. Прагнучи відродити історичну пам'ять про славне запорозьке козацтво, вчений-історик здійснив величезний обсяг евристичної роботи як на місцевості, в ході археологічних та етнографічних експедицій, так

і в різноманітних архівосховищах. Приміром, у листі до Ф. Г. Лебединцева, написаному не раніше листопада 1883 р., він зазначав: «… Дніпро, в межах колишнього Запорожжя… я проїхав раз п'ять». Дещо пізніше, 18 квітня 1884 р. Д. І. Яворницький сповіщав тому ж адресату, що обійшов пішки і обміряв увесь «Низ» уздовж і поперек. Не менш плідними були й тривалі дослідницькі пошуки вченого в архівах. Так, тільки з 22 грудня 1884 р. до 22 лютого 1885 р. він працював в архівах Москви та Санкт-Петербурга, де розшукав й опрацював до 500 запорозьких справ.

Особливу роль у збереженні історичної пам'яті про запорозьких козаків відігравали речові пам'ятки, які збирав Д. І. Яворницький. Зокрема, у листі до Я. П. Новицького від 9 серпня 1886 р. він повідомляв про результати своїх виснажливих і численних мандрівок південною Україною: «Матеріалу набрав величезну кількість, топографію південно-західного Запорожжя бачу, як на долоні. Багато везу з собою і запорозьких речей». Таким чином, до відродження «своєї», української історичної пам'яті Д. І. Яворницький ставився комплексно й системно, не жалкуючи ані сил, ані часу [2, с. 91, 94, 98, 172–173].

Так само багатогранно й комплексно Д. І. Яворницький підходив до відтворення історичної пам'яті про запорозьке козацтва у своїх дослідженнях. Яскравим свідченням цього є його фундаментальна тритомна праця «Історія запорозьких козаків» (1892–1897), котра стала справжньою науковою енциклопедією козацтва, де сюжети «своєї» історії були домінуючими.

У першому томі цієї фундаментальної праці послідовно досліджено терени Вольностей Війська Запорозького низового з погляду історичної географії, гідрографії, топографії, природно-кліматичних умов. У центрі уваги дослідника постали питання діяльності запорозької людності, зокрема число і порядок Запорозьких січей, склад, чисельність, військовий та територіальний устрій запорозького товариства, традиції самоврядності, структура та функції адміністративної та судової влади, одяг, зброя запорозьких козаків, запорозькі військові клейноди. З-під пера Д. І. Яворницького вийшла також характеристика запорозького козака, описи його домашнього життя, церковного устрою, охорони кордонів Запорозьких Вольностей. Світ запорозького козацтва показано в оточенні мусульманських та християнських сусідів, у багатоманітній діяльності козаків: у сухопутних та морських походах, у мирних заняттях хліборобством, скотарством, риболовством, звіроловством, городництвом та садівництвом, торгівлею, промислами та ремеслами.

Окремі розділи стосувалися доходів запорозького війська, його грамотності, канцелярії та шкільництва, поштових установ [10].

Другий том «Історії запорозьких козаків» докладно висвітлював військово-політичну минувшину запорозького козацтва від його перших вождів до 1686 р. Наскрізною сюжетною лінією цієї частини праці є боротьба запорозького козацтва за релігійні та національні права українського народу проти Польщі, Кримського ханства та Османської імперії. Символами історичної пам'яті козацького періоду стали неперехідні цінності запорожців, зокрема такі, як релігійна й національна свобода, політична самостійність, внутрішня самоврядність, давні права, привілеї та вольності, а також «свої» герої – очільники козаччини, у тому числі Дмитро Вишневецький, Самійло Кішка, Іван Підкова, Криштоф Косинський, Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Марк Жмайло, Тарас Федорович (Трясило), Іван Сулима, Павло Бут (Павлюк), Дмитро Гуня, Яків Острянин (Остряниця) [11].

Д. І. Яворницький відмічав, що свобода і самостійність України були цінностями, за які вів тривалу боротьбу проти Речі Посполитої гетьман Богдан Хмельницький. Проти цих ключових цінностей виступила й Московія, яка, прийнявши під свій протекторат Україну й Запорожжя, незабаром виказала прагнення, щоб «знищити всі вільні, адміністративно-судові установи Украйни і незалежне від московського патріарха церковне становище її» [11, с. 186, 192].

У своєму дослідженні Д. І. Яворницький постійно виходив із принципу свободаризму. Саме під таким кутом зору він показав відмінності між гетьманом І. Самойловичем і кошовим отаманом І. Сірком: «Гетьман благо для своєї вітчизни, а головним чином для себе, бачив у повному підпорядкуванні себе і Украйни Москві; Сірко залогом блага для батьківщини вважав незалежність Запорожжя від українського гетьмана і московського царя…» [11, с. 370].

Третій том праці Д. І. Яворницького охопив період складної та драматичної боротьби запорозького козацтва за вищезазначені цінності від 1686 р. до 1734 р. Однією з центральних історичних постатей цього періоду української історії Д. І. Яворницький представив гетьмана І. Мазепу, який, управляючи Украйною, не міг сидіти склавши руки і «віддати її у владу несправедливого утискувача». Учасники виступу І. Мазепи за українську свободу були покарані царем Петром І найжорсткішими методами. Симптоматично, що в подальшому викладі український історик акцентував увагу на діяльності Пилипа Орлика,

який 5 квітня 1710 р., ставши гетьманом, у присутності кошового отамана Костя Гордієнка і послів від запорозького війська, на великій козацькій раді прийняв «договір між запорожцями і малоросійським гетьманом». Ці пакти Пилипа Орлика закріпляли традиції демократії та свободи як українські історичні символи-принципи життя «своєї» батьківщини-України [12, с. 309, 344, 347].

У процесі творчої діяльності над реконструкцією історії запорозького козацтва Д. І. Яворницький настільки «зливався» з темою, «розчинявся» в першоджерельному матеріалі, що начебто уявляв себе справжнім козаком-запорожцем. Це віддзеркалювалося в його псевдонімах, якими вчений-історик підписував свої епістолярії. Так, лист до літератора, історика, публіциста та громадського діяча Д. Л. Мордовця від 29 червня 1896 р. він підписав так: «Кошовий отаман Держі-хвіст-пістолем, він же Байда-Яворницький [2, с. 137]. Козацький образ непересічного дослідника козаччини закарбувався і у свідомості його сучасників-однодумців. Так, активний діяч Петербурзької української громади, один із його найближчих друзів П. М. Саладилов у листі від 17 квітня 1892 р. називав Дмитра Івановича «Вашим козацьким вельможеством і добродійством», а його руку – «власною козацькою» [4, с. 499, 819].

Д. І. Яворницький сформувався і утвердився як український національний історик. Тому цілком закономірно, що в процесі самоусвідомлення для нього «своїм» історико-персоналістичним символом єдиної України достатньо рано став Т. Г. Шевченко. Вчений високо цінував особистість геніального українського поета, розумів великий виховний потенціал його творів, розглядаючи їх у контексті розвитку українського патріотизму у підростаючого покоління. Він приділяв увагу увічненню історичної пам'яті Кобзаря, брав безпосередню участь у Шевченківських вечорах [2, с. 175; 3, с. 331].

Звичайно, в системі символів історичної пам'яті Д. І. Яворницького були присутні не тільки «свої», а й «чужі». Суттєво важливо, що у світогляді та творчій спадщині вченого концепт «чужого» асоціювався, насамперед, з Московією-Росією. Принципово відмінне між Україною і Росією усвідомлювалося ним на ментальному рівні. «От де сторона: шо не шаг, то все новина; – ділився Д. І. Яворницький з Я. П. Новицьким у листі від 16 червня 1887 р. своїми враженнями від тривалої подорожі по Росії, аж від Білого моря, де він відвідав місця, пов'язані з перебуванням останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, – усе там інак, як у нас; дивисся, аж очі роздираєш, а нічого і не второпаєш, поки тоді не роскажуть» [2, с. 176].

Утім, усвідомлення корінної відмінності між Україною і Росією ґрунтувалося у Д. І. Яворницького не тільки на почуттєво-емоційному, психологічному, а й на гносеологічному рівнях, що сформувалося під впливом ретельного вивчення великого масиву першоджерел. Так, у листі до Я. П. Новицького від 16 грудня 1887 р. він писав про свою глибоку ненависть до пройдешньої політики Москви, у якій простежувалося лицемірність, ханжество і разом із тим грубе насильство та безсердечність. Така політика Московії – Росії повною мірою стосувалася Запорозької Січі, а тому в процесі вивчення першоджерел, за його словами, «серце обливається кров'ю» [2, с. 178].

Ключову роль серед «чужих», імперських символів історичної пам'яті у свідомості Д. І. Яворницького посідали російські столичні міста Москва і Санкт-Петербург. Безперечно, вони мали значення не тільки основних історико-географічних, а й визначальних ідеологічних та суспільно-політичних центрів, де конструювалась російська імперська модель історичної пам'яті.

Як свідчить лист Д. І. Яворницького до Я. П. Новицького від 25 січня 1885 р., під час свого перебування у Москві він оглянув Кремль, старі собори, монастирі, боярські будинки, Китай-город, різні музеї, бібліотеки та інші примітні пам'ятки міста, але все це не викликало у нього якихось позитивних емоцій. Інші листи вченого, зокрема до К. О. Білиловського, Б. Д. Грінченка, теж показують, що це місто завжди залишалося для українського історика чужим. Жодного разу Д. І. Яворницький не висловив захоплення першою російської столицею, характеризуючи її за допомогою лише негативних, різких епітетів. Своє перебування у Москві він розглядав як вимушене, тимчасове, яке використовувалося у прагматичних цілях, задля опрацювання численних архівних справ з історії запорозького козацтва, або прочитання в Московському університеті спеціального факультативного курсу «Епоха гетьмана Богдана Хмельницького» [2, с. 27, 50, 54, 55, 85, 160, 161, 178].

Особливого враження не справила на українського історика й північна столиця – Санкт-Петербург, хоча він і ознайомився там із публічною бібліотекою, музейними установами, Академією наук, пам'ятками старовини часів Петра І, Петропавлівською фортецею тощо. «Тут я відірваний від усього, що було миле моєму серцю... Тут ні Січі, ні степу, ні Дніпра, – все далеко-далеко від мене» – писав він Я. П. Новицькому 13 серпня 1885 р. Перебування Д. І. Яворницького, кажучи його словами, у «клятому Петербурзі» супроводжувалося

наростанням в душі дослідника запорозького козацтва почуття «страшної туги», яке гостро контрастувало з образами «свого милого Дніпра» і «свого ненаглядного степу» [2, с. 160–161, 164, 165].

Емоційно-психологічне, морально-етичне та естетичне послідовно позитивне сприйняття «своїх», українських та запорозьких і відверто негативне відторгнення «чужих», російсько-імперських символів, безперечно, помітно впливало не тільки на процес формування і становлення української національної ідентичності Д. І. Яворницького, а й відіграло свою роль у визначенні вченим-істориком наукових пріоритетів. Творча спадщина видатного знавця минувшини запорозького козацтва своїми смислами й тематиками текстів була орієнтована на всебічне відтворення історичної пам'яті про рідну Батьківщину-Україну та її народ. Реалізація такого підходу дозволила Д. І. Яворницькому зробити свій вагомий внесок у справу написання української національної історії. Висвітлення ж «чужих» історичних сюжетів підпорядковувалось у працях ученого кращому розкриттю «своєї», української історії.

1. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 2: Листи діячів культури до Д. І. Яворницького / упоряд. : С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова [та ін.] ; вступ. ст. С. В. Абросимової ; під заг. ред. Н. І. Капустіної. – Дніпропетровськ, 1999. – 460 с.
2. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 4 : Листи Д. І. Яворницького до діячів науки і культури / упоряд. : С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова ; за заг. ред. Н. Капустіної. – Дніпропетровськ, 2005. – 500 с.
3. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 5 : Листи рідних, друзів і знайомих до Д. І. Яворницького / уклад. : С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова [та ін.] ; за заг. ред. Н. Капустіної. – Дніпропетровськ, 2010. – 952 с.
4. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 6 : Листи друзів, приятелів і знайомих до Д. І. Яворницького / уклад. : С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов [та ін.] ; за заг. ред. Н. Капустіної. – Дніпропетровськ, 2012. –848 с.
5. *Єкельчик С.* Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Сергій Єкельчик. – К., 2008. – 304 с.
6. Історична пам'ять Дніпропетровщини : колект. моногр. / наук. ред. проф. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ, 2012. – 476 с.

7. *Колесник І. І.* Українська історіографія: концептуальна історія / Ірина Колесник. – К., 2013. – 566 с.
8. *Світленко С. І.* Дмитро Яворницький: вчений і педагог в українському інтелектуальному товаристві / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ, 2015. – 312 с.
9. *Удод О. А.* Образ «іншого» в становленні української ідентичності / О. А. Удод, М. Ф. Юрій // Харківський історіографічний збірник. – 2015. – Вип. 14. – С. 54–75.
10. *Яворницький Д. І.* Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. І. Яворницький ; голова редкол. П. С. Сохань . – К., 1990. – Т. 1. – 592 с.
11. *Яворницький Д. І.* Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький ; голова редкол. П. С. Сохань . – К., 1990. – Т. 2. – 560 с.
12. *Яворницький Д. І.* Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький ; голова редкол. П. С. Сохань. – К., 1991. – Т. 3. – 560 с.

Светленко С. И. «Свои» и «чужие» символы исторической памяти в мировоззрении и творческом наследии Д. И. Яворницкого

В статье раскрыто содержание «своих» и «чужих» символов исторической памяти в контексте изучения мировоззрения и творческого наследия выдающегося украинского историка Д. И. Яворницкого. Показано, что символика исторической памяти зарождается и функционирует в определенном историческом времени и пространстве и тесно связана с этнонациональным, этнокультурным, социальным, профессиональным, морально-этическим и духовно-религиозным сознанием индивидуума и общества. Акцентировано внимание на значении символов исторической памяти для утверждения исторической и национальной идентичности.

Ключевые слова: символы, историческая память, мировоззрение, творческое наследие, Д. И. Яворницкий.

Svitlenko S. I. «Insaid» and «Alien» Symbols of Historical Memory in D. I. Yavornytsky`s Worldview and Intellectual Heritage

The author explores the meaning of «own» and «alien» symbolism of historical memory in the context of the great Ukrainian historian D. I. Yavornytsky`s worldview and intellectual heritage. It is proven that the symbolism of historical memory, which is born and operates in a particular historical time and space, is closely linked to ethno-national, ethno-cultural, social, professional, moral and ethical, spiritual and religious consciousness of a person and a society. It is emphasized that the symbolism of historical memory plays a special role in restoration of the historical and national identities.

Keywords: symbols, historical memory, world view, intellectual heritage, D. I. Yavornytsky.

«СВОЄ» Й «ЧУЖЕ» В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ'ЯТІ

УДК 930.2:821.112.2–94.09:[32+008](470+571)

С. И. Бобылева

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ НЕМЕЦКОЙ ДОМОХОЗЯЙКИ КАК МЕДИУМ ПАМЯТИ

В статье рассматривается восприятие событий конца XIX – начала XX вв. немецкой колонисткой Эльзой Клюдт, выраженное в ее «Дневнике». В целом дневниковые записи представляют информацию о жизни в немецких колониях и семьях немецких колонистов. Основная часть «Дневника», посвящена событиям Первой мировой войны и периоду гражданской войны, особенно тем событиям, которые происходили на юге украинских земель. Эльза Клюдт, будучи глубоко религиозной женщиной и женой пастора, отмечала на страницах «Дневника» не только политические события, но и ментальные изменения в среде немецких колонистов, происходящие под влиянием социальных, политических и экономических факторов в эпоху революции и гражданской войны.

Ключевые слова: Эльза Клюдт, «Дневник», память, Гражданская война, революция.

Маленький человек со своим микромиром, являющийся органической частью макромира. Личность – психосоциальный феномен. Она является не только «вещью в себе», но и производит акты, интенционально направленные на другие личности. Процесс формирования личности носит не одномоментный характер и имеет многоуровневую структуру. На неё оказывают серьезное влияние семья, церковь, окружающая среда, национальные традиции, генетическая память и другие факторы. В данной статье речь будет идти об Эльзе Клюдт, уроженке Вюртемберга, жене пастора, которая в начале XX века проживала в ряде немецких колоний на территории южных губерний Российской империи, а с середины 30-х годов в южных областях УССР.

Прежде чем перейти к предмету нашего исследования, следует несколько слов сказать о памяти. В настоящее время в гуманитаристике широко используются понятия «память» и «идентичность». К этим понятиям довольно часто обращаются не только историки, но и политологи, социологи, политики. Еще в 20-х гг. прошлого века французские социологи проявили интерес к социальной памяти.

© Бобылева С. И., 2016

Именно тогда, благодаря Моррису Хальбваксу, память получила наряду с психологическим, и социологическое определение. Французские исследователи утверждали, что личность может воспринимать действительность и понимать ее лишь в контексте своей социальной группы, семьи. Память понималась ими, как восприятие общественного явления, не имеющего временных и территориальных границ. Однако на протяжении последующих десятилетий эти идеи не были востребованы. Фактически прошлое продолжало интерпретироваться исследователям и посредством таких категорий, как: традиции, наследие, историческая обусловленность, социальная мифология.

Своеобразный перелом в понимании сути памяти произошел в 1960-х–1980-х годах и был связан с появлением книги Е. Шилза «Традиция» (1981), сборника статей «Изобретение традиций» (1983), под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера, а также работ польских и советских историков и социологов (Е. Топольского, М. А. Барга и др.).

В то же время, как отметил Н. Копосов, автор книги «Память строгого режима», обращение к мемориальному дискурсу было обусловлено политическими обстоятельствами [8]. Именно тогда термин «память» начал претендовать на статус ключевого концепта новой парадигмы современного социогуманитарного знания [10, с. 30]. Тогда же во весь голос заявила о себе концепция культуры как коллективной памяти, предложенная московско-тартуской семиотической школой [9]. Конец 1980 – начало 1990-х годов ознаменовались выходом в свет первого номера американского журнала «History&Memory» и реализацией проекта «Место памяти», выполненного под руководством П. Нора.

Немецкий культуролог А. Ассман, анализируя сложившуюся ситуацию, сделала вывод о том, что происходит процесс рождения новой парадигмы науки о культуре. Таким образом, формирование memory studies стало проявлением «антропологического поворота» в современной гуманитаристике, когда сама историчность трактуется как «антропологичная универсалия, регулирующая ментальные операции. …и опирающаяся на историческую память» [2].

Проблемное поле memory studies сегодня неуклонно расширяется. Однако начало исследований было связанно именно с изучением наций и национальной идентичности. В нашем случае речь пойдет об идентичности отдельной личности, ее этнической, конфессиональной, гендерной составляющих. Личности, испытывавшей в определенной степени кризис идентичности, связанный с «изменением социальной

ситуации её жизни, сменой реальных позиций в социальной среде и необходимостью соответствовать новым требованиям, предъявляемым обществом» [12, с. 465]. Эти новые требования были обусловлены периодом рубежа XIX–XX веков, определяемым В. Шубартом «как междувременье, апокалипсические моменты в жизни человечества» [5, с. 5]. Подобной оценки придерживался и Н. Бердяев: «Мы живем во времена грандиозного исторического перелома. Началась какая-то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития существенно меняется. Он не таков, каким был до начала мировой войны и последовавших за мировой войной русской и европейской революцией, – он существенно иной. И темп этот не может быть назван иначе как катастрофическим. Открылись вулканические источники в исторической подпочве. Все заколебалось…» [1, с. 4].

Целью данной статьи является исследование исторической памяти немецкой женщины, как носительницы немецкой культуры, в социокультурных условиях ее времени.

Основным материалом для осуществления такого анализа стали оказавшиеся у нас копии дневниковых записей членов немецкой семьи Клюдтов. Архив семьи Клюдтов представляет собой коллекцию из материалов семейной хроники, мемуаров и дневниковых записей. Все документы имеют оригинальный характер, написаны живым языком, и снабжены многочисленными комментариями и ссылками. Эти комментарии довольно подробные, что позволяет предположить, что их сделал человек с высшим гуманитарным образованием.

Рассматриваемые нами материалы принадлежали известному деятелю евангелического движения на юге Украины Симону Клюдту и его жене Эльзе Клюдт, урожденной Керхер. Они охватывают период с середины XIX века до 1970 г. Записи Симона Клюдта дают богатейший материал по истории евангелического движения на Юге России, религиозной жизни и быта Германии и Швейцарии. Дневники Эльзы охватывают гораздо больший период (она пережила свого мужа на 40 лет). Они более подробны (практически ежедневные записи) и отличаются остроумной наблюдательностью. В записях и «Дневнике» Эльзы имеется материал о Германии и России конца XIX – начала XX вв., о событиях периода революции и гражданской войны, сведения о первых годах советской власти, коллективизации, репрессиях, депортации немцев на Урал. Интересны описания методов работы с населением карательных органов, отношений немцев и местного населения.

Несмотря на то, что многие изложенные факты требуют серьезного изучения и научно-исторических комментариев, в литературном отношении тексты, обработанные Эльзой, практически безупречны.

Архив семьи в целом охватывает период с конца XVII века до 1973 года. Судя по замечаниям в тексте, существовали и более ранние семейные хроники Клюдтов, утраченные к моменту переселения их в Россию. Ранние документы в оригинале написаны готикой, а затем переведены Эльзой обычным почерком. На русский язык материалы переведены её детьми.

Части рукописи:

I Фридрих Август Клюдт (1811-1897) – 54 страницы

II Еще кое-что о дедушке Августе Клюдте – 25 страниц

III Записи и «Дневник» Эльзы – 203 страницы

Материалы рукописей позволяют изучить хозяйственную деятельность членов семьи Клюдт, участие их в политической и общественной жизни страны, культурно-религиозную жизнь, внутрисемейные отношения.

Материалы дневниковых записей Эльзы можно рассматривать сквозь призму теории «принудительной нормализации» Мишеля Фуко и концепции «изменений коллективной идентичности» Альберто Мелуччи [См. 13; 14]. «Принудительная нормализация» предполагает три взаимосвязанные фазы: концепция, реализация, результат. Каждая из них отражает главные моменты технологии изменения идентичности, когда возникает ее новый стандарт (новый политический, социально-экономический, культурно-лингвистический норматив); возникают новые границы и новая социальная иерархия; внедряются новые групповые ценности (через образование, пропаганду, труд…). Эти теоретические построения могут стать своеобразной матрицей для понимания сути явлений, изложенных в дневниковых записях Эльзы Клюдт.

Дневниковые записи Эльзы Клюдт, были продолжением семейной традиции Клюдтов. Но если ранее записи семейной хроники были делом мужской части семейного клана, то теперь перо оказалось в руках женщины. И она оказалась способна через семейную хронику, описание быта семьи, отношений в колонистской среде выйти на проблемы понимания истории, социума и политики. Необходимо отметить, что часть этой рукописи была написана позже и представляет собой по сути воспоминания, а не дневниковые записи.

Тексты Эльзы Клюдт имеют очевидную гендерную специфику. Этот материал дает представление не только о быте рядовой семьи в Вюртемберге, о явлениях урбанизации в германских землях, но и фиксирует положение женщины, на достаточно широком «полотне» событийной истории Германии 1890-х гг. Речь идет о тех нормативных кодах, которые предписывались обществом для женщин; идеалах женской скромности, строгости воспитания, возможностях получения образования, подходах к выбору брачного партнера, рамок приемлемой деятельности [6, с. 58].

Записи Эльзы о своем детстве и отрочестве свидетельствуют о ее литературных способностях. Она не просто фиксировала события и свое место в них, а подробно создавала почти зримую картину немецких городов, улиц, домов, транспортных средств тех лет. Это позволяет нам «пройти» по улицам Штутгарта, Берлина начала XX века. Такая детализация происходившего в обществе (в Германии и позже в России), позволяет ощутить, как окружающая среда и обстоятельства жизни повлияли на изменение характера этой незаурядной женщины.

Эльза вышла замуж в Германии за Симона Клюдта, приехавшего в Швейцарию и Германию, получить соответствующее религиозное образование. И уже вместе с ним приехала в Российскую империю. Проживая в немецкой колонии, посещая родственников мужа в других колониях, у нее не было необходимости в овладении языком жителей соседних украинских и русских сел. На начальном этапе это не вызывало затруднений. Такая ситуация обусловила отсутствие в дневнике сюжетов, описывающих культурное взаимодействие, взаимовлияние рядом живущих народов, оценок традиций, обычаев автохтонного населения. Проживая в немецкой колонистской среде, она отмечала появление новых черт религиозной обрядности, которые в самой Германии отсутствовали. Например, Эльзу раздражала практика целования прихожан в Рождественский сочельник. Она считала, что, это можно «сравнить иногда с поцелуем Иуды».

В первой части «Дневника» мы часто встречаем её обращение к Богу, цитирование Библии, религиозных четверостиший. Рождение каждого ребенка (а Эльза родила восьмерых детей, двое из которых умерли в младенческом возрасте) сопровождалось благодарением Богу за посланное чадо. Но и смерть детей в записях «Дневника» также была отмечена ссылкой на Библейский текст. Безусловно, это не было проявлением чистой формальности. Будучи женой пастора, она

отличалась большой религиозностью, что было вполне естественно. Ведь даже в девичестве она мечтала выйти замуж за священника. В тоже время в ней отсутствовал религиозный фанатизм. Скорее всего по записям можно отметить ее протестантский практицизм, проявлявшийся в обыденной жизни, в отношении к сложностям, возникавшим у мужа (Симона Клюдта) с прихожанами. Рождение каждого ребенка, а она была прекрасной матерью, являлось для нее своеобразным членением жизненного цикла. Многие страницы «Дневника» касаются бытовых подробностей, событий в семье, повседневности колонистского общества. Конечно, эти свидетельства субъективны и преломляются через жизненный опыт самой Эльзы. Появление столь подробных записей свидетельствует не только о желании автора выразить свое Я [11, с. 19], но и является свидетельством душевного одиночества, когда Эльзе хотелось философски рассуждать, оставаясь наедине с собой. И это при том, что у нее были прекрасные отношения с мужем, большая дружная семья. Очевидно, этот семейный «мир» для ее души был узок. Её душевное настроение как раз и находило свое выражение на страницах «Дневника». Начавшаяся Первая мировая война стала величайшей трагедией в мировой истории. Что же касается Эльзы, то известие о войне было воспринято ею как крушение мира, ниспровержение привычных ценностей. Довоенный же мир стал восприниматься пасторально-идиллическим «Раем». В то же время Эльза оценила войну объективно: «Все люди не хотят войны, а все равно она идет» [4, с. 48], что свидетельствует в пользу утверждения, что «травма – это не просто патология, но и способ или попытка выражения истины» [7, с 561]. Одновременно, на примере текста «Дневника» Эльзы Клюдт можно проследить изменения отдельных черт немецкой ментальности.

Если перечислить черты национального характера немцев, которые неоднократно отмечались современниками, а ими были: основательность, опрятность, точность, принципиальность, педантичность, честность, экономность, трудолюбие, хладнокровие, чувство собственного достоинства [3, с. 183], то в характере нашей героини все они явно присутствовали. Так, она приводит (и не однократно) данные о стоимости ряда продуктов питания и предметов первой необходимости. Причем цифры позволяют построить своеобразную диаграмму роста цен от начала 1914 года, практически, до окончания Гражданской войны. Для немки, с её тяготением к порядку, размеренности жизненного уклада, война стала катастрофой, тем более,

что все происходившее сопровождалось и социально-экономическими потрясениями. Эльза была не совсем обычной немецкой домохозяйкой, жизненный мир которой был ограничен тремя «К» – «кухня, киндер, кирха». Она представляла собой новый тип женщины, придерживающейся феминистских взглядов. Эльза проявляла большой интерес к политическим процессам, проходившим в стране, она следила по немецкоязычной прессе за событиями на фронтах как на Западном, так и на Кавказском, отмечала недостоверность газетной информации, замалчивание ряда важных событий, искажение фактов. Эльза отмечала изменения, начавшие происходить в российском обществе с началом войны. Она описывает проведение антинемецкой кампании, нашедшей свое выражение в запрете немецкой прессы, переименовании названий, вывесок на немецком языке, запрете церковной проповеди на нем. При этом Эльза отмечает и изменение отношения к немцам на уровне межличностных отношений. Она пишет, что люди стали реже приходить друг другу в гости из-за боязни доносительства со стороны соседей о нарушении языковых ограничений. Возможно ли говорить о том, что данные явления ознаменовали трансформации национальной идентичности?

Политические события, связанные с крушением монархии, распадом империи, Гражданской войной получили своеобразную оценку автора дневниковых записей. По поводу последней она записала: «Льется кровь братьев» [4, с. 58]. Эльза с самого начала периода политических потрясений стала отмечать серьезные изменения в среде колонистской общины. Менялись нормы и модели человеческого поведения в травматически меняющемся мире. Автор дневниковых записей отмечала кризис религиозности («люди больше не спрашивают о Боге»), фиксировала факты экономического расслоения, описывала жизненные стратегии безземельных жителей, готовых для изменения своего положения привлекать представителей новой власти. Эльза описывала процесс создания «Комнезама», во главе «с самым безалаберным, почти похожим на бродягу, Иоганнесом Лайтером», а также Революционного Комитета «в который вошли самые большие негодяи, получившие права распоряжаться жизнью и смертью»[4, с. 58]. Автор высказывала сомнения по поводу возможности восстановления порядка в стране. Она пишет: «Как будет – неизвестно. Подчинится ли народ. Он не привык к порядкам и необуздан». Частая смена власти, происходившая в те годы, нестабильность и ее последствия – все это отразилось на

страницах «Дневника». Много страниц посвящено махновщине. Свидетельства Эльзы о бесчинствах сторонников Махно противоречат ныне существующей точке зрения о позитивном отношении Махно к немецким колонистам. Так, она пишет: «Махно мучил, резал, насиловал, но Симону (мужу) он ничего не сделал, а Сталин его убил». Само по себе это замечание говорит о многом. Сделано оно было уже в послевоенный период, т. е. после 1945 г. Следовательно, Эльза возвращалась к своим записям спустя почти 30 лет. Таким образом, дневниковые записи содержат и элементы воспоминаний. Сын Эльзы, Гильмар, который переводил записи на русский язык, заметил, что пять страниц рукописи вырваны составительницей, возможно из-за боязни за семью, в случае если «Дневник» попадет в чужие руки. При этом Гильмар записал: «Жаль, ведь это сама история».

Интересны оценки Эльзы Германии, а также немецкой армии, в том числе и во время её присутствия на Украине. Ей – немке, чье формирование как личности прошло в Германии, оказавшейся волею судьбы в другой стране, было очень трудно давать такие оценки. Происходило фактически раздвоение сознания в восприятии политики Германии и её армии. В одном случае, Эльза описывает жестокость немцев в отношении тех русских, которые проживали в Германии к началу войны, в другом, заявляет о, якобы, проявлении такта немецкой стороной в ходе революционных событий в октябре 1917 года: «У германцев столько такта, – пишет она, – что оставили русских в покое, пусть сами себя расчленяют» [4, с. 51]. Записи велись практически ежедневно и это позволяет проследить изменение тональности характеристик, даваемых Эльзой, немецкой армии. Так, 22 апреля 1918 г., она пишет, что в селе (Нойгоффнунг – Ольгино) гостили немецкие солдаты. В церкви и на кладбище играл духовой оркестр. Они присутствовали на сельской свадьбе Якова Шолля и Алиции Вольф, где опять играл оркестр и производились ружейные салюты. Но уже 14 мая речь шла об изъятии продуктов для Германии в счет покрытия трех Германских государственных займов и вооруженной охране, сопровождавшей 18 подвод с продовольствием. И, наконец, 15 декабря 1918 года она записала в своем «Дневнике»: «Мы замечаем, что германцы опять убираются с Украины» [4. с. 61]. Терминологические нюансы прекрасно иллюстрируют смену оценок автора.

Продразверстка 1920 г. и голод 1921–1922 гг. ярко проявили национальные черты характера Эльзы и те изменения, которые

произошли в ней самой, и в среде немецких колонистов. Подробно перечисляя запасы продовольствия в семье на конец 1919 года, она как бы сообщает нам о том, что предстоящий год можно было пережить. Но наступивший год, принес новые испытания. В немецких колониях, как правило, раньше не было нищих, там всегда присутствовала взаимовыручка. Но времена менялись и, зачастую, люди изменялись далеко не в лучшую сторону. Влияние травматического опыта войны на массовое сознание проявилось в его милитаризации, в радикальном изменении моделей поведения. Участились ночные грабежи на почве нехватки продовольствия. Эльза Клюдт не исключала вероятности участия в них малоимущих жителей своей немецкой общины. Часть населения начинала утрачивать религиозные чувства и морально-этические качества. Ею отмечались проявления стихийного атеизма. Так, сапожник Эдуард Майер грозился убить пастора Симона Клюдта. Появилось доносительство, усилились чувства зависти и злобы. Это побуждало некоторых колонистов писать доносы даже на пастора. Эльза отмечала, что в семью, где было шестеро детей и летом ожидалось появление еще одного, зимой 1920 г. пришли не просто за хлебом, а явились по доносу прихожан прихода Симона Клюдта. Об этом пастору на смертном одре признался один из составителей этого доноса. Эльза пишет, что раньше она отдавала деньги, драгоценности, золото, приходившим с целью конфискации анархистам, большевикам, махновцам и казакам без проявлений сильных эмоций. И никогда не плакала. Но в 1920-м г. происходившее осознавалось ею как абсолютная трагедия семьи, она расплакалась, молила, просила.

С учетом черт немецкой ментальности по-особому воспринимается поступок Эльзы, когда она, до прихода комнезамовцев, спасая хотя бы малую толику продуктов, наполнила детские матрасы ячменём, несмотря на возражения мужа. Этот поступок не укладывался в нормальные рамки поведения немки, однако она пошла на это, спасая тем самым своих детей. Припрятанное ею зерно, спасло семью летом и осенью 1920 года. Мотивация поведения людей даже в одной семье могла быть разной. Так, Эльза пишет, что находившуюся в их сарае кукурузу, почему-то не забрали и Клюдты обменивали её на пшеницу, вес на вес. «Люди и больше бы дали, – пишет она, но Симон этого не хотел». Если Эльза руководствовалась материнским инстинктом, заботясь о сохранении потомства, то для Симона Клюдта нравственные понятия были выше существующих обстоятельств. В данном случае речь идет о примере механизма принятия решения членами одной

семьи, обусловленности происходившего, выборе решений, мотивах которыми они руководствовались [13, с. 68].

Тем не менее семья пыталась хоть чем-то помочь бедствующим, ибо в селе было к тому времени уже 50 умерших от голода. Так, к Клюдтам периодически приходила обедать семья Рау: отец и две дочери. Одна из них, Елена, рассказывала, что дома у них ели кошек и собак, но ей ничего не дали. То есть в немецкой семье, где традиционно было особое отношение к детям, голод довел её членов до того, что они лишали своего же ребенка куска кошатины.

Что касается самих Клюдтов, то они вынуждены были закрывать дверь и завешивать окна, когда садились кушать. Трудно себе представить душевное состояние добропорядочной матери, дающей похлебку своим детям в то время, когда за завешенными окнами умирали дети соседей. Интересно восприятие Эльзы большевиков, и новой власти. В одном случае она пишет: «Большевики уже в Екатеринославе. Будет худо, если они прийдут. Они всё заберут, что найдут» [4, с. 63]. В «Дневнике» даётся нелицеприятная оценка поведения Михаила Фрунзе, штаб которого находился в доме Клюдтов. Однако необходимо отметить, что ранее семья прятала «одного красного, который был делегатом от красного правительства Екатеринослава». Эльза высоко оценивала деятельность Ленина и политику НЭПа, введение которой приписывала лично ему.

Таким образом, нами был проанализирован материал, содержащийся только в первой части «Дневника». Борьба с религией, антирелигиозная пропаганда в школе, коллективизация, репрессии, депортация на Урал и в Сибирь в период Великой Отечественной войны, послевоенная история семьи вплоть до 1970 г. – обо всем этом идет речь во второй части «Дневника».

Анализируя материалы «Дневника» Эльзы Клюдт, мы исходим из мнения, высказанного Мишелем Фуко о том, что историческая наука не занимается описанием эпохи, она анализирует феномен разрыва, феномен переходов в истории, представляющий смену исторических циклов. Действительно, годы рубежа XIX – начала XIX веков стали временем, когда началась новая эпоха, характеризующаяся иной картиной мира. Фактически, все происходившее можно скорее назвать не переходом, а разрывом. Динамизм происходивших политических, экономических, социальных, религиозных изменений на территории Украины в рассматриваемом нами время, порождал в сознании людей состояние, определенное Э. Тоффлером, как «футурошок» [Цит. по: 12, с. 15].

В заключении можно подвести некоторые итоги. Эльза Клюдт, безусловно, являлась носителем национальной памяти. Ее «Дневник» представляет собой уникальный источник для рассмотрения трансформации национальной идентичности немки, проживающей вне Германии. Анализ дневниковых записей позволяет сделать выводы о том, что в условиях мирного существования немецкие колонисты продолжали сохранять свои культурно-национальные традиции. Однако период социальных катаклизмов стал серьезным испытанием для культурной идентичности нашей героини. При этом на изменение оценок Эльзы Клюдт в большей степени влияли не столько эпохальные события, сколько изменения, происходившие в среде немецких колонистов: мутация духовно-ценностных ориентиров, социальное противостояние, что разрушало саму национальную идентичность, превращая зачастую «своих» в «чужих».

1. *Бердяев Н.* Смысл истории / Н. Бердяев. – М., 1990.
2. *Васильев А.* Memory studies: единство парадигмы – многообразие объектов (Обзор англоязычных книг по истории памяти) / Новое литературное обозрение .– 2012, № 117. – С. 461–480.
3. *Вишленкова Е.* Визуальное народоведение империи или увидеть русского дано не каждому / Е. Вишленкова. – М., 2011.
4. Дневник Эльзы Клюдт / копия, имеющаяся у автора, была предоставлена внуком Эльзы Клюдт, Вольдемаром, в 1993 году [Рукопись]. – 203 с.
5. Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах / отв. ред. Н. А. Хренов. – М., 2002. – 467 с.
6. История через личность: Историческая биография сегодня / под ред. Л. П. Репиной. – 2-е изд. – М., 2010. – 720 с.
7. *Карут К.* Трама, время и история / К. Карут // Травма пункты. – М., 2009. – С. 561–581.
8. *Копосов Н.* Память строгого режима: История и политика в России / Н. Копосов. – М., 2011. – 320 с.
9. *Лотман Ю. М.* Тартуско-московская симеотическая школа / Ю. М. Лотман. – М., 1994. – 556 с.
10. *Малинова О. Ю.* Россия и «Запад» XX века: Трансформация дискурса о коллективной идентичности /О. Ю. Малинова. – М., 2009. – 190 с.
11. *Фукс-Хайнритц* В. Биографический метод / Вернер Фукс-Хайнритц // Биографический метод в социологии: История, методология и практика / ред. коллегия Мещеркина Е. Ю., Семенова В. В. – М., 1994. – С. 90.

12. *Хренов Н. А.* Опыт культорологических интерпретаций переходных процессов / Н. А. Хренов // Субъект во времени социального бытия: историческое выполнение пространственно-временного континуума социальной эволюции / А. С. Ахиезер, А. В. Бездидько, З. И. Галич, И. В. Кондаков, Э. В. Сайко [и др.] / отв. ред. Э. В. Сайко. – М., 2006. – 598 с.
13. *Foucalt M.* Discipline and Punish. The birth of the Prison / M. Foucalt. – Harmondsworth, 1979.
14. *Melucci A.* The process of collective identity / A. Melucci // Social movements and culture. / ed. by H. Johnson, B. Klaudermas. – Minneapolis, 1995. – P. 41–63.

Бобилєва С. Й. Щоденникові записи німецької домогосподарки як медіум пам'яті

У статті розглядається сприйняття подій кінця XIX – початку XX ст. німецькою колоністкою Ельзою Клюдт, висловлене на сторінках її «Щоденника». У цілому щоденникові записи надають інформацію про життя в німецьких колоніях та родинах німецьких колоністів. Основна частина «Щоденника» присвячена питанням Першої світової війни та періоду громадянської війни, особливо тим подіям, які відбувалися на півдні українських земель. Ельза Клюдт, яка була релігійною жінкою та дружиною пастора, на сторінках «Щоденника» відзначала не тільки політичні події, але і ментальні зміни у середовищі німецьких колоністів, що відбувалися під впливом соціальних, політичних та економічних факторів в епоху революції та громадянської війни.

Ключові слова: Ельза Клюдт, «Щоденник», пам'ять, Громадянська війна, революції.

Bobyleva S. I.The Cerman Housewife`s Diary Entries as the Medium of the Memory

In this article, the perception of the events in the end of 19th – early 20th centuries by Elsa Klyudt, a German, native of Württemberg is analyzed. The article is based on her diary entries. These materials represent the life in German towns in the last third of XIX century, traditions and the life of German families of those years. The bulk of Elsa's records refer to a difficult period during the First World War and the Civil War, specifically to the events that took place in the South of Ukraine. Elsa Klyudt, being a deeply religious woman and wife of Pastor Simon Klyudt, pedantically registered in the pages of her "Diary" not only political events, which were developing in German colonies with kaleidoscopic speed, but also the mental changes in the German towns under the influence of the social, political and economic change during the Revolution and civil War.

Keywords: Elsa Klyudt, "Diary", memory, civil war, revolution.

УДК 94(470+571)"189/191":[316.47:172.15]

Н. В. Венгер

НИЗОВОЙ НАЦИОНАЛИЗМ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОЗДНЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ЭМОЦИОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ «НЕМЕЦКОГО ВОПРОСА»

В статье представлена версия эмоционологического анализа «немецкого вопроса» – одного из проявлений российского националистического дискурса. Автор анализирует причины появления эмоциональной группы приверженцев данной социальной проблемы, этапы, особенности и перспективы её развития.

Ключевые слова: «немецкий вопрос», немецкая колонизация, российский националистический дискурс, эмоциональная группа, поздняя Российская империя.

Обоснование темы. Один из классиков национализма Э. Геллнер характеризовал предмет своего исследования как феномен, имеющий эмоциональную составляющую [17, с. 292]. Подобные наблюдения содержатся в работах и других, как известных (Ю. Хлебовчека [47]), так и менее именитых исследователей (Б. Шейфера [51, с. 6]). Данные суждения теоретиков национализма предзадают представления о том, что изучение эмоционального наполнения событий, которые могут быть ранжированы как проявления национализма, выполняет не служебную, но базовую функцию в их реконструкции. В данной работе будет предпринята попытка использования когнитивных свойств эмоционологического анализа для понимания «немецкого вопроса» как структурного элемента российского националистического дискурса второй половины XIX – начала XX в. При том, что отдельные сюжеты и проявления, связанные с изучением «немецкого вопроса», ранее находили отражение в работах отечественных и зарубежных авторов [3; 9; 19, с. 163–194], без исследования психологического сопровождения данного феномена, его эмоциональной направленности (валентности) и индивидуальных переживаний достичь полного понимания явления, его метафизики и событийно-логической динамики не представляется возможным.

© Венгер Н. В., 2016

«Немецкий вопрос» – одно из проявлений общественной жизни поздней Российской империи, система отношений, идеология и политика, которые сформировались в государстве в результате колонизации (последней трети XVIII – начала XIX вв.) и дальнейшего развития этнического потока, представленного немецкоязычными группами – католическими, лютеранскими и меннонитскими общинами. Как этапное явление [12], немецкий вопрос нашёл отражение, пожалуй, на всех уровнях и во всех сферах общественной жизни: в идеологии и политике, на уровне межэтнических и межрегиональных отношений, межличностных бытовых коммуникациях.

По определению Э. А. Позднякова, низовой (бытовой) национализм – это проявление националистических чувств как на уровне личности, так и малых социальных групп [38, с. 56]. Данный исследователь заметил, что, чем ближе к бытовому и этническому национализму находится какое-либо событие (психологи используют понятие «социальное событие» [27]), тем в большей мере проявляются в нем психологические моменты, что, следовательно, определяет связь данного прецедента с конкретной личностью, её эмоциями, настроениями и убеждениями.

Продолжая рассуждения Позднякова, заметим, что проявления бытового национализма не являются исключительно индивидуальными. Явление обретает масштаб социального феномена тогда, когда устремления множества людей, их поведенческие проявления суммируются в некоторое единство человеческих поступков и настроений, создавая заметный фон – психологическую ситуацию, окрашивающую социальное бытие. Таким образом, наши предположения основываются на том, что бытовой (низовой) национализм выражался в определённом психологическом состоянии, ауре, общем эмоциональном фоне, который являлся проявлением отношения отдельной личности и её социальной группы к актуальной общественной проблеме (в нашем случае, «немецкому вопросу»). При этом эмоциональный фон проявляет себя как определённый психолого-социально-культурный конструкт, сопровождающий бытовые коммуникации. Следует также предположить, что на формирование данного конструкта могли повлиять как личные коммуникативные компетенции (1), возможность заимствования ранее возникшего и перешедшего в архетип общественного опыта (2), так и политически пропагандируемая и, возможно, целенаправленно насаждаемая государством идеология (3).

Предварительные пояснения. Историческая эмоционология является одной из новых областей исторических исследований [16]. Несмотря на априорное признание того, что эмоции и порождающие их практики исторически и социально обусловлены, несмотря на предложенную рядом авторов методологию и терминологию, в современной эмоционологии, как выразилась Е. Трубина, всё ещё «должно быть много сделано для прояснения понятий и уточнения линий влияния» [43]. В связи с этим автор данной публикации, с одной стороны, чувствует себя достаточно свободно в выборе подходов к исследованию и дальнейшей интерпретации результатов, а с другой – осознает необходимость дальнейшей верификации полученных выводов, оценивая их как весьма скромную попытку нащупать «метод», понять его инструментальную применимость к изучению избранной проблемы. Большинство исследователей в качестве материала для эмоционологического анализа выбирают текст / жест / физические проявления. Нам представляется не менее важным использование свидетельств, связанных с поступками и действиями как отдельных личностей, так и социальных групп, которые в не меньшей степени отражают эмоциональный фон социального события.

Системообразующим фактором психологической ситуации низового национализма является личность – её эмоции[1] и свойства, актуализированные в определённый момент. Индивид является одновременно и репрезентантом собственной личностной уникальности, и представителем определённой социальной группы. Эмоции обладают свойством распространения – «заражения», что вызывает автоматическое подражание и синхронизацию действий отдельных индивидуумов [2]. Именно данное качество явления позволяет предположить, что координация психолого-эмоционального состояния отдельных личностей способна привести к формированию *социальной эмоции* как общей психологической волны, объединяющей субъектов социального события в определённой ситуации (например, радость, злость, гордость и так далее). В отличие от индивидуальных эмоций, свойственных отдельной личности, являющихся скорее реактивными процессами, *социальные эмоции* – идеальные образования, требующие времени формирования. Они, как нам видится, возникают в результате

[1] Эмоция – непосредственное психическое отражение отношения к явлениям окружающей действительности и собственным состояниям, представляющее целостное единство его вегетативных и когнитивных компонентов [См. 44].

«взаимозаражения» и последующего закрепления психологического состояния в обществе. Исходя из определения *социальной эмоции, эмоциональный фон* следует понимать как совокупность эмоций, проявляемых обществом в определённой исторической ситуации.

Психологи поясняют, что эмоции обслуживают естественные потребности человека и зависят от них [45]. Между эмоциями и потребностями существует логическая связь. Так, удовлетворение потребности вызывает положительные эмоции[1], их блокирование – негативные. Если же объект (носитель эмоции) не рассматривает субъект (источник) как явление, связанное с его потребностями, возникают эмоции нейтральной валентности. Лишение возможности удовлетворения основных потребностей приводит человека/общество к депривации (состоянию недовольства), которое нередко переходит в агрессию. Агрессия может иметь эксплицитный характер, направленность во внешнюю среду, на объект, который является виновником депривации. В случае, если индивид / социальная группа не может разобраться в сути происходящих событий, их гнев устремляется в ложном направлении – в сторону случайного объекта, не имеющего отношения к конкретной ситуации. Данная реакция является одним из самых частых проявлений низового национализма.

Таблица 1.Перечень наиболее часто проявляемых (основных) эмоций[2]

Позитивные	***Нейтральные***	***Негативные***
Любовь, гордость, уважение, уверенность, благодарность, доверие, симпатия, спокойная совесть, удовлетворение собой, восхищение, безопасность	Любопытство, удовлетворение, изумление, безразличие, спокойно-созерцательное настроение	Гнев, неудовольствие, тоска, печаль, отчаяние, тревога, обида, угрызение совести, боязнь, испуг, страх, жалость, сострадание, отвращение, сожаление, чувство вины, стыд, чувство оскорбления

[1] При определении валентности эмоции (положительная – отрицательная) учитываются субъективные переживания личности в плоскости удовольствия – неудовольствия, восприятие события самим индивидом, а не этический подход в оценке ситуации.

[2] Один из наиболее полных и доступных нашему читателю анализов психологии эмоций, причин их появления и содержания представлен К. Э. Изардом [24].

Другим свойством эмоций, важным для нашего исследования, является их способность часто и интенсивно видоизменяться. Предварительное изучение «немецкого вопроса» как идеологического концепта позволили выделить три этапа его формирования [12]:

1) протонационалистический (втор. пол. XVIII ст. – 1848 г.) (складывание исторических оснований «немецкого вопроса» и их эмоционального сопровождения. Возникновение колонистофобии);
2) период 1848 – 1881 гг. (формирование «немецкого вопроса» как националистического концепта. Складывание эмоциональных сообществ. Возникновение германофобии);
3) 1881–1917 гг. (развитие «немецкого вопроса» в условиях утверждения государственного национализма).

Если мы оцениваем «немецкий вопрос» как этапное явление, мы должны ожидать, что социальные эмоции и общий эмоциональный фон, сопровождающий его развитие, также должен меняться. Данную трансформацию следует связывать как с объектно-субъектными (в нашем случае, между представителями немецкого этноса и местным населением), так и межсубъектными отношениями (внутри той части социума, которая определяет себя как оппозиционная по отношению к немецкоязычным группам), которые проявляются и оказывают влияние на развитие феномена.

Исторические основания возникновения «немецкого вопроса» и их эмоциональное сопровождение. Предысторией появления «немецкого вопроса» в Российской империи является колонизация конца XVIII – первой трети XIX ст. Поскольку программа переселения была инициирована властью, переселенцы попали в весьма благоприятный социальный и финансовый климат. Колонистам обещали привилегии, а первоначальная модель расселения была составлена таким образом, чтобы обеспечить минимальные контакты между местным и вновь прибывшим населением. В проектах князя Г. Потёмкина («Греческий проект», «Крым» [23, с. 70]) были представлены задачи организации переселенческой практики на территориях Юга империи, главной из которых являлся принцип несоприкосновенности народов с разной культурной и религиозной традицией. В ходе колонизации немецкие переселенцы, как одна из перспективных с точки зрения экономической пользы колонизационных групп, получили от властей щедрые привилегии, аккумулировали значительные материальные

средства, которых было лишено коренное население – собственный социальный ресурс России. Данная ситуация становилась темой закрытых дискуссий и провоцировала своего рода протестные настроения, в первую очередь, среди образованных и причастных к колонизации представителей российского общества, вызывая к жизни первые антиколонизационные (не антинемецкие) настроения на этапе, предшествующем национализму. В условиях абсолютизма, отсутствия гражданского общества и публичности голоса носителей данных настроений, чиновников и дворянства, оставались скрытыми за позитивными отзывами о результатах колонизации и поощрительных мероприятиях относительно иноэтничных эмигрантских групп, звучавших со стороны активных организаторов программы – А. М. Фадеева, А. Э. Ришелье, а несколько позднее – И. Н. Инзова. Тем не менее, мы располагаем некоторыми косвенными сведениями о существовании такой альтернативной позиции [36]. В ходе колонизации проявились и реальные практические проблемы, которые вносили коррективы в первоначальные планы властей. Исследования А. Бойко показали, что ко времени заселения колонистов, меннонитов и немцев-католиков на Юге оставалось не так много пустующих земель [4], а найденные нами материалы свидетельствуют о том, что образование новых поселений нередко сопровождалось ротацией населения[1].

О первых межэтнических контактах историкам Д. Яворницкому и Я. Новицкому поведали современники первых волн переселения. Местный учитель Я. Гепнер сообщал, что жизнь первых поселенцев была небезопасной и колонии периодически становились жертвами набегов блуждающих банд и отдельных разбойников (бывших казаков, местных крестьян) [46, с. 203–204]. Таким образом, за первые годы и даже десятилетия взаимного познавания колонистов и окружающего их населения было накоплено немало взаимных упрёков. Изначально построенная на системе неравномерной легитимности колонизационная политика провоцировала зачатки негативных настроений относительно колонизации и переселенцев, направленные, прежде всего, против благополучных немцев. Таким образом, сами колонисты вольно (своим

[1] Колонии Хортица и Розенталь (с 1789) были основаны на месте ранее существующей деревни, принадлежавшей князю Г. Потёмкину, где до того времени были выстроены усадьба князя, сад, пруд и водяная мельница. В 1789 году Потёмкин передал Хортицу государственной казне, а его крестьяне были переселены в казённую слободу Томаковку. [32, с. 178]

поведением) или невольно (самим фактом присутствия) становились источником негативных эмоций, настроений и формируемых на их почве стереотипов, ставших в дальнейшем основой протонационалистических настроений, оказывающих влияние на формируемый ими в российском обществе «презентационный образ» группы. Виртуальное описание немца глазами простолюдина может быть представлено следующими характеристиками, составленными преимущественно визуально ввиду языкового барьера: трудолюбивые, аккуратные, семейные, преданные власти и государю (поскольку были «водворены» по воле монарха), богобоязненные; себе на уме, зажиточные, пришедшие на нашу землю, посягающие на наше добро, замкнутые и непонятные. Независимо от того, каковым было соотношение этих характеристик по шкале позитив-негатив, главной квинтэссенцией характеристики является понятие «другой» / «чужой», непохожий и непонятный. Таким образом, изначально в свободном от идеологии крестьянском сознании представление о немцах-колонистах формировалось как образ этноса (в дальнейшем, нации)-антипода: им всё – нам ничего, и так будет всегда. Самый общий анализ обстоятельств колонизации позволяет сделать некоторые предположения о характере его эмоциональной валентности в среде простых крестьян – непосредственных коммуникаторов с немецкими переселенцами (*Таблица 2*): девять позитивно-нейтральных позиций против пяти негативных.

Таблица 2. Эмоциональный фон отношения к колонизации на этапе протонационализма (активированные эмоции).

Позитивные	*Нейтральные*	*Негативные*
Уважение, доверие, симпатия, спокойная совесть, восхищение, безопасность	Любопытство, изумление, безразличие, спокойно-озерцательное настроение	Неудовольствие, тревога, боязнь / опасение, гнев, обида / чувство оскорбления

Данная таблица, безусловно, не может учитывать всех социальных ситуаций, возникающих на начальном этапе взаимоузнавания переселенцев и местного населения, однако всё же способна уловить общую социальную эмоцию. То негативно-нейтральное отношение, которое появлялось в обозначенный период (период протонационализма), компенсировалось официальной позицией власти, выражающей немецким переселенцам-колонистам доверие.

Заметим, что существовала и вторая версия образа немецких колонистов, сформированная властями на этапе колонизации. Данный образ носил позитивный характер. Попечительные органы – главные трансферы социального имиджа колоний, всячески пропагандировали хозяйственный опыт и экономические достижения поселений в материалах делопроизводства Министерства внутренних дел, однако данная преимущественно «кабинетная» пропаганда [9, с. 136–137] едва ли могла скорректировать позицию тех, кто по каким-либо причинам испытывал неудовлетворение в связи с появлением «инородцев».

Концептуальное оформление «немецкого вопроса» (1848–1881 гг.) сопровождалось формированием эмоционального сообщества[1] – виртуального лагеря приверженцев данной идеологии. Начало данного процесса происходило в контексте дискуссии о социальной справедливости, о путях и способах формирования единой русской / российской нации, инициированных общественностью после двух польских восстаний. Возникновение первой версии «немецкого вопроса» связано с публицистической деятельностью Ю. Ф. Самарина. Будучи чиновником Министерства внутренних дел, он написал работу «Письма из Риги» (1849 г.) [41], в которой изложил свои опасения относительно перспектив ослабления позиций России и православия в Прибалтике в связи с тем влиянием, которое балтийские немцы, проживавшие в регионе с XII в., оказывали на данную территорию и местные народы. Продолжением его первого резонансного произведения стал труд «Окраины России» (1868 – 1876). Несмотря на то, что за первое из названных произведений Самарин получил порицание, а второе было запрещено цензурой, отрывки из его работы «Окраины России», изданной в Праге и Берлине, часто цитировались М. Н. Катковым в его «Московских ведомостях», печатались И. С. Аксаковым в его газете «Москва», а третий выпуск многотомника был опубликован в «Русском архиве» П. И. Бартенева [1, с. 63]. Содержание произведений вызвало в обществе тот отклик, которого ожидал сам автор. Ф. И. Тютчев, который, хотя в целом и разделял настроения Самарина, но занимал должность председателя Комитета цензуры иностранной и поэтому отметил следующее: «Книга Самарина по-прежнему является злобой дня. Это настоящее событие. Решено запретить её открытую продажу – после

[1] Термин, предложенный Б. Розенвейн. Эмоциональное сообщество – приверженцев единых норм и ценностей, наделённые сходными или взаимосвязанными эмоциями [50].

того, как она почти полностью перепечатана на страницах двух главных газет Москвы. Однако успех данной книги был бы не столь значителен, не будь предприняты подобные меры» [там же, с. 64]. Дальнейшее развитие темы «немецкой угрозы» находим в работах И. С. Аксакова и М. Н. Каткова. Трибуной для продвижении их убеждений и «немецкого вопроса» в целом стали газеты «День», «Москва», «Москвич», «Русь» Аксакова, «Московские ведомости» Каткова (опубликовал на данную тему 72 статьи [49, с. 392]), «Новое время». Достаточно пролистать данные газеты, чтобы получить красочную подборку мнений и деклараций по интересующей нас проблеме.

Начиная с критики остзейских колоний, первые идеологи «немецкого вопроса» (Самарин, Аксаков, Катков), экстраполировали проблему на всё немецкоязычное население империи, убеждая общественность в том, что немцы в Российской империи завоёвывают политическое влияние, постепенно преобразовывая себя в «политическую национальность». Уже в публикациях 1848–1860-х гг. были сформулированы и представлены на суд общественности основные идеологемы – составляющие «немецкой проблемы» [13; 14], а именно: 1) вопрос о привилегированном положении немцев и несовершенстве внутренней политики относительно колонизации и нетитульнх этнических групп; 2) необходимость реформирования и правовой унификации населения как важнейшей государственной задачи; 3) опасность германизации. Были сформулированы тезисы о «внутренних врагах» и «верном оплоте», «государствах в государстве», безмерном расширении немецкого землевладения, нелояльности; 4) было указано на связь между внутренней политикой российского государства в отношении остзейско-польского узла с мониторингом других нацменьшинств; 5) были высказаны идеи о необходимости регулирования в области использования языков; 6) представлены первые концепции о единой русской нации, в которых с некоторыми оговорками речь шла о целесообразности доминирования представителей русской национальности; 7) прозвучал призыв к консолидации подданных против внутреннего врага. Таким образом, мобилизация нации происходила по антагонистическому сценарию – сценарию «союза против». Данные идеи предоставляли некоторый материал для раздумий, в определённой степени способствовали формированию конфронтационной атмосферы на следующем витке развития националистического дискурса.

Вокруг данного комплекса воззрений формируется группа сторонников – «эмоциональная группа», члены которой по каким-либо причинам разделяли мнение относительно выше сформулированных тезисов. Их объединяли, возможно, не только доступ к определённым периодическим изданиям, но и сходство политических преференций, доверительное отношение к прочитанным ими публикациям либо собственный негативный опыт коммуникации с представителями немецкого этноса. В фактическом выражении это были представители различных социальных групп, однако преимущественно образованные люди. В нашем случае данная территориально разобщенная эмоциональная группа – это виртуальная «толпа», которая, как определяет данное понятие современная социология, представляет из себя бесструктурное сосредоточение людей, лишённых ясно осознаваемой общности цели, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания (в нашем случае – фантомом немецкой угрозы) [42]. Следует предположить, что данная эмоциональная группа, объединенная германофобией (данный термин не воспринимается нами как оценочный), формируется, грубо говоря, слухами – путём распространения информации, представленной в прессе.

Социальные психологи выделяют слухи и «взаимное заражение» (эмоциональное кружение, циркулярную реакцию) как фактор формирования толпы, что применимо, как мы полагаем, к процессу формирования виртуального «эмоционального сообщества» [31]. В ходе взаимного обмена впечатлениями и обсуждения прочитанного с близкими людьми, при случайном общении срабатывает модель «взаимного заражения», т.е. обмена эмоциональным состоянием. Как заметил А. П. Назаретян, эмоциональное кружение ситуативно снижает роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой идентификации, здравого смысла [31]. В рассматриваемой нами эмоциональной ситуации это способно было привести, в том числе и к тому, что индивид, ранее имевший опыт позитивного общения с немцами, реагировал по примеру других людей, начинал испытывать сомнения по поводу истинности своих собственных впечатлений. Его рассуждения могли строиться по следующему сценарию: «Возможно, мой друг – немец N – порядочный и преданный России человек, но где же гарантия того, что теми же добродетелями обладают и другие немцы, проживающие в империи? Ведь дыма без огня не бывает!». В дальнейшем, на этапе обострения

социальной эмоции, это может привести к тому, что поведенческая реакция таким образом психологически подготовленного индивида также будет соответствовать поступкам (порой агрессивным), совершаемым другим представителям сообщества.

Поиск врага в образе немца-инородца был, несомненно, вызван объективными обстоятельствами развития Российской империи (польскими восстаниями, появлением и развитием националистического дискурса), процессами образования Германской империи. Как утверждал Дж. Армстронг, «создание Второго рейха стало началом конца многомиллионной немецкой диаспоры во всей Восточной Европе, а прежде всего в Российской империи» [48]. Однако было и нечто другое, характерное для законов развития социума в контексте социальной психологии. Американский ученый Дж. Девис пришёл к интересному выводу: пока люди живут «стабильно плохо», они не испытывают неудовлетворенности своим бытием, а вероятность социальных протестов, взрывов появляется и растёт там, где есть растущие ожидания [21]. В связи с этим появление «немецкого вопроса» следует рассматривать и как последствие эпохи реформ, которая, хотя и не привела к улучшению состояния жизни населения империи в целом, но вселила в отдельные социальные группы надежды на прогресс. Когда же данные ожидания не осуществились, а потребность в них оказалась заблокирована, общество пошло по пути психологической компенсации – поиска скрытого врага. Таким образом, сработал некоторый механизм, который переключил эмоциональную группу от программы недовольства собой («Нам это не удалось») на схему недовольства другими («Не удалось, потому что нам помешали»).

Проявление «немецкого вопроса» сопровождалось совокупностью эмоций, в числе которых находились и страхи. Страхи также явились продуктом слухов и эмоционального заражения. Исходя из принятой классификации слухов [31] и их содержательной стороны, применительно к нашей проблеме мы вычленяем два вида слухов: слух-предостережение (например, тезис о том, что немцы – скрытые враги) и слух-желание («если проблема будет решена политически, у немцев землю заберут и нам передадут»). Если слухи-желания отражают ожидания эмоциональной группы и соответствуют более позднему этапу развития «немецкого вопроса», то слухи-предостережения явились фактором, вызвавшим возникновение эмоциональной группы, активизировавшим у определённой части российского общества

манихейское мышление, свойством которого является поиск некоего заговора, зловещего замысла, носителями которого были «назначены» немцы.

Страхи-предостережения создавали в среде приверженцев эмоциональной группы тревожные «ожидания» – предчувствия негативного. Поскольку ситуация в государстве сохраняла свой проблемный характер, «немецкий вопрос», однажды возникший в российском обществе и затрагивающий различные сферы интересов (изначально аграрный вопрос, затем – промышленность), сохраняя актуальность, ангажировал в состав эмоциональной группы всё большее количество сторонников. Слухи и порождаемые ими страхи продемонстрировали способность к выживанию, укоренились в коллективном бессознательном. Видимо, следующее поколение воспринимало тезис о внутренней немецкой угрозе как априорное суждение («Да-да, я знаю. Об этом ещё Катков писал…»). В таких социальных обстоятельствах численный состав такого рода эмоционального сообщества мог возрастать ещё более быстрыми темпами.

Следует также обратить внимание на то, что, переходя в контент коллективного бессознательного, слух переживает период адаптации – изменения содержания с целью его приспособления к реалиям момента. Механизм адаптации включает в себя несколько важных действий: 1) удаление лишних (несущественных) деталей; 2) заострение оставшихся элементов слухов, которые подчеркивают его социальную значимость; 3) приспособление под стереотипы [31]. В несколько упрощённом виде ход описанной выше адаптации представлен в *Таблице 3*.

Таблица 3. Адаптация слуха.

Слух-предостережение	Заострение важной детали	Приспособление под стереотипы
Немцы и евреи, которые являются агентами Германии, – враги России	Немцы и евреи – враги (выглядит более выразительно, легче запоминается)	Немцы – враги (приспособление тезиса под реалии «немецкого вопроса)

Таким образом, в период 1848– 1881 гг. «немецкий вопрос» приобретает идеологическое обоснование, становится публичным явлением, а формирующийся вокруг него эмоциональный лад демонстрирует тенденцию устойчиво негативного характера.

Таблица 4. Эмоциональный фон «немецкого вопроса» в 1848–1881 гг. (активированные эмоции)

Позитивные	*Нейтральные*	*Негативные*
Уважение (к себе, благодаря переносу ответственности на другого), уверенность (в правильности тезисов); спокойная совесть (убеждённость в правильности собственной позиции)	Любопытство, удовлетворение собой (исходя из уверенности)	Отчаяние, тревога, обида, испуг, страх, сожаление, гнев, чувство оскорбления

Дискуссии, которые разворачивались в системе российского националистического дискурса вокруг статуса немецкого населения Остзейских губерний и затем – колонистских поселений на Юге Российской империи, в Юго-западном крае (на Волыни) повлияли на содержание реформ унификации. Принятые на данном этапе законодательные акты (Закон о ликвидации колонистского статуса (1871), Военный устав 1874 г., введение городового положения в Остзейском крае в 1877 г.), не остановили поступательной эволюции хозяйственного механизма колоний, роста немецкого землевладения и укрепления находящихся в собственности немцев предприятий [10]. Заметим, что в условиях модернизации именно экономический успех обеспечивал бывшим колонистам, немецким землевладельцам и предпринимателям поддержку государства и являлся их «иммунитетом» от национализма, от радикальных политических репрессивных мер против «немцев», которых требовала та часть низового «эмоционального общества», которая оказалась подвержена антиколонистской, а затем и антинемецкой пропаганде. В связи с этим сегмент национальной политики, направленный на регулирование позиций немецких поселений, долгое время не был столь радикальным и последовательным, носил спонтанный, реактивный и фрагментарный характер.

Низовой национализм и «немецкий вопрос» в условиях утверждения державно–государственного национализма (1881–1917). Новый политический курс относительно инородцев весьма показательно проявился с начала правления Александра III и формировался под влиянием его наставника К. Победоносцева – лидера консервативной

партии, публициста, противника парламентаризма и народного представительства, чьи взгляды молодой монарх воспринял «как политическую программу» [15]. По свидетельству Ю. Готье, цесаревич впервые прочитал «Рижские письма» в возрасте 22 лет, а в середине 1870-х гг. он ознакомился и со вторым произведением Самарина [18]. Не случайно современник событий Б.Э. Нольде высказывал мысль о том, что вся прибалтийская политика Александра III основана на тезисах Самарина [35]. Император возвёл идеологические установки национализма на пьедестал государственной политики и идеологии. С этого периода все виды национализма (низового (бытового, стихийного) и государственного) получили официальную поддержку. Данная политика не только способствовала ангажированию в состав «эмоциональной группы» новых членов, но и росту убеждённости адептов данной группы в правоте своих взглядов. Об этом, например, свидетельствуют материалы переписки К. П. Победоносцева, который по понятным для нас причинам «притягивал» к себе внимание приверженцев «немецкого вопроса». В письмах явно прослеживаются эмоциональные установки членов данного виртуально объединённого сообщества – страхи, конспирологические сценарии, требования проявить бдительность. Среди материалов переписки присутствует письмо некоей госпожи Александры Копейкиной, которая, проявляя опасения относительно католической угрозы в государстве, утверждала, что иноземцы «не должны бы ни под каким видом иметь домов, земель или фабрик в России: это погибель государства» [26]. В обращении родителей учеников петербургской гимназии № 8 представлена упредительная информация о деятельности преподавателей гимназии – Мора (директора), Фохта, Гейтмана, Коробевича, Миллера [37]. Авторы письма обвиняют учителей-немцев в непатриотизме, опасаются онемечивания православных детей. Письмо, подписанное анонимным автором «иностранец» (1888), сообщает адресату о наличии в Санкт-Петербурге еврейско-германской агентуры, которая, по мнению автора, действует в области финансов и экономики [25].

О политическом, а не полемическом аспекте «немецкого вопроса» также свидетельствует петиция Екатеринославского уездного земского собрания (1888 г.) к властям, в которой речь шла о принятии мер по ограничению немецкого землевладения [28]. Тема была поднята гласными Мунтяном (от крестьян) и землевладельцем Марцинкевичем. Сообщалось, что немцы окружают своими землями

местные крестьянские селения. В результате у крестьян остаются две реальные возможности: либо переселение, либо опасность стать бездомными батраками немцев [39, с. 302]. Петиция, подготовленная в уезде, в дальнейшем была передана в губернское земство, где не была поддержана [29; 30; 33; 34].

Объективно, испытывая трудности в решении многочисленных проблем империи, власти вольно или невольно не опровергали слухи «об угрозах», тем самым молчаливо соглашаясь с ними. Среди первых энергичных действий правительства в русле «немецкого вопроса» были указы 1885 – 1888 гг. [9, с. 412]. Следует также упомянуть о пропаганде П. Победоносцева против протестантских сект [15], а также вспомнить деятельность П. А. Столыпина. Отдавая извечный «долг» российскому крестьянству, в своей политике Столыпин продвинулся дальше предшественников, урезая права представителей нетитульных этносов. Создавая прецедент «урезания прав» немцев в ходе своей переселенческой реформы [11], премьер заложил основания для новых конфликтов, которые проявят себя в ближайшем будущем на этапе Первой мировой войны. «Немецкий вопрос» также развивался и в теоретической плоскости. В предвоенные десятилетия концепция «мирного завоевания» России бывшими колонистами была весьма убедительно представлена обществу в работах А. Велицина, С. Бондаря, Г. Евреинова и других чиновников, публицистов и общественных деятелей [5; 6; 22].

По понятным причинам, наибольшего эмоционального накала «немецкий вопрос» достиг в период Первой мировой войны в условиях разработки и имплементации Ликвидационного законодательства – серии законодательных актов, обсуждаемых, принимаемых и действующих в России в течение 1914–1917 гг., направленных на ограничение землепользования, землевладения и в целом влияния иностранного, преимущественно немецкого, капитала в России. Общая особенность «Ликвидационной» программы состояла в том, что, возникнув как проект, направленный против подданных государств, с которыми воевала империя, она вскоре превратилась во внутреннюю экономическую войну против немецкоязычного населения России [8]. Бесспорно, что количество приверженцев антинемецкого «эмоционального сообщества» в условиях мировой войны существенно возросло. Вместе с тем следует заметить, что обсуждение антинемецких законов (после нескольких, принятых летом 1914 г.) пришлось

преимущественно на период февраля 1915–1916 гг. Важным является вопрос, почему принятие законов было отсрочено, а их последующее осуществление имело непоследовательный характер? Известно также, что в конце весны – летом 1915 г. в Москве и некоторых других регионах империи (включая Екатеринославскую губернию) прошли немецкие погромы [19; 20]. В связи с этим также необходимо понять, почему народный гнев излился на ненавистных немцев не в августе 1914 г., а фактически через год после начала войны.

Для ответа на данные вопросы следует вспомнить, кто именно входил в состав эмоционального сообщества. Это были, вероятно, легко поддающиеся внушению, влиянию слухов индивиды. Пропагандисты «немецкого вопроса» всегда обосновывали свои теории патриотическими мотивами, что позволяло адептам данной националистической концепции оправдывать свою враждебность (тем, кто был нацелен на получение выгоды в результате экспроприации имущества немцев), повышать собственную самооценку («бескорыстным», искренним членам эмоционального сообщества). С началом войны гражданская потребность «ощущать себя патриотом» была активирована и задействована в контексте общего порыва, направленного на защиту Отечества. Летом 1914 г. общество было объединено состоянием фасцинации, монархического восторга, верой в идеальный образ справедливой войны. Когда же представление о войне через призму победной перспективы не воплотилось в жизнь, произошла перемена общественных настроений, усилилась социальная напряженность, было утрачено доверие к монарху [7]. Как утверждают психологи, именно такое состояние общества в условиях высокой степени неопределенности (страх был вызван недостатком информации о состоянии на фронтах, публикациями о деятельности немецкой шпионской сети [40]) способствует взаимной эмоциональной индукции: люди охотно группируются, обсуждают волнующие темы, лихорадочно ищут информацию, оказываются реципиентами и ретрансляторами слухов. Индукция легко переходит в стихийные формы массового поведения [31], что привело членов эмоциональной группы и их «случайных попутчиков» – безидейных участников бесчинств к антинемецким погромам, прокатившимся по России и приведшим к человеческим жертвам и материальным потерям. Данные события явились кульминационной точкой развития «немецкого вопроса» в Российской империи.

Выводы.

Анализ эмоционального наполнения «немецкого вопроса» в контексте низового национализма позволяет не только обнаружить новое измерение данного социального явления, что само по себе любопытно, но и раскрывает его некоторые скрытые смыслы.

Появление «немецкого вопроса» как идеологического концепта свидетельствовало о том, что в империи формируется сфера общественного – социальная среда, объединённая множеством интересов и пронизанная целым рядом противоречий, ведущая непростой диалог о проблемах, важнейшей из которых была тема социальной справедливости и перспектив участия отдельных этнических групп в процессах формирования единой нации. Эмоциональная группа «немецкого вопроса», как сегмент гражданского общества, складывалась под воздействием идеологии национализма и явилась своеобразной адаптационной средой для дальнейшего развития идеологии.

Если идеология была публичной стороной немецкой проблемы, то эмоциональное сообщество – объект низового национализма – являлось одновременно результатом популяризации концепта, истинным механизмом продвижения идеологии на бытовом уровне, средством объединения общественности (единения против…). Низовой национализм был важным средством в руках державно-государственного национализма: к нему власти и их идеологи прибегали для реализации своих целей, навязывая обществу через эмоциональную группу «эмоциональный режим» – нормативные эмоции, переходящие со временем в архетип.

Характер эмоционального сопровождения «немецкого вопроса» менялся в зависимости от момента развития, степени сформированности теоретического концепта, его политической актуальности на отдельных этапах развития государства. Эмоциональное сообщество также продемонстрировало свою способность не только к неподконтрольному существованию (немецкие погромы), но и независимому теоретизированию (формирование упрощённых идеологем-архетипов).

Эмоциональное сообщество было объединено настроениями неприятия по отношению к избранной им этнической группе. Продуктивная сторона данной социальной эмоции должна была состоять в том, что могла бы мотивировать её носителей на решение проблемы. Однако данная схема срабатывает лишь в том случае, если

сама проблема правильно понята обществом, является реальной, а не иллюзорной. Анализ методов решения «немецкого вопроса» через призму истории эмоционального сообщества свидетельствует о том, что процесс образования гражданского общества в России всё ещё находился на том начальном этапе, когда подданные слабо осознавали и свою роль в государстве, находящемся в состоянии модернизации и эффективные пути решения важных для страны социальных проблем.

1. *Бадалян Д. А.* Книга Ю. Ф. Самарина «Окраины России» и цензура / Д. А. Бадалян // Труды Санкт-Петербургского института культуры. – 2016. – Т. 213. – С. 60–70.
2. *Баум А. С.* Эмоции / А. С. Баум // Психологическая энциклопедия / под. ред. Корсини, А. Ауэрбаха. – М. ; СПб. ; Н. Новг. ; Воронеж, 2006. – С. 1020–1021.
3. *Бобылева С. И.* Общественное мнение России начала XX в. о российских немцах / С. И. Бобылева // Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность. – Донецк, 2003. – С. 125–137.
4. *Бойко А.* Південна Україна останньої чверті XVIII ст. / А. Бойко. – Запоріжжя , 1997. – 204 с.
5. *Бондарь С.* Секта меннонитов в России / С. Бондарь. – Петроград, 1916. – 202 с.
6. *Велицын А.* Немцы в России / А. Велицын. – СПб, 1893. – 282 с.
7. *Венгер Н. В.* Власть и война: монархия и великая война 1914 – 1918 гг. в восприятии лояльного сегмента российского общества / Н. В. Венгер // Вопросы германской истории. – Днепропетровск., 2014. – С.131–164.
8. *Венгер Н. В.* Казус «Ликвидационного законодательства»: факторы антиколонистской пропаганды и антиколонистского сознания в динамике межэтнических взаимоотношений в поздней Российской империи (на примере истории меннонитского предпринимательства) / Н. В. Венгер // Вопросы германской истории : сб. научных трудов. – Днепропетровск, 2007. – С. 110–127.
9. *Венгер Н. В.* Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789 – 1920) / Н. В. Венгер. – Днепропетровск, 2009. – 699 с.
10. *Венгер Н. В.* Меннониты и власть в конфликте 1860 – 1870-х гг.: pros и cons реформ унификации / Н. В. Венгер // Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой отечественной войны и в исторической памяти потомков. – М., 2011. – С. 449–467.

11. *Венгер Н. В.* Идея о единой русской нации и немецкий вопрос в мировоззрении П. А. Столыпина / Н. В. Венгер // Вопросы германской истории. – Днепропетровск., 2012. – С. 61–91.
12. *Венгер Н. В.* Немецкая колонизация и российский национализм: динамика формирования идеологических концептов и государственной политики / Н. В. Венгер // Два с половиной века с Россией: материалы 4-й международной научно-практической конференции. – М., 2013. – С. 34–55.
13. *Венгер Н. В.* «Німецьке питання» в оцінці І. С. Аксакова та Ю. Ф. Самаріна: діалог з російським суспільством у десятиліття Великих реформ (1860 – 1870) / Н. В. Венгер // Вопросы германской истории.– Днепропетровск, 2011. – С. 30–52.
14. *Венгер Н. В.* Проблеми реформування іноземних колоній та ідея єдності російської нації М. Н. Каткова: біля витоків російського націоналістичного дискурсу / Н. В. Венгер // Вопросы германской истории.– Днепропетровск, 2010. – С. 30–50.
15. *Венгер Н. В.* Психологія російського націоналізму у діяльності П. Победоносцева / Н. В. Венгер // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2013. – С. 61–91.
16. *Винницкий И.* Заговор чувств или русская история на «эмоциональном повороте» / И. Винницкий // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5 . – С. 441– 460.
17. *Геллнер Е.* Нації та націоналізм / Е. Геллнер // Націоналізм: Антологія. – К., 2000.
18. *Готье Ю. В.* К. П. Победоносцев и наследник Александр Александрович, 1865 – 1881 / Ю. В. Готье // К. П. Победоносцев: pro et contra. – СПб., 1996. – С. 462–463.
19. *Дённингхаус В.* Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт / В. Дённингхаус. – М., 2004.
20. *Джунковский В. Ф.* Воспоминания : в 2 т. / В. Ф. Джунковский. – М., 1997. – Т. 2. – С. 557–560.
21. *Дэвис Дж.* Социальная установка / Дж. Дэвис // Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. – М., 1972. – С. 54–68.
22. *Евреинов Г. А.* Российские немцы / Г. А. Евреинов. – Пг, 1915. – 34 с.
23. *Елисеева О. И.* Геополитические проекты Г. А. Потёмкина / О. И. Елисеева. – М., 2000. – 342 с.
24. *Изард К. Э.* Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб, 2000. – 464 с.
25. «Иностранец» – Победоносцеву К. П. (февраль 1888) // Константин Петрович Победоносцев и его корреспонденты : в 2 т. – Минск, 2003. – Т. 2. – С. 444–449.

26. *Копейкина А. – Победоносцеву К. П.* (1887) // Константин Петрович Победоносцев и его корреспонденты : в 2 т. – Минск, 2003. – Т. 2. – С. 338–339.
27. *Кутковая Е. С.* Дискурс-анализ эмоций и теория позиционирования в исследовании социального события // Психологические исследования. – 2014. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n34/958-kutkovaya34.html (дата звернення: вересень 2016).
28. *Московские ведомости.* – 1888. – 6 ноября.
29. *Московские ведомости.* – 1889. – 19 октября.
30. *Московские ведомости.* – 1893. – № 46.
31. *Назаретян А. П.* Психология стихийного массового поведения: топа, слухи, избирательные и рекламные кампании / А. П. Назаретян. – М., 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://temnyjles.narod.ru/Nzrtn/Tolpa (дата звернення: вересень 2016).
32. *Новицкий Я. С* берегов Днепра: Путевые заметки и исследования / Я. Новицкий // Новицкий Я. Твори : в 5 т. – Запоріжжя, 2007. – С. 48–184.
33. *Новое время.* – 1889. – 17 октября. – № 4898.
34. *Новое время.* – 1889. – 17 ноября. – № 4929.
35. *Нольде Б. Э.* Юрий Самарин и его время / Б. Э. Нольде. – М., 2003.
36. Письма герцого Армана Эммануиловича де Ришелье Самуилу Христиановичу Контениусу. 1803–1814 гг. – Одесса, 1999. – С. 34.
37. Письмо родителей гимназии № 8 – Победоносцеву К. П. (1887) // Константин Петрович Победоносцев и его корреспонденты : в 2 т. – Минск, 2003. – Т. 2. – С. 348–353.
38. *Поздняков Э. А.* Нация. Национализм. Национальные интересы / Э. А. Поздняков. – М., 1994. – 128 с.
39. *Постников В. Е.* Южно-русское крестьянское хозяйство / В. Е. Постников. – М., 1891. – 391 с.
40. *Резанов А. С.* Немецкое шпионство / А. С. Резанов. – Пг., 1915. – 336 с.
41. *Самарин Ю. Ф.* Сочинения : в 12 т. / Ю. Ф. Самарин. – М., 1877–1911. – Т. 7 (1889). – 659 с.
42. Современный словарь по общественным наукам. – М., 2005. – С. 429.
43. *Трубина Е.* Воспитание без чувств / Е. Трубина // Ab Imperio. – 2013. – № 4. – С. 237–248.
44. *Шапошникова А.* Эмоциональное состояние / А. Шапошникова // Социология: Энциклопедия. – Минск, 2003. – С. 1272.
45. *Щербатых Ю. В.* Общая психология / Ю. В. Щербатых. – СПб, 2008. – С. 171–177.

46. *Яворницкий Д.* Запорожье в остатках старины и преданиях народа : в 2 ч. / Д. Яворницкий. – К., 1995. – Ч. 1. – 447 с.
47. *Яновский М.* Нация, эмоции, пограничье в работах Юзефа Хлебовчека / М. Яновский // Нация и национализм: проблемно-тематический сборник. – М., 1999. – С. 122–130.
48. *Armstrong J.* Mobilized and Proletarian Diasporas / J. Armstrong // American Political Science Review. – Vol. 70. – 1976. – № 2. – P. 393–408.
49. *Martin Terry.* The German question in Russia 1848–1896 / T. Martin // Russian history. – 1991. – № 18. – P. 373–434.
50. *Rosenwein B.* Emotional communities in the Early Middle Ages / B. Rosenwein. – Cornell University, 2006.
51. *Shafer B. C.* Nationalism: Myth and Reality / *B. Shafer.* – N. Y., 1955.

Венгер Н. В. «Низовий» націоналізм як форма суспільних відносин пізньої Російської імперії: емоціонологічний аналіз «німецького питання»

У статті представлена версія емоціонологічного аналізу «німецького питання» – одного з проявів російського націоналістичного дискурсу. Автор аналізує причини появи емоційної групи прихильників цієї соціальної проблеми, етапи, особливості та перспективи її розвитку.

Ключові слова: «німецьке питання», німецька колонізація, російський націоналістичний дискурс, емоційна група, пізня Російська імперія.

Venger N.V. Everyday Nationalism as a Form of Public Relations in the Late Russian Empire: an Emotionological Analysis of the "German Question"

The author offers her version of the emotionological analysis of the "German question", that was one of the manifestations of nationalistic discourse in the late Russian Empire. The author analyzes the causes of the formation of an emotional community around this social problem. She also explores stages, characteristics and prospects of its development.

Keywords: «German question», the German colonization, the Russian nationalistic discourse, an emotional community, the late Russian Empire.

УДК 930.2:070(477):929Каразин

О. И. Вовк

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ В. Н. КАРАЗИНА)

В статье исследуется специфика отражения исторических событий, явлений, процессов в современных украинских медиа. Дается характеристика медиапространства как одного из полей социального пространства (по теории П. Бурдье). На примере произведений, касающихся биографии основателя Харьковского университета В. Н. Каразина (1773–1842) анализируются трансформации формы и содержания медиапродуктов. Описывается влияние медиаконтента на представления о прошлом, формирующиеся в коллективной исторической памяти.

Ключевые слова: медиа, В. Н. Каразин, биография, историческая память.

Время, в которое мы живем, нередко называют «эпохой информационного взрыва» (information explosion era) из-за непрерывного лавинообразного увеличения числа публикаций и скорости их появления. Согласно подсчетам ученых, за последние полвека в мире было произведено информации больше, чем за предшествующие несколько тысяч лет. Производство продукции на печатных, пленочных, оптических и магнитных носителях во всем мире ежегодно требует порядка 1,5 млрд. гигабайт памяти, что соответствует примерно 250 мегабайтам на каждого человека из живущих на Земле. Объемы информации, накапливаемой в мире в цифровом виде, в начале XXI в. увеличиваются ежегодно на 60%. На планете ежедневно записывается около 20 млн. слов технической информации и выходит около тысячи наименований новых книг [15, с. 111].

Соответственно, общие закономерности накладывают свой отпечаток и на репертуар произведений, в которых отражаются исторические события, даются «оценки событий, процесс осмысления прошлого, возможные точки зрения на проблему» [26, с. 7]. В связи с этим нам представляется, что наблюдаемые сегодня процессы заслуживают внимания с историографической точки зрения.

В последнее время в украинской [См., например: 24; 33 и др.] и зарубежной [См., например: 12; 36 и др.] печати стали появляться исследования историков, социологов и других представителей социогуманитарного знания, посвященные проблеме репрезентации образов прошлого в современном медиапространстве. Вместе с тем, на наш взгляд, более полно данную проблему можно осветить в динамике, т. е. показать ситуацию, сложившуюся в актуальный момент времени, в генетической связи с тенденциями, имевшими место в предшествующие эпохи.

© Вовк О. И., 2016

Употребление дефиниции «медиапространство» влечет за собой необходимость ее толкования. Для русского языка слово «медиа» является достаточно новым (вошло в обиход в 1990-х гг.), хотя его история гораздо более глубока. В переводе с латинского «medium» означает «средство», «посредник». Термин «media» в английском языке в XVIII в. означал газеты, а в XIX в. – также почту и телеграф. Сегодня специалисты под медиа понимают всю совокупность средств социальной коммуникации, используемых для передачи потребителю любых данных и информации (контента) с помощью многообразных технологических приемов и средств (каналов передачи) в различных целях во времени и пространстве [25, с. 75].

Такой подход чрезвычайно расширяет предметное поле медиа. Например, немецкий философ и исследователь коммуникаций Н. Больц относит к медиа все способы передачи информации, изобретенные и использующиеся человечеством. Историю медиа он соответственно делит на шесть эпох (устная речь; письменность; печатная книга; газеты, журналы, радио и телевидение; электронные носители информации; социальные сети) [См. 4]. Еще один способ классификации позволяет по способу передачи данных выделить директ-медиа (предполагают прямую коммуникацию с потребителем – почта, телефон, телеграф и т. д.), масс-медиа (средства массовой информации, позволяющие передать однородные по форме данные группе людей – пресса, радио, телевидение и т. д.) и мультимедиа (также ориентированные на массового потребителя и при этом комбинирующие разные формы представления данных на одном носителе) [См. 16]. Наиболее часто, говоря о медиа, люди подразумевают именно масс-медиа, а в последние годы, с распространением электронных носителей информации – также мультимедиа. Поэтому в данной статье мы будем оперировать термином «медиа» именно в таком варианте.

Для осмысления феномена медиапространства важную роль играет теория социального пространства, которую развил П. Бурдье. По мнению ученого, социальный мир можно представить в виде многомерного

пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, которые сформированы совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме. Оно представляет собой «ансамбль» многих подпространств, или полей (экономического, интеллектуального и проч.) и образовано невидимыми связями между социальными агентами и группами агентов, каждый из которых занимает свою относительную позицию в этом пространстве [См. 5]. Поэтому медиапространство можно определить как одно из полей социального пространства, совокупность отношений всех медиасубъектов; которое обладает способностью проецировать социальные конструкции с опорой на специфические, присущие только ему средства (печатные и электронные медиа) [25, с. 76].

Общий объем информации, циркулирующей сегодня в мировом медиапространстве, чрезвычайно велик. Таким образом, необходимо сформировать выборочную совокупность медийных продуктов, которые и будут непосредственно подвергаться анализу. В данном случае мы сконцентрируемся на произведениях, касающихся биографии «главного виновника учреждения университета в Харькове» Василия Назаровича Каразина (1773–1842). Его жизненный путь весьма активно освещался в средствах массовой информации еще начиная со второй половины XIX в., что позволяет в достаточно широкой ретроспективе проследить эволюцию образов исторического деятеля в массовой среде.

В данном исследовании упор был сделан на медийные продукты, созданные на территории Украины. Это связано с тем, что личность В. Н. Каразина во все времена привлекала наиболее пристальное внимание и вызывала отклик в среде украинских авторов и реципиентов. Для нашей аудитории он всегда был намного более «своим», чем даже для российской или болгарской публики, не говоря уже об американской и т. д. Сообщения в зарубежной прессе немногочисленны и выглядят как спорадические вкрапления в общий пласт каразиноведческих произведений, в то время как в украинских медиа они образуют обширный и упорядоченный массив [См. рис. 1].

Процесс создания медиапроизведений о В. Н. Каразине (как и отечественных каразиноведческих публикаций в целом) может быть подразделен на три периода: 1) середина XIX – начало XX в.; 2) 20-е – 80 е гг. XX в.; 3) конец XX – начало XXI в. Эти периоды, с одной стороны, соотносятся с изменениями общей ситуации в нашей стране, вызванной глобальными геополитическими потрясениями

XX века. С другой стороны, они знаменуют трансформации в структуре самих медиа, вызванные, в свою очередь, прогрессом в области техники и технологии. Так, в первом периоде медиа были представлены прессой; во втором периоде информация транслировалась, помимо газет и журналов, также посредством радио и телевидения; характерной чертой третьего периода стало распространение мультимедиа наряду со ставшими уже традиционными масс-медиа.

Первые сведения о В. Н. Каразине в отечественных медиа фиксировались уже в год его смерти. В частности, в ноябре 1842 г. в газете «Одесский вестник» был опубликован некролог, который был составлен на основании биографических сведений, сообщенных сыном просветителя Ф. В. Каразиным главному редактору газеты А. Г. Тройницкому [10, с. 152]. Однако в первые два десятилетия после кончины Василия Назаровича его имя фактически исчезло со страниц печатных изданий. Во многом это можно объяснить неоднозначностью репутации В. Н. Каразина, сложившейся в обществе, и, прежде всего, в высших властных кругах еще при его жизни.

Возвращение интереса к личности В. Н. Каразина стало отмечаться лишь в 60-х гг. XIX в. и было связано с именами А. И. Герцена, Г. П. Данилевского и др. В это время историческая наука еще не окончательно отделилась от публицистики, поэтому каразиноведческие произведения создавались преимущественно не историками-профессионалами, а любителями. Их цель состояла, прежде всего, в ознакомлении общественности с основными эпизодами жизни и результатами деятельности описываемого исторического лица. Большинство авторов этого времени (Ф. В. Каразин, Г. П. Данилевский и др.) были лично знакомы с В. Н. Каразиным, а потому не только опирались на документальные источники (которые сами же активно вводили в оборот), но и делились субъективными впечатлениями от общения с этим человеком [Подробнее см. 7].

С 1880-х гг. начинается постепенное нарастание интереса к деятельности В. Н. Каразина, длившееся несколько десятилетий и достигшее своего апогея накануне отмеченного в 1905 г. 100-летия Харьковского университета. Этот этап ознаменовался появлением многих фундаментальных трудов, посвященных университетской истории. В череде этих публикаций, созданных, прежде всего, Д. И. Багалеем и его учениками [См., например: 30; 32 и др.], одно из важнейших мест уделялось основателю Харьковского университета.

Газетные сообщения этого времени в большинстве своем создавались при непосредственном участии членов университетской корпорации. В данном массиве можно выделить, во-первых, публикации, сообщающие о ходе создания памятника В. Н. Каразину (сборе средств, выборе места и т. д.) [См., например: 31 и др.]; во-вторых, статьи, повествующие о жизни и деятельности В. Н. Каразина (как правило, в популярной форме знакомящие публику с результатами исследований университетских ученых) [См., например: 1 и др.]. Значительный общественный резонанс получила дискуссия о роли В. Н. Каразина в основании университета, его моральном облике и заслугах перед Отечеством, которая была спровоцирована появлением анонимной брошюры «В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета» и развернулась между университетскими историками (Д. И. Багалеем, П. Н. Буцинским, А. С. Вязигиным и др.), в т. ч. на страницах местной прессы [См., например: 6 и др.].

«Эпоха катастроф» начала XX в. и вызванные ею коренные политические, социально-экономические и идеологические трансформации наложили ощутимый отпечаток на тематику приоритетных публикаций. Имя В. Н. Каразина надолго исчезло со страниц печатных изданий (в т. ч. периодических). Молчание в прессе было прервано в 1937 г. с выходом статьи литературоведа, профессора Харьковского университета С. М. Шаховского [34].

В последующие несколько десятилетий (1940–1960-е гг.) авторами статей также выступали преподаватели и представители администрации Харьковского университета [См., например: 23; 27; 29 и др.]. Специфика каразиноведческих публикаций данного этапа состояла в том, что в них делался основной упор на вклад В. Н. Каразина в развитие отечественной науки и технологий, а авторами статей выступали не только историки (С. М. Короливский, С. А. Семенов-Зуссер, А. Г. Слюсарский и др.), но и представители естественных наук (И. Н. Буланкин, С. М. Кузьменко и др.) [Подробнее см. 7].

Отдельные университетские ученые (например, А. Г. Слюсарский), выступавшие с заметками в периодике, являлись авторами научных трудов, посвященных В. Н. Каразину [См., например: 28 и др.], и, следовательно, делились с читателями результатами собственных научных изысканий. Следует отметить также, что на данном этапе рецензии на каразиноведческие труды университетских ученых также можно было встретить в газетах [См., например: 22 и др.], что способствовало информированию широких кругов населения об этих книжных новинках.

С начала 1970-х гг. до начала 1990-х гг. статей, посвященных В. Н. Каразину и написанных представителями Харьковского университета, в периодической прессе практически не было опубликовано. Они уступили место журналистским материалам, которые преимущественно были приурочены к юбилейным датам (годовщина со дня рождения просветителя и др.) [См., например: 9; 35 и др.]. На протяжении второй половины XX в. создавались и транслировались также радио- и телепередачи, рассказывающие о жизненном пути и достижениях В. Н. Каразина. В целом содержание данной фоно- и видеопродукции совпадало с тенденциями формирования массива каразиноведческих материалов в печатных медиа.

Произошедшие на рубеже XX и XXI вв. сдвиги на мировой политической арене затронули все сферы жизни украинского общества. В том числе на повестку дня был поставлен вопрос о необходимости переосмысления многих событий и роли исторических деятелей в этих событиях, актуальной задачей стало формирование соответствующего общественного мнения.

Наблюдается неослабевающий интерес потребителей медиаконтента к темам, касающимся вопросов исторического прошлого. Например, харьковское информационное агентство «ИнформБюро» летом 2016 г. провело среди своих подписчиков в социальных сетях опрос на тему: «Какие новости Харькова вам интереснее всего?». Из 947 проголосовавших 148 респондентов (15,6 %) отдали свои голоса за раздел «Культура», который включает также видеосюжеты на историческую тематику. Более популярными оказались только рубрики «Все новости» (224 человека, или 23,7 %) и «Развлечение и досуг» (200 человек, или 21,1 %) [19] [См. рис. 2].

В условиях повышенного спроса и облегчения доступа к информации фиксируется лавинообразное увеличение количества медийных продуктов, в которых освещаются исторические события. Например, за последние 25 лет число посвященных В. Н. Каразину публикаций только в печатных СМИ (115 единиц) превысило количество аналогичных статей и заметок, изданных за предыдущие полтора столетия (100 единиц). Объем же доступной на сегодняшний день мультимедийной продукции превышает 5 тыс. публикаций.

Вместе с тем, качественный состав предлагаемых потребителю материалов в подавляющем большинстве случаев оставляет желать лучшего, что выражается в нескольких существенных признаках. Во-первых,

в условиях нарастающей конкуренции в медиасфере авторы сюжетов, пытаясь расширить аудиторию, стараются дать своим произведениям «громкие» заголовки («Василий Каразин – недальновидный помещик или романтический авантюрист?» [13] и др.), предать огласке «сенсационные факты» («К любовной драме жившего в «пушкинскую» эпоху харьковчанина Василия Каразина оказались причастны такие фигуры, как император Александр I, поэт Гавриил Державин...» [21] и др.). В итоге у читателя, незнакомого с более авторитетными источниками, может сложиться превратное мнение о личности «главного героя» этого повествования.

Вторая особенность современного медиаконтента состоит в снижении общего профессионального уровня публикуемых материалов. Речь идет не столько о формальной составляющей статьи или передачи (стиль и грамотность речи, логичность изложения и проч.), сколько о содержательном наполнении. Конечно, было бы несправедливо требовать от журналиста досконального знания исторических хитросплетений – ведь он может обратиться за консультацией к историку. Однако зачастую этого не происходит. Если проанализировать степень вовлеченности специалистов из Харьковского университета (именно здесь сложились наиболее мощные каразиноведческие традиции в нашей стране), то можно отметить неуклонное падение этого показателя. Например, в середине XIX – начале XX в. университетские ученые принимали участие в создании более 63 % каразиноведческих публикаций в прессе. В 20-х – 80-х гг. XX в. этот показатель составлял уже чуть менее 43 %, в наше время – около 39 % [См. рис. 3].

В наше время научные сотрудники Харьковского университета участвуют в создании медиаконтента различных форматов. Анализ степени их вовлеченности в этот процесс демонстрирует, что информация, продуцируемая университетским сообществом, достаточно широко используется в телевизионных (58 %) и радиопередачах (50 %) – прежде всего, производства местных телерадиокомпаний; несколько менее активно – в печатных СМИ (39 %). Доля соответствующих публикаций в Интернет-пространстве не превышает 2 %. Вместе с тем, результаты исследования медиапредпочтений жителей Харьковской области, проведенного общественной организацией «Институт массовой информации» в ноябре – декабре 2015 г., показали, что респонденты отдавали преимущественное предпочтение телевидению и Интернет-ресурсам (данный вид медиа используют в ежедневной практике

83 % и 52 % опрошенных). Печатную прессу и радио респонденты назвали наименее предпочтительными источниками информации (их практически никогда не используют соответственно 74 % и 65 % опрошенных) [14]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что медиаконтент, создаваемый при участии университетских специалистов, далеко не во всех случаях способен повлиять на конструирование образов прошлого в массовой среде [См. рис. 4].

В непосредственной связи с указанными тенденциями находится третье обстоятельство, определяющее специфику трансляции знаний о прошлом в современном медиапространстве. Развитие технологий Web 2.0 позволяет любому зарегистрированному пользователю выкладывать в глобальную сеть свои тексты, презентации, видеоролики, оставлять комментарии и т. п. В связи с этим некоторые западные ученые (А. Хаскинс и др.) утверждают, что мировое информационное пространство переживает т. н. «коннективный поворот» (connective turn), который коренным образом меняет структуру коллективной исторической памяти [См., например: 37 и др.].

Наиболее известным и востребованным интернет-ресурсом, где пользователь может быстро найти необходимый минимум информации по интересующему его вопросу, сегодня является Википедия. Отношение профессионального сообщества к этому ресурсу неоднозначно. Например, американский историк Р. Розенцвейг проанализировал биографические справки, размещенные в Википедии. Исследователь пришел к выводу, что они менее точны, чем материалы, опубликованные в «American National Biography Online», но более подробны, чем статьи в энциклопедии «Britannica». В итоге Р. Розенцвейг признает достаточно высокий уровень достоверности материалов, размещенных в Википедии [38].

К сожалению, в украинских реалиях ситуация в этом плане существенно отличается от американской. Например, в украиноязычной версии Википедии изложение биографии В. Н. Каразина отличается тенденциозностью. Отдельные эпизоды его жизни (например, членство в Вольном обществе любителей российской словесности и конфликт с представителями либерального крыла этой организации) не освещен вовсе. Имеют место многочисленные фактические огрехи: в частности, указано, что В. Н. Каразин идентифицировал себя с сербским этносом, а его фамилия имеет греческие корни. Вместе с тем, на сегодняшний день наиболее доказанной (в т. ч. документально) является болгарская

версия этнического происхождения рода Каразиных, о чем в статье нет ни слова. В качестве свершившегося факта представлены легенды (например, история о том, что в 1937 году памятник Каразину был якобы отправлен на переплавку и около 20 лет простоял во дворе одного из харьковских заводов). Наконец, в статье можно встретить утверждения, содержащие внутренние противоречия («донька козацького сотника Харківського полку Якова Івановича Коваленка Варвара Петрівна» и др.) и грамматические ошибки («гаупвахта» и др.) [20].

Однако не только статья в Википедии, но и практически каждый современный медиапродукт, посвященный В. Н. Каразину, содержит ошибки в датировках [11 и др.], выдуманные диалоги, ведущиеся якобы от лица исторических лиц [8 и др.], неверные трактовки фактов (например, В. Н. Каразин называется первым ректором Харьковского университета [18 и др.]) и т. д., и т. п. С одной стороны, это связано с изменениями, которые претерпевает сегодня медиаконтент. Очевидным становится сокращение его «жизненного цикла»: уменьшается как время на его подготовку, так и активное функционирование в информационной среде (материалы в сети Интернет могут быть удалены так же быстро, как и размещены). В этих условиях у авторов нет времени, возможности (или желания?) перепроверять сведения, которыми они собираются поделиться с читателями. С другой стороны, подобная «неосведомленность» авторов в отдельных случаях превращает медиаконтент скорее в пасквиль, порочащий имя В. Н. Каразина и бросающий тень на репутацию Каразинского университета [См., например: 2].

В любом случае, количество фактических ошибок в современных медиапродуктах, где упоминалось бы имя В. Н. Каразина, поражает своими масштабами. Опасность сложившейся ситуации состоит в том, что недостоверная информация некритически воспринимается и транслируется далее не только журналистами, но даже авторами учебно-методических публикаций [См., например: 3; 17 и др.].

Итак, ситуация представляется весьма неутешительной. Современный украинский медиаконтент, в котором освещались бы вопросы исторического прошлого, во многом ориентирован на вкусы невзыскательной публики. Материалы готовятся людьми, которые нередко имеют весьма туманное представление о предмете своего изложения. Ставка делается не на документальную точность, а на зрелищность и сенсационность. Доступность и широкое распространение медийных материалов приводит к тому, что во многих случаях они становятся

источником информации, использующейся в дальнейшем для дидактических и просветительских целей.

Что же предпринимать в сложившихся условиях? Стоит ли бороться с «ветряными мельницами»; дистанцироваться ли от проблемы, сосредоточив свои усилия на создании сугубо академических текстов; найти ли компромиссный вариант? Возможно, в будущем профессиональному сообществу историков еще предстоит выработать единую позицию относительно взаимодействия со сферой медиа. Сегодня же каждый специалист делает свой выбор самостоятельно.

1. *Багалей Д. И.* Чем обязан В. Н. Каразину Харьковский университет / Д. И. Багалей // Харьковские губернские ведомости. – 1889. – 27 мая.
2. *Бакиров В. С.* Василий Каразин : Новый взгляд? Старый бред! / В. С. Бакиров, Л. О. Каразина, С. И. Посохов // Вечерний Харьков. – 2003. – 1 дек.
3. *Бойко Ю. М.* Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина II. Випуск 2 (18–19 століття). – Вінниця, 2015.
4. *Больц Н.* Азбука медиа / Н. Больц ; пер. с нем. Л. Ионина и А. Черных. – М., 2011.
5. *Бурдье П.* Социология социального пространства / П. Бурдье ; пер. с фр. ; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. – М. ; Спб., 2007.
6. *Буцинский П. М.* Брошюра г. И-ва «В. Н. Каразин – мнимый основатель Харьков. у-та» и ответ проф. Д. Багалея в «Южн. Крае» № 8, 467 / П. Буцинский // Харьковские губернские ведомости. – 1905. – 11 сент.
7. *Вовк О. І.* В. Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних наративах : автореф. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ольга Ігорівна Вовк. – Дніпропетровськ, 2015.
8. *Гаврилов С.* Приехал в Николаев и... умер / С. Гаврилов // Южная правда. – 2016. – 15 марта.
9. *Гаврилова Л.* Свидетели живой истории : Неизвестное об известном / Л. Гаврилова // Красное знамя. – 1983. – 23 февр.
10. *Гончарук Т. Г.* В. Н. Каразин (1773–1842 рр.) та Одеса: до історії зв'язків засновника Харківського університету та «Нової Пальміри» / Т. Г. Гончарук // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. – 2012. – Вип. 26. – С. 148–158.
11. *Груша Х.* Засновник Харківського університету мав авантюрну вдачу / Х. Груша // Голос України. – 2013. – 8 лют.

12. *Дзялошинский И. М.* Россия в 1917 году в восприятии современной российской молодежи : медиадискурс / И. М. Дзялошинский [и др.]. – М., 2015.

13. *Дикань Ф.* Василий Каразин – недальновидный помещик или романтический авантюрист? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mediaport.ua/news/culture/11276/vasiliy_karazin__nedalnovidnyiy_pomeschik_ili_romanticheskiy_avantyurist. Доступ – 25.08.2016 г.

14. Дослідження медіа-ситуації на сході і півдні України : Харківська область. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://imi.org.ua/news/52732-doslidjennya-media-situatsiji-na-shodi-i-pivdni-ukrajini-harkivska-oblast.html. Доступ – 07.09.2016 р.

15. *Еляков А. Д.* Дефицит и избыток информации в современном социуме / А. Д. Еляков // Социологические исследователя. – 2010. – № 12. – С. 107–114.

16. *Жилавская И. В.* Медиаобразование молодежи / И. В. Жилавская. – М., 2013.

17. *Звєрєва Н.* Палкий український Ломоносов / Н. Звєрєва // Історія для допитливих. – 2013. – № 3. – С. 12–17.

18. Історичні постаті України. Лютий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sferaua.com/index.php/osobystosti/33-o-lihus-2-2. Доступ – 25.08.2016 р.

19. Какие новости Харькова вам интереснее всего? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://vk.com/wall-86850279_1424?post_add#post_add. Доступ – 16.10.2016 г.

20. Каразін Василь Назарович. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Каразін_Василь_Назарович. Доступ – 25.08.2016 г.

21. *Комаров В.* Каразин против Кондратьева, или История неудачного сватовства основателя Харьковского университета / В. Комаров // Ваш шанс. – 2007. – 14 февр.; 21 февр.

22. *Кондуфор Ю. Ю.* Книга про В. Н. Каразіна : [рецензія] / Ю. Ю. Кондуфор // Соціалістична Харківщина. – 1953. – 17 січ. – Рец. на кн. : Слюсарский А. Г. Василий Назарович Каразин / под ред. Д. Ф. Острянина. – Х., 1952.

23. *Кузьменко С. М.* Василий Назарович Каразин / С. Кузьменко // Красное знамя. – 1951. – 22 мая.

24. *Кулик В. М.* Роль українських мас-медіа у творенні національного історичного наративу / В. М. Кулик // Політологічні студії : Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 1. – С. 208–222.

25. *Лизунова И. В.* Безграничность медиапространства: будущее или реальность / И. В. Лизунова // Технологии информационного общества в науке, образовании и культуре. Сборник научных статей. Труды XVII Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (19–20 ноября 2014 г.). – СПб., 2014. – С. 74–80.

26. *Посохов С. І.* Образи університетів Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. в публіцистиці та історіографії / С. І. Посохов. – Х., 2006.

27. *Семенов-Зусер С. А.* Учений-просвітитель / С. А. Семенов-Зусер // Сталінські кадри. – 1948. – 25 груд.

28. *Слюсарский А. Г.* В. Н. Каразин. Его научная и общественная деятельность / А. Г. Слюсарский ; под ред. Е. С. Хотинского. – Х., 1955.

29. *Слюсарский А. Г.* Не забывайте о них / А. Г. Слюсарский // Южная правда. – 1969. – 10 окт.

30. Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем / В. Н. Каразин ; сост. Д. И. Багалей. –Х., 1910.

31. *Сумцов Н. Ф.* О памятнике В. Н. Каразину / Н. Ф. Сумцов // Харьковские губернские ведомости. – 1880. – 19 июня.

32. *Тихий Н. И.* В. Н. Каразин. Его жизнь и общественная деятельность / Н. И. Тихий. – К., 1905.

33. *Удод О.* Історія та історики у сучасному медійному просторі України / О. Удод // Історик і Влада. Колективна монографія / відп. ред. В. Смолій ; творчий керівник проекту І. Колесник. – К., 2016. – С. 193–204.

34. *Шаховський С.* Фундатор Харківського університету / С. Шаховський // Соціалістична Харківщина. – 1937. – 26 трав.

35. *Юрченко О.* Вчений, що випередив час / О. Юрченко // Ленінська зміна. – 1973. – 10 лют.

36. *Baer A.* Consuming History and Memory through Mass Media Products / A. Baer // European Journal of Cultural Studies. – 2001. – Vol. 4. – P. 491–501.

37. *Haskins A.* Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn / A. Haskins // Parallax. – 2011. – Vol. 17, № 4. – P. 19–31.

38. *Rosenzweig R.* Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past / R. Rosenzweig // The Journal of American History. – 2006. – Vol. 93, № 1. – P. 117–146.

Вовк О. І. Специфіка репрезентації знань про минуле у сучасному медіапросторі (на прикладі біографії В. Н. Каразіна)

У статті досліджується специфіка відображення історичних подій, явищ, процесів у сучасних українських медіа. Надається характеристика медіа простору як одного з полів соціального простору (за теорією П. Бурдьо). На прикладі творів, що стосуються біографії засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773–1842) аналізуються трансформації форми та змісту медіапродуктів. Описується вплив медіаконтенту на уявлення про минуле, які формуються у колективній історичній пам'яті.

Ключові слова: медіа, В. Н. Каразін, біографія, історична пам'ять.

Vovk Olga. Specificity of Representation of Knowledge about the Past in the Present Media Space (Exemplified by Vasyl' Karazin's Biography)

Specificity of media reflection of historical events, phenomena, processes was studied in the present paper. Media space as one of subspaces of social space (according to P. Bourdieu's theory) was characterized. Transformations of the form and content of media products were analyzed exemplified by works about founder of Kharkiv University Vasyl' Karazin (1773–1842). Impact of media content at perception of the past that are formed in collective historical memory was described.

Keywords: media, Vasyl' Karazin, biography, historical memory.

Рис. 1. Географическое распределение публикаций в прессе, посвященных В. Н. Каразину (середина XIX – начало XXI вв.)

Рис. 2. Тематические предпочтения потребителей медиаконтента (результаты опроса, проведенного харьковским информационным агентством «ИнформБюро» летом 2016 г.)

Рис. 3. Участие ученых Харьковского университета в подготовке материалов о В. Н. Каразине для печатных медиа (середина XIX – начало XXI вв.)

Рис. 4. Участие ученых Харьковского университета в подготовке материалов о В. Н. Каразине для всех видов медиа (конец XX – начало XXI вв.)

УДК 930.85:930(477.63)

О. І. Журба

ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРА КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ РЕГІОНУ

Висвітлюються пізнавальні можливості регіональної історіографії як інструменту вивчення історичної культури на прикладі катеринославського/дніпропетровського історіографічного простору. Виділяються деякі специфічні характеристики, що визначали якісні параметри формування катеринославської історичної та історіографічної культури: «кадровий історіографічний імпорт» та розриви у розвитку місцевої історіографії. Стверджується, що ці фактори продовжують впливати на характер регіональної історичної культури, багато в чому визначають стиль осмислення та способи реалізації історичної політики в регіоні.

Ключові слова: історична культура, регіональна історіографія, катеринославські історики, регіональне історичне співтовариство, регіональна політика пам'яті.

На острие тотального увлечения проблематикой политики памяти, рассматриваемой как инструментализация исторического знания в целях манипулирования общественным сознанием, особую актуальность приобретают исследования, посвященные генезису и формированию исторической культуры, понимаемой как пространство производства, потребления и функционирования «исторического» в определенном социуме. Такое представление существенно расширяет предметное поле как традиционной сциентистской историографии, акцентируя внимание на неразрывной связи профессионального историописания с обыденными представлениями об истории среди самых широких социальных групп, так и того сегмента публичной истории, который нацелен на выявление корреляции между обыденными (и обывательскими) представлениями об истории и приемами воздействия на них конкурирующих элитных групп.

На подступах к реализации таких подходов не обойтись без региональной исследовательской оптики, обещающей наиболее емкое по-

© Журба О. І., 2016

нимание сложного и глубоко иерархизированного взаимодействия исторического знания, исторических представлений, исторических стереотипов, ощущений, интуиции на разных уровнях национальной, социальной, религиозной, региональной исторической культуры [3].

Сегодня же презентации региональной историографии, как правило, реализуются в формах исследования и репрезентации местных историков и исторических институций, которые по принципу дополнения, так или иначе, вписываются в общую телеологическую картину единого, линейного, беспрерывного и поступательного историографического процесса.

Подчиненные задачам вписывания регионального в данное целостное, такие подходы, вольно или невольно, не учитывают всего многообразия функционирования «исторического» как отрефлексированного, так и стихийного знания о прошлом в региональном культурном пространстве. Переакцентация историографических исследований с учетом стратегий новой культурной истории дает основание говорить о становлении новой региональной историографии. Нацеленная на более глубокое познание целого через локальное, новая региональная историография ориентирована на поиск виртуальных интеллектуальных пространств с перспективами их вписывания в накладывающиеся друг на друга, сосуществующие в сложном переплетении, изменчивые, взаимосвязанные, относительно устойчивые историографические целостности. Для описания этих сложных взаимодействий кажется необходимым использование специального понятийного регистра: «историографические круги/ареалы/регионы», «историографические иерархии», «историографическое время», «асинхронность историографических процессов», «историографическая экспансия», «историографический импорт» и т.п. При такой постановке метод локализации даёт возможность рассмотрения историографического процесса в конкретных пространственно-временных рамках как некоего целого, имеющего свои специфики складывания, формирования, функционирования.

Ракурсы региональной историографии открывают перспективы изучения регионального историографического процесса как в «вертикальном» разрезе (профессиональные, аматорские, повседневные исторические знания/познания/представления, инструментализация истории в социальных практиках), так и в «горизонтальном», нацеленном на выделение разнообразных форм выражения каждого из этих уровней. Такое структурирование актуализирует проблему сегментарного взаимодействия, как в своей культурной среде, так и вне её.

При постановке задач региональной историографии особое значение приобретает источниковедческая методология, переориентирующая организацию источниковой базы историографического исследования. Налаживание подобной источниковедческой оптики и изучение с её помощью трудов историков, исторической беллетристики, периодики, учебников по истории, художественной литературы, изобразительного и фотоискусства, кино, музыки, фольклора, эго-документов в конкретных культурных ареалах создаёт выходы на такие широкие проблемы как региональное историческое сознание, историческая память, коллективная самоидентичность, то есть на те аспекты, которые в структуре исторической культуры представляются наименее изученными и осознанными в качестве предмета научного изучения. Кроме того, источником для изучения функционирования «исторического» в локальном культурном сообществе могут выступать исторические памятники, названия улиц, юбилеи, экспозиции музеев, частное коллекционирование и меценатство, аматорские исторические и археологические изыскания, конкурентные стратегии общественных групп за доминирование «своих» образов истории в общественном дискурсе, в том числе и в образовательных практиках. При этом важно разделять внутренние мотивы социума в его обращении к прошлому и внешние стимулы – элементы государственной политики памяти, формирования идеологии, внешние социальные и интеллектуальные заимствования. Исторические знания, тексты, практики формирования исторической памяти могут исследоваться не столько как результат индивидуального творчества, сколько как продукт той социокультурной и интеллектуальной среды, в которой формировались как производители, так и потребители «исторического». Таким образом, подходы новой региональной историографии могут выступать эффективным инструментом как выявления регионального историографического пространства, так и его исследования, в том числе выделения уровней функционирования исторического знания/познания как сегментов исторической культуры локальных сообществ.

На постсоветском пространстве апробация концепта «историческая культура» нашла наиболее полное воплощение в проекте «Историческая культура императорской России», реализованном в 2012 г. под эгидой Высшей школы экономики [4]. Однако, тут отношения историка с исторической политикой власти и аматорской средой было представлено, прежде всего, под углом зрения доминирования про-

фессионального знания. В современной же украинской историографии попытка показать региональную историческую культуру как сложное и равноправное взаимодействие всех её составляющих наиболее полно и последовательно была предприняла в диссертации А. Леоновой, которая выделила екатеринославский историографический субрегион последней четверти XIX – начала XX ст. как виртуальную территорию с потенциалом формирования полноценного пространства модерной исторической культуры [5; 6].

Процессу формирования екатеринославского/днепропетровского пространства исторической и историографической культуры, присущи своеобразные, специфические характеристики, наложившие существенный отпечаток на его качественные параметры. Я бы отметил две, на мой взгляд, наиболее яркие особенности. Во-первых, это «кадровый историографический импорт», что, конечно, связано с особенностями освоения и заселения Екатеринославщины и становления ее интеллектуального облика как неустойчивого конгломерата культурного опыта и исторической памяти многочисленных и почти что беспрерывных миграционных потоков с конца XVIII и до настоящего времени.

И родоначальники екатеринославского историописания середины XIX в. епископы Гавриил (Розанов) и Феодосий (Макаревский), и первые профессиональные историки региона начала XX в. Д. Яворницкий, В. Пичета, Д. Дорошенко, А. Синявский, В. Данилов, В. Беднов получили жизненный опыт, образование, навыки литературной и исследовательской работы вне Екатеринослава и региона в целом, будучи выпускниками высших светских и духовных учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Одессы, Харькова, Нежина [1; 3; 8; 9]. Все они, за некоторым исключением В. Беднова, не были выходцами из Екатеринославщины, оказались тут случайно, – в поисках работы, карьерного роста, по воле высшего руководства, – в общем потоке миграций в быстро растущий, модернизирующийся, стремительно богатеющий регион империи. Так же легко практически все они, оставив свой след в истории и культуре Екатеринослава, по тем или иным причинам, покидали город и регион, так и не ставший для них родным, близким, своим. Екатеринослав воспринимался ими как место временного проживания и службы, с которым не связывалось ни карьерное, ни личное будущее. Поэтому он так и не смог стать для большинства местных историков XIX – первой половины XX в. «своим», не чужим городом, с прошлым, настоящим и будущим которого они чувствовали бы неразрывную

связь, за которые ощущали бы ответственность, с которыми идентифицировали бы себя.

Подобная ситуация оставалась характерной для регионального историографического пространства практически до конца 1970-х гг. Так, новорожденный у 1918 г. Екатеринославский университет и его приемник Екатеринославский/Днепропетровский институт народного образования продолжали решать кадровые проблемы, прежде всего, за счет интеллектуального импорта, приглашая на работу тех, кто не мог устроить свою научно-преподавательскую карьеру в более престижных центрах. Например, мимолетным деканом историко-филологического факультета в 1918 г. стал, бежавший на юг профессор М. К. Любавский, о пребывании которого и в университете, и в городе нет практически никаких известий. Всего лишь до конца 1920-х – начала 1930-х гг. задержались в Екатеринославе, приглашенные извне профессора М. Бречкевич (выпускник Юрьевского университета), М. Злотников (Петроградский университет), В. Пархоменко (Санкт-Петербургская духовная академия), на которых возлагались большие надежды в деле воспитания первого поколения профессиональных екатеринославских историков. Однако и екатеринославские аспиранты-историки 1920–1930-х гг. (П. Козар, К. Гуслистий, П. Матвиевский), разлетелись-разбежались из Екатеринослава кто из-за репрессий, кто из-за войны, кто из-за невозможности по иным причинам профессионально реализовать себя в этом городе [8].

Когда же во второй половине 1960-х – в начале 1970-х гг. восстанавливался современный исторический факультет, то он также формировался из воспитанников Киевского, Одесского, Воронежского, Львовского и других университетов. И только со второй половины 1970-х воспроизводство историков-профессионалов высшей квалификации в Днепропетровске приобрело настолько самодостаточный характер, что сегодня весь преподавательский состав университетского истфака, других вузов города представлен практически исключительно его выпускниками.

Еще одной особенностью, тесно связанной с первой и также определяющей лицо исторической и историографической культуры региона, является резкая, бросающаяся в глаза прерывность развития екатеринославской/днепропетровской историографии. Историки не связанные с городом и краем ни культурно, ни личностно легко его покидали, не оставляя учеников, не формируя научной традиции, профессиональной и интеллектуальной среды, ориентируясь, прежде всего, на внешние на-

учные и социальные факторы. Проявилось это и на уровне основной тематики представителей первой волны историков-профессионалов, отличающейся чрезвычайным разнообразием и отсутствием крупных работ, посвященных истории Екатеринославщины и Юга Украины в целом. Так, основным героем В. Пичеты в Екатеринославе продолжал оставаться Ю. Крижанич, которому была посвящена его научная работа под руководством В. О. Ключевского в Московском университете, основная работа В. Беднова, написанная в Екатеринославе, была направлена на штудирование истории православной церкви в Польше и Литве. В. Данилов занимался вопросами истории российской и украинской литературы, общественной мысли и фольклористики, Д. Дорошенко – общественно-политической публицистикой. И только для Д. Яворницкого, общественный статус и материальное положение которого среди других историков-профессионалов региона были наиболее гарантированы, Екатеринославщина смогла стать и второй родиной, и основным предметом изучения. В свою очередь, потребность местной исторической памяти в знаковых фигурах регионального масштаба способствовала восприятию личности директора исторического музея Д. Яворницкого, уже при его жизни, как своего, екатеринославского деятеля, способного стать одним из центральных узлов и городской, и региональной исторической мифологии.

Вероятнее всего, именно поэтому вокруг образа, в общем-то, заурядного историка, творчество которого пронизывает пафос местного патриотизма и казакофильской архаики, так дружно сплотились его нынешние последователи и почитатели, превратив мифологизированную личность «козацького батька» в своеобразный символ и «нашей» екатеринославской истории, и «нашего» днепропетровского историописания [2].

Прерывность становления региональной исторической профессиональной культуры прослеживается и на институциональном уровне. Её верхний сегмент, представленный трижды закрывавшимся историческим факультетом (в начале 1920-х, в годы войны и в 1953 г.), только со второй половины 1970-х гг. оформился в качестве относительно устойчивой организационной структуры, способной и ориентированной на подготовку полного цикла профессиональных кадров историков. В этой тенденции исключительное место занял Днепропетровский исторический музей, оказавшийся единственной профильной институцией, поддерживающей на протяжении столетия по мере своих скромных сил

непрерывность существования цеха профессиональных региональных историков и ставший своеобразным стержнем формирования местной исторической культуры. Причем выражалось это абсолютно предметно, явственно и публично и через визуальное восприятие музейных предметов, собранных и выставленных стараниями многих поколений екатеринославских/днепропетровских музейщиков, и через постоянную востребованность профессиональных кадров.

Прерывность в развитии исторической культуры выражалась и в отсутствии регулярной местной исторической периодики. Выходивший к 100-летию города в 1887 г. специальный «Юбилейный листок», который по праву можно считать первым екатеринославским историческим периодическим изданием, как и предполагалось его создателями, печатался всего два месяца. Издание основательной «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии», на страницах 10 томов которой отразилась история края, и благодаря которой стало формироваться региональное сообщество историков, прекратилось в связи с Первой мировой войной. Исторический том «Записок ДГУ», появившись в середине 1950-х гг., тогда же и перестал выпускаться. И только с середины 1970-х гг. стали регулярными выпуски сборников исторического факультета.

Ретроспекция современного состояния сообщества историков региона позволяет отнести генезис первого поколения собственно днепропетровского цеха историков ко времени двух послевоенных десятилетий, когда заступили на свою беспрерывную службу на профессиональном поприще Д. П. Пойда и В. Я. Борщевский. Позднее, они вполне справедливо снискали себе несколько пафосное звание «отцов-основателей» исторического факультета: и по праву своего, приобретенного в первой половине 1960-х гг., статуса доктора исторических наук, что создавало кадровые предпосылки для очередного восстановления/возрождения истфака, и по их роли в этом процессе, и, наконец, благодаря своей долголетней работе по подбору и воспитанию последующих генераций местных историков-профессионалов. Образ этих профессоров с разнообразными жанрово-эмоциональными оттенками, – от сугубо серьезных научных оценок в строгих «Историях ДНУ» и до комично-ироничных баек, легенд, факультетского фольклора, – пронизывает память исторического сообщества Днепропетровска вот уже более полувека. Со временем на неё накладывалась память о втором, третьем, четвертом, даже уже

о пятом поколении, создавая сложную вязь отношений и состояний как внутри сообщества, так и во внешнем мире. Наличие и сохранение таких мифов, сказаний и легенд представляется одним из индикаторов зрелости и сформированности научно-педагогического сообщества и исторической культуры в целом.

Одним из важнейших факторов становления исторического факультета стал умелый и высококвалифицированный менеджмент на начальной стадии его новейшей истории. Это связанно, прежде всего, с деятельностью профессора А. М. Черненко, возглавлявшего факультет в 1977–1987 гг. Он сумел не только создать нормальный морально-этический климат в еще не сложившемся, раздираемой групповщиной коллективе, но и всячески стремился поддерживать коллег, ориентированных на творческий научный поиск. Наглядным результатом такой политики в 1980-х – начале 1990-х гг. стало проведение на базе днепропетровского истфака ряда Всесоюзных конференций высочайшего уровня, массовая «докторизация» ведущих специалистов факультета (М. П. Ковальский, И. Ф. Ковалёва, А. К. Швидько, А. Г. Болебрух, Ю. А. Мыцык, А. С. Завьялов, В. В. Подгаецкий, И. И. Колесник, В. В. Иваненко, С. Н. Плохий, В. К. Якунин, В. М. Калашников, К. А. Марков), работы которых получили признание далеко за пределами Украины, создание сети профильных научных сборников, освоение широких и разнообразных форм научной коммуникации, наконец, повышенный спрос на днепропетровских историков как в рамках самого университета и других вузах города, так и за их пределами. Особенно мощный отток квалифицированных кадров историков высшей квалификации наблюдался с истфака в 1990-е гг., когда по разным причинам его покинуло до трети докторов наук.

Словом, как бы там ни было, только в последние советские годы днепропетровское историографическое пространство из мерцающего на общем фоне субрегиона, каким оно представлялось на рубеже XIX – XX вв., смогло оформиться в полноценное, устойчивое научное сообщество, занявшее не только свое место на историографической карте, но и ставшее неотъемлемой частью и репрезентантом современного интеллектуального и культурного ландшафта Днепропетровска и Украины в целом.

Между тем, отмеченные особенности складывания полноценного сообщества историков, присущие екатеринославскому региону, во многом продолжают оказывать существенное воздействие на характер современной исторической культуры, стратегии инструментализации

истории, функционирование исторической памяти и роль профессиональных историков в конструировании исторической политики на местном уровне.

Региональное профессиональное цеховое пространство продолжает сохранять завидную эластичность исторической памяти, проявляющую особую чуткость к внешним воздействиям (феномен «пугливых историков»), особенно в переломные годы. Так, в пространстве исторической памяти региона рельефно выделяются три основных периода: имперский, советский и современный. Характер их формирования, отображая поколенческие, социальные, мировоззренческие, идеологические и иные специфики восприятия и использования местной истории, во многом зависел от готовности сообщества сохранять/прерывать/трансформировать образы своего прошлого, оказывать отпор/подчиняться давлению каждого нового политического режима, его идеологем и идеологов. В нашем же случае историческая культура региона демонстрировала скорее готовность к разрывам и подчинению, нежели к восприятию органики собственной истории как непрерывного, «нашего» исторического процесса, поддержанию его преемственности. Особое место отводилась здесь активной роли дипломированных историков, демонстрировавших в переломные периоды гораздо большую готовность следовать в фарватере идеологии «победителей», чем поддерживать профессиональные этические нормы.

Формируя на каждом из этапов исторической культуры комплексы своих знаков и символов, конструкторы исторической памяти решительно и безкомпромиссно отрицали и отрицают право и возможность их трансляции за пределы «своего» времени. Особенно ярко это проявилось в региональных спецификах топографической «декоммунизации», в реализации проектов которой днепропетровские историки принимали и принимают участие с небывалым энтузиазмом, прочно заняв, лидирующие позиции среди иных инициативных групп. Не вдаваясь в детали этого процесса, который заслуживает особого рассмотрения, в том числе и в связи с разительным сходством его стилистики и методов проведения с аналогичными мероприятиями по «деимпериализации» на заре советской власти, стоит отметить ту легкость, с которой огромные периоды отечественного и регионального прошлого превращались в писаниях и публичных выступлениях из «своей» в «чужую» историю. Усвоение же собственной истории как «своей» на всем её протяжении остается для региональной исторической культуры весьма сложной и

весьма проблематичной задачей. Алгоритм же превращения «своей» истории в «чужую» для местных историков и исторической памяти региона в XX – начале XXI вв., оказался значительно проще и ближе, чем «освоение» «импортными» профессиональными кадрами XIX – начала XX вв. истории Екатеринославщины.

Не смотря на внешние признаки сформированности профессионального цеха днепропетровских историков, он, как профессиональное сообщество оказался в плену не только внешних воздействий на выработку стратегий формирования исторической памяти, но и тех родовых признаков исторической и историографической культуры, которые до сих пор определяют незавершенность и неустойчивость как профессиональной корпорации, так и незрелость и конфликтность исторической памяти региона.

В этих условиях неглубокие, прерывные, «импортные», ориентированные на внешний опыт и традиции практики и стратегии конструирования исторической памяти, направленные на вытеснение её конкурентных форм, угрожают стать эксклюзивными параметрами, представляющими не только региональную историческую и историографическую культуру.

1. *Заруба В. М.* З вірою в українську справу: Антін Степанович Синявський / В. М. Заруба. – К., 1993. – 144 с.
2. *Журба О. І.* Історіографічна доля Д. І. Яворницького / О. І. Журба // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Розвідки з теорії та методології досліджень. – Д., 2008. – С. 220–223.
3. *Журба О. І.* Культурна та історико-археографічна діяльність архієпископа Гаврила (В.Ф. Розанова) в Південній Україні / О. І. Журба // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Д., 1997. – Вип. 1. – С. 220–238.
4. *Журба О. І.* Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей / О. І. Журба // Регіональна історія України. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 47–58.
5. Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / отв. ред. А. Дмитриев. – М., 2012. – 551 с.
6. *Леонова А. В.* Историографический процесс второй половины XIX – начала XX вв. в региональном измерении (по материалам Слободской и Южной Украины) : автореф. дис. …канд. истор. наук: 07.00.06. / А. В. Леонова. – Д., 2013. – 20 с.

7. *Леонова А. В.* О построении модели исследования регионального историографического процесса / А. В. Леонова // Мир историка. – Омск, 2013. – Вып. 8. – С. 165–176.
8. *Портнов А. В.* Історія істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття / А. В. Портнов. – К., 2011. – 237 с.
9. *Світленко С. І.* Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві / С. І. Світленко. – Д., 2015. – 312 с.
10. *Швидько Г. К.* Катеринославщина та її найвидатніші діячі духовного звання (XVIII – XIX ст.) / Г. К. Швидько // Макаревский Ф. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы прошедшаго XVIII столетия [Репринт 1880 р.]. – Д., 2000. – С. 3–28.

Журба О. І. Историческая культура Екатеринославщины и особенности формирования исторической памяти региона

Освещаются познавательные возможности региональной историографии как инструмента изучения исторической культуры на примере екатеринославского/днепропетровского историографического пространства. Выделяются некоторые специфические характеристики, определяющие качественные параметры формирования екатеринославской исторической и историографической культуры: «историографический импорт» и разрывы в развитии местной историографии. Утверждается, что эти факторы во многом продолжают определять стиль осмысления и способы реализации исторической политики в регионе.

Ключевые слова: историческая культура, региональная историография, екатеринославские историки, региональное историческое сообщество, региональная политика памяти.

Zhurba Oleg. Historical Culture of Katerinoslav Region and the Peculiarities of Formation of the Region's Historical Memory

The cognitive capabilities of regional historiography as a tool for the study of historical culture on the example of Ekaterinoslav / Dnipropetrovsk historiographical space are revealed. Specific characteristics which determine the quality parameters of the formation of Ekaterinoslav historical and historiographical culture are highlighted: they are «historiographical import» and fragmentation, discontinuity of the local historiography. The author argues that these factors continue to determine the style of thinking and ways of implementing of historical policy in the region.

Keywords: historical culture, regional historiography, Ekaterinoslav historians, regional historical community, regional politics of memory.

УДК 378.4.091.21(477.54)(093)"1920/1930"

В. Ю. Іващенко

«СВОЇ» ТА «ЧУЖІ» В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПАМ'ЯТІ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ ПРО ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1920 – 1930-х рр.)

У статті робиться спроба дослідити процес трансформації університетського співтовариства в умовах реформування системи освіти в Україні в 1920 – 1930-ті рр. Особлива увага приділяється аналізу шляхів формування, функціонування та трансформації образів-уявлень «свій», «чужий» «інший» в університетській пам'яті. Зокрема, на матеріалах мемуарних та автобіографічних текстів аналізуються соціальні, національні, культурні, світоглядні, ментальні та інші протиріччя, характерні для університетського співтовариства цього періоду.

Ключові слова: університетська пам'ять, університетська культура, «нові» професора та студенти.

У 2008 – 2010 р. було видано два томи збірки «Харківський університет XIX – початку XX ст. у спогадах його професорів та вихованців», які дозволяють скласти уявлення про образи багатьох явищ університетського життя, що відбилися у свідомості тогочасних студентів та викладачів [26]. Продовженням цієї роботи стало видання, до якого увійшли спогади викладачів і студентів Харківського університету, а також інституцій, що виникли у процесі реорганізації системи вищої освіти в Україні в 1920 – 1930-е рр. – Академії теоретичних знань (АТЗ), Харківського інституту народної освіти (ХІНО), Харківського педагогічного інституту професійної освіти (ХПІПО) та Харківського фізико-хіміко-математичного інституту (ХФХМІ) [27][1] .

Усього в даній збірці зібрано близько 40 різних за обсягом, жанровою приналежністю та змістом спогадів. Частину мемуарних текстів було написано та опубліковано в радянський період (автобіографії Д. І. Багалія і О. І. Білецького, мемуари О. І. Ахієзера, А. К. Кікоїна

[1] Видання опубліковано за фінансової підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету з Вічного фонду імені Михайла та Дарії Ковальських.

© Іващенко В. Ю., 2016

та ін.). Ряд спогадів, написаних до 1991 р., дійшли до нас у рукописах, які зберігаються у фондах Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Б. Д. Антоненка-Давидовича, О. Ф. Бавикіна, Н. Г. Білоконя та ін.), Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (І. К. Білодіда, Д. Х. Острянина), приватних колекціях (Л. П. Ніколаєва), інші були опубліковані після розпаду СРСР (І. М. Буланкіна, А. М. Утєвського). На зарубіжного та діаспорного читача були розраховані спогади колишніх студентів та викладачів Харківського університету, які через різні причини емігрували із СРСР: О. К. Буревій, Л. З. Копелева, Ю. А. Лавріненка, Н. М. Третяк-Шилдс, Ю. В. Шевельова та ін. Нарешті, невелику частину спогадів було створено вже після здобуття Україною незалежності: Б. М. Красовицького, В. С. Когана, О. М. Матвієнко, Ю. В. Прокудіна, І. К. Рибалки та ін.

Безумовно, особистість автора, час створення та умови публікації того чи іншого джерела значною мірою зумовлюють його зміст, однак для усіх мемуарних текстів цього періоду характерною є яскраво виражена дихотомія «свій» – «чужий». Дослідниця Н. Г. Колошук, аналізуючи роман І. Сельвінського «О, юность моя!», відзначає: «Література, особливо мемуарна та автобіографічна проза, зосереджена на авторському самоаналізі, надає цінний матеріал для аналізу образу Чужака нарівні з образом Свого, образом Я» [13, с. 49]. Тим більш цікавою є мемуарна література, що розкриває світогляд людини в переломну епоху, коли перед особистістю постає проблема складного вибору.

Говорячи про дореволюційний університет, ми можемо фіксувати наявність університетської корпорації із певними правами, власною системою цінностей, культурними установками та етичними нормами. Нові політичні умови і як наслідок – «реорганізація» / «ліквідація» університетів в Україні [17], поклали початок формуванню «нової» професури та «нового» студентства, на долю яких припало чимало випробувань. Ці процеси супроводжувались зміною повсякденного життя університетської людини, кола її спілкування, вимагали від неї пошуку нових орієнтирів.

Характеризуючи дихотомію «свій» – «чужий», дослідники також часто пропонують категорію «інший», яка немає усталеного тлумачення. На думку Є. Ю. Кислякової і В. В. Соломіної, «чуже» трактується як вороже, таке, що несе потенційну загрозу, тоді як «інше» передбачає зацікавленість, що в подальшому або дозволяє сприйняти цей «інший

досвід», спочатку піддавши «своє» самокритиці та самоаналізу, або відкидає його, знову трансформуючись в опозицію «свій» – «чужий» [11, с. 73]. Інший підхід до розуміння концепту «свій – чужий – інший» пропонує Л. П. Рєпіна: «Якщо «Чужий» перебуває нібито за зовнішньою межею кола інтересів співтовариства, то «Інший» може бути фактично своїм, однак за наявності певних якостей або знань є культурно «Іншим», соціально «Чужим», або маргіналом» [20, с. 261–262].

Відзначимо, що доброзичлива зацікавленість не була характерною для більшості мемуаристів, які зверталися до спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр. Один із небагатьох прикладів привласнення «чужої» культури надають мемуарні нариси І. М. Буланкіна. Іван Миколайович походив із селянської родини, під час громадянської війни був мобілізований до лав Червоної армії, а потім відряджений на навчання до новостворюваного Харківського інституту народної освіти. Будучи активним прибічником радянської влади, І. М. Буланкін виступав за створення ІНО на противагу старому університету. «Борьба протекала под лозунгом: «за ИНО!» или «за Университет!», что в переводе на политический язык означало: «за или против Советской власти»[1] [6, с. 47]. У цій боротьбі І. М. Буланкін беззастережно був на боці радянської влади. Однак за свідоцтвом доньки І. М. Буланкіна Н. І. Буланкіної, її батько з часом, під впливом своїх учителів, усвідомив необхідність відновлення університетів як інституцій, що розвивають та транслюють фундаментальні наукові знання [27, с. 304–305].

Показово, що саме по відношенню до викладачів студенти виявляли найбільшу лояльність. Звісно, вони вказували на неоднорідність професорсько-викладацького складу, виокремлюючи так званий «спадок старого імператорського університету» та нову українську професуру [28, с. 106–107], або пропонуючи більш поетичний поділ на «сочувствующих», «иронических», «растерянных», які за зовнішнім виглядом поділялися на «лощеных» та «опростившихся» [25, с. 51]. Інколи мова також йшла про відкриті конфлікти з викладачами. Так, студент 1930-х рр. І. О. Плахтін через тридцять років після описуваних подій відзначав: «З пекучим соромом згадується, як ми, комсомольці, ще дуже малописьменна братія, не раз атакували Л. А. Булаховського, вимагаючи самокритикуватися за те, що вперто він не визнавав «теорії Мара» у мовознавстві» [18, с. 138]. Однак у більшості випадків студенти віддавали належне своїм учителям, зокрема, із захопленням згадуючи літературознавця О. І. Білецького та мовознавця Л. А. Булаховського. Так, вельми показовою є невелика замальовка О. Д. Соловей: «Стоїмо в черзі по стипендію. Суміжне віконце для викладачів, там черги немає. Підступає невисокий чоловік в окулярах. Моя сусідка – вона з літфаку – шепоче на вухо: «Булаховський». В її устах це звучить майже як «бог»» [23, с. 264].

[1] Спогади подаються мовою оригіналу.

Про відсутність різкої конфронтації між студентами та викладачами свідчать мемуари самих викладачів. Д. І. Багалій згадував про серйозну підготовку випускників гімназій та прагнення до знань «студентів-пролетарів», стверджуючи, що «навчальна праця в Інституті була для мене… люба і завдовольняла мене: я викладав лекції українською мовою; численна (значною мірою пролетарська) авдиторія дала мені новий імпульс для навчальної праці» [2, с. 24]. О. І. Білецький, якому на відміну від Дмитра Івановича, робота в «б[ывшем] Университете» не була до душі, пояснював це, передусім, недовірою «к «спецам» со стороны тогдашнего вузовского начальства», а також багато чисельними експериментами «вроде перехода на «Дальтон-план», «производственного уклона», «бригадного метода» и т[ому] под.» [3, с. 30].

У свою чергу, підхід до тріади «свій – чужий – інший», запропонований Л. П. Рєпиною, дозволяє зафіксувати національні, соціальні, культурні, ментальні та інші протиріччя, характерні для університетського співтовариства 1920 – 1930-х рр. При цьому спогади доволі точно вказують на зміну структури співтовариства під впливом як зовнішніх факторів, так і процесів, пов'язаних із його внутрішньою еволюцією.

Безумовно, найбільш гостро в цей період усвідомлювалися соціальні протиріччя. Не випадково О. Л. Рябченко в монографії, присвяченій студентству 1920 – 1930-х рр., говорячи про «своїх» та «чужих» (а це спеціальний розділ монографії), робить акцент, передусім, на соціальному аспекті цієї проблеми, а саме походженні студентів [22, с. 118–134].

Спогади фіксують різні прояви соціального протистояння. Передусім мемуаристи відзначають відмінності у зовнішньому вигляді студентів. І. М. Буланкін наступним чином описав студентів початку 1920-х рр.: «Поражала пестрота лиц, одеяний. Кого там только не было: молодых людей, избегающих службы в армии, сынков и дочек торговцев, спекулянтов, детей бывшего чиновничества, неудачников-офицеров и просто «белых», укрывшихся под «сенью» советского вуза… Разнообразие одеяний. Наряду с потертыми пальто, потрепанными студенческими плащами, выцветшими приплюснутыми студенческими фуражками – признак «старого студента» – блестели новизною синие околыши вновь поступивших, начищенные пуговицы с двугла-

вым орлом на студенческой тужурке, купленной специально по случаю поступления в б[ывший] Университет на благбазе, космы шевелюры, кокетливо выступающей из-под вытертой шляпы – возвышенный образ мыслей... Изредка новые меховые шубки – признак нарождающегося непманства. Шинели, солдатские шинели не в большой моде – их немного. Они в большинстве резко отделяются от общей массы. Это люди, прибывшие в ИНО из рядов Кр[асной] Армии… – первые ласточки – советизаторы б[ывшего] Университета» [6, с. 47]. Далі міститься вказівка на важливість комунікативної складової, яка відразу дозволяла ідентифікувати «свого» в достатньо строкатому оточенні: «Обращение самое изысканное. Кругом слышится: «господа» «коллеги», больше – «коллеги» – солиднее звучит – Университет напоминает, да и спокойнее: не ровен час, наскочишь на какого-нибудь нахала – обругать может. И слово «товарищ» произносишь с каким-то особым смаком и только к действительно товарищу» [6, с. 47]. Після чого, як уже зазначалося вище, автор переходить до опису світоглядної складової.

Крім того, в окремих мемуарах ми бачимо пряму вказівку на соціальний склад студентства. Студентка кінця 1920-х рр. Л. А. Дражевська, характеризуючи труднощі, з якими вона зіткнулася під час навчання у ХПІПО, звернула увагу на особливості формування студентського контингенту: перевага надавалася вихідцям із робітничого середовища, менше було дітей селян («бідняків» та «середняків»), ще менше дітей так званої «трудової інтелігенції», тобто лікарів, учителів, інженерів; 3 – 4 % складали діти службовців; взагалі не приймали дітей так званого «чужого елементу». Для того, щоб вступити до вищого навчального закладу, останні змушені були приховувати своє походження [9, с. 101].

Студент середини 1930-х рр. Б. М. Красовицький змальовує схожу картину: «Трудно себе представить, насколько пестрым по составу был наш первый курс. И по возрасту, и по социальному положению, партийности, по уровню подготовки, жизненному опыту и опыту работы, даже по семейному положению. Самые старшие из нас были ровесниками века и участниками гражданской войны, а я и еще несколько моих сверстников к тому времени не достигли совершеннолетия. На курсе было много крестьянской молодежи, причем некоторые успели побывать в батраках, часть студентов пришла в университет после работы на фабриках и заводах – в цехах или школах ФЗУ» [14, с. 161].

Утім, якщо в загальних характеристиках ми спостерігаємо соціальну неоднорідність студентів протягом усього періоду 1920 – 1930-х рр., то

зовнішні відмінності поступово зникають. Студентка середини 1930-х рр. Г. Т. Солонська під час інтерв'ю відзначила: «Одевались весьма скромно. Как выглядела одежда? Она не отличилась ничем особым от одежды других видов молодежного коллектива, собрания. Но, в основном, были одеты однотипно, ничего особого не припоминаю» [10, с. 217].

Цікаво, що в деяких випадках студенти за допомогою одягу цілком свідомо корегували свою ідентичність. Так, студентка кінця 1920 – початку 1930-х рр. О. М. Матвієнко згадувала, що вона разом зі своїми сусідками по гуртожитку, заощадивши кошти на їжі, купили однакові демісезонні пальто: «Потом, когда мы с общежития по Пушкинской мчались по утрам на занятия в главный корпус – нам все уступали дорогу и кричали – «Вот, смотри, это же детдомовки». Нет, мы не детдомовцы, мы были коммуна!» [15, с. 117].

У той же час Н. Г. Білоконь, описуючи протистояння зі студентськими активістами, позначив фактично протилежну стратегію побудови – через заперечення: «Коли в мене завелися гроші, а слідом за ними і одяг, – на зборах почалося з'являтися і моє прізвище. Я, як міг оборонявся, протестував. А щоб гостріш дошкулити Чепізі і Морозу – до свого шкіряного реглана я припасував хутряний комір та став вив'язувати дуже яскравого, довжиною аж до колін, галстука. Придбав я тоді дзеркального блиску жовті краги, а галіфе англійського шевіоту, замінив на англійський гольф. Війна стала набирати прихованого і затяжного характеру» [5, с. 135].

Одяг міг також маркувати національну ідентичність. Б. Д. Антоненко-Давидович, який вступив до Харківського університету в 1917 р., згадував: «…тепер мені випадало опинитися в першому революційному наборі Харківського університету. Але мало чим відрізнявся цьогорічний склад студентів від попередніх, дореволюційних; хіба що тільки під студентськими тужурками тепер було видно не тільки традиційні, демократичні «косоворотки», а й вишивані сорочки, що мало означати – цей студент є «свідомий українець» [1, с. 17]. Утім, значно краще говорила про національну приналежність мова спілкування.

На початку 1920-х рр. починається українізація вищої школи. Обов'язковою мовою викладання стає українська. Як відзначає К. К. Платонов, «лишь немногим профессорам, например, Воробьеву, разрешалось читать лекции по-русски. Большинство же читало на смеси русского с украинским… Некоторые, забыв украинское слово, прервав лекцию, листали словарь и с радостью пользовались подсказками студентов… Доцент Безуглая, ведя занятия по гистологии,

нашла блестящий выход: пробормотав что-то невнятное по украински, она тут же постоянным рефреном говорила: «Чи поняли? Чи ни?» И повторяла все подробно по-русски» [19, с. 65 – 66].

Утім, ряд професорів відмовлялися змінювати мову викладання. Ю. В. Шевельов згадував про те, що О. І. Білецький читав лекції виключно російською мовою. Починаючи викладати курс теорії літератури, він звернувся до студентів із наступними словами: «Курс російської літератури я повинен читати по-російськи. Щодо цього курсу, то він повинен читатися по-українськи. Я сподіваюся, ви мені вибачите, що я читатиму його теж по-російськи. Ми вибачили. Ми були як мореплавці, він – сирена. Ми були зачаровані» [28, с. 114]. Коли в 1939 р. О. І. Білецького було обрано академіком АН УРСР, він, за свідоцтвом того ж Ю. В. Шевельова, з іронією зауважив: «Вы знаете, меня назначили украинцем!» [28, с. 114][1] .

Показово, що сам О. І. Білецький у своїх автобіографічних записках (більшою частиною російськомовних) звертався до української мови для того, щоб позначити конфліктні ситуації. Зокрема, він згадував, що відповіддю на його виступ на захист викладання іноземної мови було іронічне зауваження: «Професор Білецький має на думці старий університет»» [3, с. 31]. Спроба заступитися за казку, як предмет дитячого читання, завершилася «розгромом» з боку критика М. М. Новицкого, який заявив: «Професор Білецький рекомендує нам оце старе барахло: нащо нам оці казки, коли ми сами найчудовіша з казок» [3, с. 31] і т. д.

У студентському середовищі здебільшого розмовляли українською, хоча і тут існувала своя диференціація. За спогадами Л. А. Дражевської, «розмовна мова між студентами з провінції була українська, так звані «городські» воліли говорити по-російському, але вміли говорити й по-українському» [9, с. 102].

Слід зазначити, що для інтелігенції, яка проживала на території України, національність часто була предметом вибору. Так, спогади Ю. В. Шевелева свідчать про доволі складний процес пошуку власної національної ідентичності.

Тривалий час зосереджений на власному Я, Шевельов не цікавився історією власного роду. Батька, Володимира Карловича Шнейдера (німця родом із Польщі, який під час Першої світової війни змінив своє прізвище на Шевельов, по-батькові – Юрійович), він не знав, а з матір'ю,

[1] Водночас, варто зазначити, що внесок О. І. Білецького у вивчення української літератури незаперечний, а сам Ю. В. Шевельов мав портрет О. І. Білецького у своєму кабінеті.

Варварою Володимирівною Медер («напівнімецького роду» з України), хоча й прожив більшу частину життя, не говорив про її минуле. Народився Ю. В. Шевельов у Харкові, однак у всіх документах місцем його народження названа Ломжа. Батько був офіцером, і для того, щоб приховати «соціальне походження» дітей, мати Ю. В. Шевельова вказала Ломжу, яка в цей час вже знаходилася на території Польщі. Ю. В. Шевельов відзначив, що таким чином він «принаймні географічно… став поляком», хоча відразу уточнив, що під час перебування в Польщі, нічого польського в їхньому домі не було, і він виховувався в російському культурному та мовному середовищі [28, с. 9, 17–18].

В уявленні Ю. В. Шевельова українська мова ототожнювалася зі «свіжими прибульцями з села» [28, с. 39], у той час як коло його спілкування становили переважно євреї, що, на думку Ю. В. Шевельова, не було випадковим: «Головною причиною було те, що євреї не були селюками… Було в них щось, що наближало їх до космополітизму» [28, с. 49].

«Відкриття України» сталося під час навчання у старшій школі, коли сестра Ю. В. Шевельова отримала в подарунок «Ілюстровану історію України» М. С. Грушевського. Ю. В. Шевелев зауважив дарувальнику: «Українська мова існує, але вона некрасива», на що отримав відповідь: «Мова, якою говорять мільйони людей, не може бути некрасивою» [28, с. 64–65]. Ця подія стала зворотною, після чого «українськість лишилася на все життя» [28, с. 66]. При цьому Ю. В. Шевельов сприймав українську культуру передусім через театр та літературу, оскільки, як він відзначив, «… я не був селюк, і українскість найбільше промовляла до мене через європейскість» [28, с. 67].

Свідомий вибір Ю. В. Шевельов зробив пізніше. Під час отримання паспорту слід було вказати свою національність. За його спогадами, «було б куди безпечніше написати росіянин, і це цілком залежало від мого вільного вибору, але після недовгих вагань я вибрав – українець» [28, с. 67]. Намагаючись обґрунтувати свій вибір, Ю. В. Шевельов вказав на/е декілька факторів: по-перше, на його думку, незважаючи на німецьке походження батьків і виховання у російському культурному середовищі, «українскість» завжди була в родині; по-друге, «саме місто Харків назовні було російське, але українськість якось ірраціонально жила в Харкові, жила в матері та сестрі… Тисячею дрібниць вона входила в життя» [28, с. 67].

У 1930-і рр. на зміну українізації приходить зворотній процес. Як згадував М. О. Ветухів: «Практично по вузах українська мова не була

заборонена, але здискредитована. Стільки говорено про націоналізм, про шкідників у проведенні українізації, стількох викладачів і професорів заарештовано за націоналізм, або звільнено і примушено виїхати з України, що кожний вважав безпечнішим просто для збереження життя говорити по-російському» [8, с. 42]. Вельми показовим виглядає випадок, про який розповіла студентка історичного факультету кінця 1930-х рр. Н. М. Третяк-Шилдс. Під час викладання курсу лекцій професор М. М. Пакуль перейшов з українською мови на російську, що призвело до зіткнення між «сільськими» студентами та комсомольським «активом»: «Сільські» наполягали на тому, що Харківський університет – найстаріший університет в Україні, а офіційною мовою Української соціалістичної республіки є українська. Основна частина студентів мовчала, і я також. Наступного дня по факультету прокотилась лавина зібрань – партійних, комсомольських та профспілкових. Всі вони обговорювали «випадок грубого порушення трудової дисципліни, внаслідок чого викладач був змушений припинити лекцію і залишити аудиторію». Студентам із сіл було оголошено догану» [24, с. 274].

У наведених вище прикладах, серед іншого, можна побачити протиставлення «сільської» та «міської» культури, пов'язане із рівнем освіти і особливостями виховання. В. С. Коган, згадуючи коло свого спілкування, особливо виділяв Б. І. Вєркіна: «…Борис, получивший домашнее образование, владеющий иностранными языками, хорошо разбирающийся в искусстве, в том числе музыкальном, обладал и высокой культурой, и глубокими знаниями, так нам недостающими. Поэтому, несмотря на то, что он был лет на 5 – 6 моложе нас и не прошел жизненной школы, которая была у нас за плечами, мы к нему испытывали, пожалуй, даже почтение» [12, с. 232]. Нестачу загальної культури зафіксовано у випадку, про який згадують декілька мемуаристів. Одного разу на лекцію до Є. М. Ліфшиця прийшов Л. Д. Ландау і запропонував студентам відповісти на питання із складеної ним вікторини. «Вопросы были самые разнообразные – из истории, географии, литературы, астрономии и т. д., то есть из областей, о которых большинство из нас, не получивших систематического среднего образования, имело представление довольно смутное. Поэтому наши ответы на вопросы викторины дали Ландау богатый материал для анекдотов, которые вскоре расползлись по Харькову» [12, с. 236].

Професор Л. П. Ніколаєв у щоденниковому записі, датованому 1 січня 1937 р., коротко резюмував: «А новой советской интеллигенции – нет. Ведь нельзя назвать интеллигентами полуграмотных людей, даже если закончили высшее учебное заведение. Недели две тому назад была произведена проверка грамотности студентов Харьковского университета: им предложили написать диктант на русском языке. Оказалось, что 94 % студентов получили оценку «плохо» и «очень плохо» и лишь 0,8 % – оценку «отлично». Итак, меньше одного процента студентов могут писать без ошибок» [16, с. 254].

Ряд мемуаристів відзначають спроби подолати «культурний бар'єр»: Б. М. Красовицький згадував про практику «буксиру», коли до студента, який добре встигав, прикріплялися декілька тих, хто відчував труднощі в навчанні, і він працював з ними в позанавчальний час [14, с. 162]; Н. М. Третяк-Шилдс писала про те, як запрошувала дівчат із села до себе додому на обід [24, с. 273]. Як наслідок, за спостереженнями мемуаристів, відкрите протистояння у студентському середовищі кінця 1930-х рр. було відсутнім, однак як відзначав Б. М. Красовицький, певна «невидимая грань» відчувалася [14, с. 164].

З одного боку, тут можна говорити про різні ментальні установки. Наприклад, Ю. В. Шевельова, який, як уже зазначалося, свідомо обрав «українскість», дивував «патологічний нахил» сільських студентів до хорового співу: «Варт було зійтися кільком з них, як вони зачинали співати… Їм не треба було навіть договорюватися, коли співати і щò, – роти самі відкривалися і виспівували те саме, не умовляючися. Щодо мене, то я ніколи не любив хорових співів, навіть кваліфікованими ансамблями» [28, с. 100 – 101]. Водночас мемуаристи, які народилися в селі або маленькому містечку, із задоволенням згадували відповідні моменти. Для випускника ХПІПО 1932 р., академіка АН УРСР и АН СССР І. К. Білодіда це було важливою складовою студентського життя: «А як ми співали всі гуртом! І досі, коли ми, колишні студенти, сходимося, то згадуємо і дні навчання, і наші пісні» [4, с. 110]. Схожим чином висловлювався на сторінках своїх спогадів студент-історик кінця 1930-х рр., професор Харківського університету І. К. Рибалка: «Як голосно щодня в час перерв між заняттями лунали бадьорі й ліричні пісні!... З якою силою і почуттям ми співали: Розпрягайте, хлопці, коні… Ой при лужку, при лужку… Часто в час нашого співу люди, що проходили вулицею, зупинялися й слухали цей спів, думаючи, що це йде якийсь концерт. І не раз деканові доводилося припиняти нашу співанку і прямо заганяти нас в аудиторії слухати лекції» [22, с. 280].

З іншого боку, упродовж усього зазначеного періоду формування «нового пролетарського» студентства і «нової» професури супровод-

жувалося «чистками» та репресіями. За кілька годин «інший» міг стати «чужим», більше того, «ворогом». Л. А. Дражевська згадувала про два свої виключення із університету – в 1929 і 1935 рр., що були пов'язані з арештом її батька. У другому випадку рішення було прийнято блискавично: «За кілька днів після цього були скликані збори нашої групи, її комсорг Логвиненко, один з кращих студентів, з яким добре ми приятелювали, виголосив промову про те, що такій контрреволюціонерці, як я, не місце в університеті. При тому руки і голос його тремтіли» [9, с. 108].

Тому поряд із розповідями про студентську дружбу зустрічаються інші характеристики студентських взаємин. Різні за соціальним та національним походженням студенти як основну стратегію поведінки обирали мовчання. За словами О. К. Буревій, «за часів мого студентства ми не провадили жадних розмов щодо походження або щодо політики. Наче за Орвеллом, усі небезпечні теми вилучалися. Люди трималися окремими групками, зустрічалися лише на лекціях і мало знали один про одного» [7, с. 286]. Л. А. Дражевська зізнавалася, що «щирих взаємин між студентами майже не було. Я можу назвати лише трьох студентів в усьому університеті, яким я казала все, що думала» [9, с. 107].

Підведемо деякі підсумки. Таким чином, поряд із глибокими соціальними протиріччями в університетському середовищі 1920 – 1930-х рр. існували й інші – національні, культурні, релігійні, світоглядні, ментальні. Курс на створення нової інтелігенції із самого початку передбачав витіснення соціально чужих елементів, а також здійснення культурних змін, пов'язаних, зокрема, із процесом українізації. Цю політику характеризували непослідовність, а також репресивні методи. У результаті – стиралися відмінності у зовнішньому вигляді, йшов процес пристосування до мовної політики держави. Водночас культурні цінності, світоглядні установки зазнавали незначних змін, нівелюючи зусилля зі створення «нового» студентства та «нової» професури, що, по суті, створило умови для збереження та передачі університетських цінностей наступним поколінням, встановивши, таким чином, зв'язок між старим і новим університетом.

1. *Давидович Б. Д.* У Харківському університеті (Фрагменти спогадів) / Б. Д. Антоненко-Давидович // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 17–22.
2. *Багалій Д. І.* Автобіографія. П'ятдесят літ на сторожі української культури / Д. І. Багалій // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 23–27.

3. *Белецкий А. И.* Из автобиографии / А. И. Белецкий // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 28–32.
4. *Білодід І. К.* Незабутні роки / І. К. Білодід // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 109–110.
5. *Білоконь Н. Г.* Спогади / Н. Г. Білоконь // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 133–137.
6. *Буланкин И. Н.* [Воспоминания] / И. Н. Буланкин // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 45–49.
7. *Буревій О. К.* Харківський університет у 1939 – 1941 роках / О. К. Буревій // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 285–290.
8. *Ветухів М. О.* Українізація і русифікація вищих шкіл в Україні / М. О. Ветухів // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 38–44.
9. *Дражевська Л. А.* Харківський університет у 1928 – 1929, 1933 – 1935 роках / Л. А. Дражевська // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 101–108.
10. Интервью с Г. Т. Солонской // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 214–219.
11. *Кислякова Е. Ю.* Концептуальная триада «свой – чужой – иной» в английском и русском языках / Е. Ю. Кислякова, В. В. Соломина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 3. – С. 72–76.
12. *Коган В. С.* Семнадцать рассказов старого физика / В. С. Коган // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 223–247.
13. *Колошук Н. Г.* «Свои» и «чужие» в романе И. Сельвинского «О, юность моя!» (имагологический аспект) / Н. Г. Колошук // Вестник Крымских чтений И. Л. Сельвинского. Вып. 10 : Природа, мир, вселенная в русской литературе : сб. науч. ст. / гл. ред. В. П. Казарин. – Симферополь, 2013. – С. 48–68.
14. *Красовицкий Б. М.* Мои учителя и сверстники / Б. М. Красовицкий // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 161–204.

15. *Матвиенко А. М.* Харьков. ХИНО – ХПИПО / А. М. Матвиенко // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 111–121.

16. *Николаев Л. П.* Дневник советского профессора / Л. П. Николаев // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 252 – 260.

17. *Парфіненко А. Ю.* У пошуках причин «ліквідації» університетів України (аналіз радянської журнальної публіцистики 1920-х–початку 1930-х років)/ А. Ю. Парфіненко. – Харків, 2008. – 208 с.

18. *Плахтін І. О.* «Здається, це вчора було» / І. О. Плахтін // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 138–140.

19. *Платонов К. К.* Воспоминания старого психолога / К. К. Платонов // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Харків, 2016. – С. 61–66.

20. *Репина Л. П.* Диалог культур в контексте истории и историческом познании / Л. П. Репина // Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и историографическая практика / Л. П. Репина. – М., 2011.

21. *Рибалка І. К.* Університет. Жадоба до знань / І. К. Рибалка // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 279–284.

22. *Рябченко О. Л.* Студенти Радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікаці / О. Л. Рябченко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 456 с.

23. *Соловей О. Д.* Харківський університет у 1936 – 1941 рр. / О. Д. Соловей // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 261–270.

24. *Третяк-Шилдс Н. М.* Університетські роки / Н. М. Третяк-Шилдс // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 271–278.

25. *Утевский А. М.* Начало пути / А. М. Утевский // Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 50–60.

26. Харківський університет XIX – початку XX ст. у спогадах його професорів та вихованців: у 2 т. / уклад. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; вступ. ст. В. Ю. Іващенко; наук. ред. С. І. Посохов. – Харків: Вид-во «Сага», 2008–2010.

27. Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців / уклад. В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, О. І. Красько, С. М. Куделко, С. І. Посохов, Л. Ю. Посохова, Є. С. Рачков ; вступ. стаття В. Ю. Іващенко, О. І. Красько ; наук. ред. В. Ю. Іващенко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 432 с.

28. *Шевельов Ю. В.* Я, мені, мене… (і довкруги): Спогади. Ч. 1: в Україні / Ю. В. Шевельов (Шерех). – К. : Березіль ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2001. – 431 с. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://shron.chtyvo.org.ua/Sheveliov_Yurii/Ya_mene_mene_i_dovkruhy_Spohady.pdf

Иващенко В. Ю. «Свои» и «чужие» в университетской памяти (на материалах воспоминаний о Харьковском университете 1920 – 1930-х гг.)

В статье делается попытка осмыслить процесс трансформации университетского сообщества в условиях реформирования системы образования в Украине в 1920 – 1930-е гг. Особое внимание уделяется анализу путей формирования, функционирования и трансформации образов-представлений «свой», «чужой», «иной» в университетской памяти. В частности, на материалах мемуарных и автобиографических текстов анализируются социальные, национальные, культурные, мировоззренческие, ментальные и другие противоречия, характерные для университетского сообщества этого периода.

Ключевые слова: университетская память, университетская культура, «новые» профессора и студенты.

Ivashchenko V. «One's» and «Somebody else's» in the University Memory (On Memories Materials of Kharkiv University 1920–1930)

The author makes an attempt to understand the transformation process of the university community in the conditions of reforming the education system in Ukraine in 1920 – 1930. Special attention is paid to the analysis of ways of formation, functioning and transformation of images-representations «one's», «somebody else's» and «other» in the university memory. In particular, the article analyzes materials of memoirs and autobiographical texts to find out social, national, cultural, ideological, mental and other contradictions that are typical for the university community of this period.

Keywords: university memory, university culture, the «new» professors and students.

УДК 94(477)"186/191"

Т. Р. Кароєва

ОСНОВНІ КАНАЛИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. З ВЛАСНИМ МИНУЛИМ

У статті характеризуються основні канали ознайомлення українців з національною історією у другій половині XIX – на початку XX ст. на підросійських етнічних землях. Цими каналами були: усна народна творчість (основний канал комунікації між поколіннями в межах традиційного суспільства), візуальні образи (ікони, народні картини, лубочні картинки), книжкова продукція (основний канал трансляції досвіду для суспільства, що модернізується). Визначено основні сюжети та постаті, що масово популяризувалися в зазначений період. Указано основні перспективні напрямки наукових студій у досліджуваній площині.

Ключові слова: усна народна творчість, візуальні образи, книжкова продукція, комунікація, історичні сюжети, історичні постаті.

У традиційній культурі формування уявлень про «свого»/«чужого» відбувається, як правило, в етнічному полі за допомогою етнічної системи цінностей. Етнічна культура, як правило, виникає і розвивається як реакція на існуюче навколишнє середовище, в якому діють місцеві природні, політичні, соціальні, економічні й культурні чинники. Основним каналом передачі знань є усна комунікація. З активізацією модернізаційних процесів, де неабияку роль відіграє друк, починає формуватися система нових письменних комунікацій, внаслідок чого навколишнє середовище втрачає кордони, формується широке інформаційне поле, на яке можуть впливати процеси та явища, які можуть бути дуже віддалені й географічно, й хронологічно. Тому в суспільствах, що модернізуються, посилюється увага до власного минулого. У такий спосіб, зокрема, уточнюється межа між «своїми» та «чужими».

Враховуючи, що українці тривалий час не мали власної держави важливо з'ясувати, як формувалося і поширювалося в українському суспільстві уявлення про власну історію. На нашу думку, умови фронтиру

© Кароєва Т. Р., 2016

ослабляли вплив конкуруючих держав на українську культуру, у взаємному протистоянні їм набагато складніше було нав'язати «тубільцям» й своє бачення історії. У XIX ст. периферійний статус українських земель у межах інформаційного простору відповідних імперій, недостатньо сильні позиції державної освіти дозволили українцям певною мірою зберегти та розвинути свої культурні традиції. Мета цієї публікації – визначити основні канали ознайомлення широких верств українського суспільства другої половини XIX – початку XX ст. із власним минулим. Географічні межі дослідження охоплюють лише українські землі, які перебували у складі Російської імперії. Таке обмеження обумовлено як специфікою цензурної політики Російської імперії, так і інформаційними можливостями, зокрема, наявними бібліографічними покажчиками української книги, підготовленими Національною бібліотекою України ім. В. Вернадського НАН України [13; 27], Національною парламентською бібліотекою України [9; 28], Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАН України [22], а також вмістом електронних баз даних Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург) [4].

Тривалий час для всіх верств українського населення основним джерелом уявлень про минуле був фольклор , а саме, «історичні твори» (билини, думи, балади, перекази), чумацькі, солдатські й рекрутські, «бурлацькі» (наймитські й заробітчанські) пісні, легенди, казки, чутки, прислів'я, приказки тощо. Позаяк у традиційному суспільстві люди схильні при зіставленні поколінь віддавати перевагу попередникам, то народний погляд на історію формувався значною мірою через оцінку видатних особистостей: державних і народних лідерів – вояків (гетьманів, полковників і козаків), церковних діячів і подвижників благочестя, народних бунтарів тощо.

Історичний фольклор українців, на думку дослідників [23; 25; 26], формувався з XV ст. У ньому відобразилися основні події минулого від найдавніших часів, а саме: княжі часи; боротьба українців з татарськими і турецькими поневолювачами; козацько-гетьманська доба; гайдамаччина та опришківство; заробітчанство. Відзначимо, що фольклор зафіксував не лише політичні та військово-історичні події, а й економічні явища: тяжке ярмо неволі, панщинних повинностей, рекрутчини. Водночас військові події XIX ст. майже не відобразилися у фольклорі, залишилися лише зовнішнім фактором [26].

Обставини фронтиру вплинули на зміст історичного фольклору, особливо щодо сприйняття війни. За відсутності власної держави ігно-

рувалася зовнішньополітична історія, у центрі уваги була героїко-патріотична тема, яку уособлював козак та його протистояння ворогам Вітчизни. Бурхливі події XV–XVII ст. обумовили те, що з історичної пам'яті українців повністю був витіснений шар билинної пам'яті, пов'язаний із богатирями, хоча такі сюжети подекуди зустрічаються в казках, легендах, переказах [17]. Місце богатиря посів український козак, який виступав оборонцем соціальних, національних і релігійних інтересів, та водночас не цурався звичайних людських радощів і був готовий щохвилини проміняти спокійне життя на поле битви. Найчастіше головними героями виступали конкретні особи – народні ватажки, які відіграли помітну історичну роль (Іван Богун, Максим Кривоніс, Морозенко, Данило Нечай, Іван Сірко, Богдан Хмельницький та ін.).

Особливе місце в усній традиції займала тема народного спротиву та бунту. Якщо козак – це уособлення військового спротиву, то бунтар – це герой на соціальному та економічному підґрунті. Особливо яскраво це проявлялося в оцінці дій ватажків селянських повстань (Івана Гонти, Олекси Довбиша, Устима Кармалюка) як відплати за перенесені народом образи [16].

Водночас в усній традиції існували досить стійкі етнічні стереотипи щодо сусідніх народів, з якими українцям доводилося контактувати. Усі вороги у збройних конфліктах сприймалися як нехристи, хоча мирне співіснування з ними не виключалося.

Дослідники українського історичного фольклору відзначають ще кілька його особливостей. На думку С. К. Росовецького, специфічно українською рисою було уявлення про перевагу вояка-«простака» над вояком-професіоналом [23]. Н. А. Малинська відзначає «богопослушність» войовничих українських дум, в яких ніколи не містилося закликів до докорінної зміни світу, хоча певні регіони цього світу (Річ Посполиту, Австрійську (Австро-Угорську) імперію, Московію (Російську імперію), Кримське ханство, Османську імперію невтомно проклинали [16]. Вчені звертають увагу на те, що фактично в кожному регіоні, місцева історія перепліталася у свідомості людей із загальнонаціональною, особиста і групова пам'ять вписувалися до контексту загальної історії. Незважаючи на певну локальну і конфесійну специфіку, в історичному фольклорі по всій території розселення українців зберігалося цілісне коло історичних подій і фактів. Їхнє трактування якщо і варіювалася, то дуже незначним чином, оскільки спільність історичних уявлень протягом багатьох століть сприяла консолідації українського етносу.

Знайомство з минулим тривалий час відбувалося й за допомогою візуального матеріалу – ікон, народних картин та лубочних картинок. Уже дослідниками XIX ст. відзначалося, що у православних українців є схильність до певних християнських постатей, серед яких найпопулярнішими були св. Миколай, св. Юрій, св. Димитрій, св. Параскева, св. Варвара, а також архістратиг Михаїл, про що свідчила поширеність їхніх іконописних зображень та друкованих житійних історій. Можна відзначити, що саме в іконах княжий етап історії українців знайшов чи не найяскравіше відображення. Ікони засвідчують популярність ратної справи серед українського люду. Чи не найбільшу популярність з усіх святих воїнів здобув культ св. Юрія. Не менш шанованим в Україні був св. архангел Михаїл, який уславився як поборювач нечистих духів і захисник у ратних подвигах. До шанованих святих воїнів належав і св. Димитрій, хоча кількісно ікони з його зображеннями дещо поступалися іконам св. Юрія та Михаїла [2].

Специфічно українським твором була народна картина «Козак Мамай». Найдавніші відомі на сьогодні зразки датуються початком XVIII ст. [14], водночас такі дослідники, як П. Білецький, Д. Щербаківський, К. Широцький вважають, що композиційна схема «мамаїв» склалася ще до XVII ст. [1, с. 165]. Відомі також живописні твори із зображенням народних месників, з «гайдамацькими сюжетами», проте подібні картини мали обмежене ходіння.

Друк дозволив масово відтворювати зображення, і щонайменше наприкінці 1860-х рр. з'явилася лубочна картинка на українську тематику. Крім побутових сюжетів, набули розповсюдження й історико-літературні [10, с. 503-505]. Наприкінці XIX ст. серед найпопулярніших картинок були: 1) «Гетьман Богдан Хмельницький оголошує про приєднання до Росії на загальній раді у Переяславі в 1654 році»; 2) «Тарас Бульба»; 3) «Зустріч Тараса з синами»; 4) «1709 р. Полтава». Тобто з перелічених власне історичним подіям був присвячений лише перший сюжет, а решта інтерпретували історико-літературні сюжети М. В. Гоголя та О. С. Пушкіна, що підкреслювалося й цитуванням відповідних творів.

З часом розробку нових композицій почали замовляти й професійним художникам. Наприклад, у 1904 р. у Санкт-Петербурзі був надрукований лубок «Присоединение Малороссии (1654)», автором якого був художник С. М. Зейденберг. Популярність цієї картинки призвела до того, що в 1913 р. відома російська кондитерська фабрика «Товариства А. І. Абрикосова синів» до 300-річчя Дому Романових замовила паку-

вальний папір із цим малюнком [19]. Зрозуміло, що подібна продукція реалізовувалася, насамперед, в українських губерніях і нав'язувала відповідне бачення минулих подій.

Приблизно в той самий час історична інформація у друкованому вигляді почала поширюватися за допомогою народної книги, яка в Російській імперії набула вигляду лубочної книги. На українські землі вона прийшла з російських теренів.

Видавці розуміли, що читачі українських губерній з радістю придбають лубочну літературу з місцевим колоритом, тому продукували відповідний товар. Спочатку це були російськомовні твори на українську тематику, автори яких черпали свої ідеї в українській «високій» літературі та фольклорі. Основним постачальником українських історичних сюжетів була творчість М. В. Гоголя. Так, відомо понад 30 лубочних видань «Тараса Бульби», що друкувалися під різними назвами на кшталт: «Тарас Бульба, или Запорожская Сечь», «Тарас Бульба, атаман запорожцев», «Тарас Бульба, или Измена и смерть за прекрасную панну», «Тарас Бульба, повесть из жизни запорожских казаков» або навіть у такому варіанті: «Приключения казацкого атамана Урвана: историческое предание», «Егор Урван, атаман запорожского войска», «Разбойник Тарас Черномор» [4; 20].

Історичний фольклор розглядався лубочними видавцями як екзотичне тло, на якому розгортаються «дивовижні» історії. Серед перших російськомовних видань були «Наймичка», «Запорожский казак Петро Рудый», «Ведьма за Днепром», «Ведьма и черный ворон, или Страшные ночи за Днепром», «Ведьма за Днепром, или Степные грабители» тощо. Тема «дніпровської відьми», наприклад, була використана з 1871 до 1918 рр. для понад 30 лубочних видань [4].

Серед історичних постатей у лубочників особливою популярністю користувався Іван Мазепа та його любовні пригоди. Чи не уперше лубочна книга про нього вийшла друком у Москві в 1868 р. під назвою «Иван Мазепа, гетман Малороссии». Її автором був С. П. Ізвольський, і до 1913 р. московські лубочні видавці перевидали її 13 разів. Згодом до цієї книги звернувся І. Д. Ситін, на замовлення якого текст дещо скоротили, і уже в ситінському виробництві книга називалася «Иван Мазепа – гетман малороссийский» і перевидавалася 9 разів упродовж 1882–1915 рр. Завдяки московським видавцям читачі отримали щонайменше від 220 до 440 тис. прим. за піврічну історію друку книг про Мазепу. Киянин Т. О. Губанов теж намагався заробити гроші на цій темі. На його

замовлення А. Неврозов підготував свою історичну повість «Иван Степанович Мазепа, малороссийский гетман», яка упродовж 1895–1901 рр. перевидавалася 4 рази [4].

Як відомо, цензурні обмеження ускладнювали розвиток україномовного сегменту книжкового ринку. З 1881 р., із послабленням вимог Емського указу, для друку фольклорних творів виникла законодавча шпарина, тому україномовне книговидання історичної тематики могло діяти лише на цьому полі. Ситуацією скористалися лубочні видавці, започаткувавши друк численних пісенників, що містили й історичні пісні [6]. У 1905 р. В. Данилов подав відомості про 18 назв пісенників у 27 виданнях за 30 років після Емського указу [7].

З огляду на тиражі лубочних книжок (до 10-15 тис. прим., іноді 40 тис.), можна припустити, що серед всієї друкованої продукції саме цей вид видань був основним для ознайомлення соціальних низів з власним минулим. Невипадково, розуміючи значущість цих видань, в умовах браку україномовної книги, працівники книжкового складу при редакції журналу «Киевская старина» з другої половини 1890-х рр. почали їх активно пропагувати [12]. Українські публіцисти початку XX ст. відзначали, що подібні видання користувалися шаленою популярністю, і їхні тиражі розходилися за кілька тижнів [7].

За природою свого походження лубочна продукція була комерційною. Її успіх свідчив про наявність попиту, і цим не могли не скористатися звичайні комерційні видавці. Вони взяли на озброєння все те, що не суперечило цензурним вимогам і могло бути легко реалізованим серед якомога більш широких кіл читачів. Основна тематика їхніх видань з історії України зосередилася на окремих козацьких сюжетах, героїзації певних подій та постатей козаків і народних бунтарів. На відміну від лубочних видавців, комерційні орієнтувалися ще й на наукові дослідження. Саме вони доклали основних зусиль для популяризації постаті Богдана Хмельницького як ініціатора приєднання українських земель до Російської держави. Так, наприкінці 1860-х рр. І. І. Слепушкін підготував книжку «О том, как Богдан Хмельницкий освободил Украину от польской неволи» (К., 1868). З 1888 р. київська Комісія народних читань домоглася дозволу читати її під час публічних народних читань. Відтоді її 8 разів перевидавали і рекомендували для використання у бібліотеках середніх і початкових шкіл. Водночас, неможливо не згадати, що спроба її перекладу українською в 1883 р. зустріла жорстку реакцію Головного управління у справах друку [29, с. 202]. Ця книжка була також вико-

ристана й лубочниками родини Губанових для 4-кратного передруку книжки «Гетман Богдан Хмельницкий, или Присоединение Малороссии».

Серед інших комерційних видань про гетьмана були книги Н. В. Бранке, П. Н. Буцинського, І. М. Катаєва, В. А. Радича тощо. Усім цим друкам передувало 3-томне дослідження М. І. Костомарова, яке в XIX ст. перевидавалося 4 рази, але вартість кожного тому у 2 руб. обмежувала коло читачів, відповідно тираж сягав 2-3 тис. примірників.

Комерційні видавці приділяли увагу друку художніх творів про події української історії. Крім російськомовних творів М. В. Гоголя, П. О. Куліша, популярністю користувалися книги Д. Л. Мордовця (Мордовцева). З багатого літературного спадку останнього до української тематики можна віднести 8 назв російськомовних романів та оповідань. Про їхню популярність свідчить, наприклад, той факт, що 5-е перевидання роману «Царь и гетман» 1915 р. мало тираж 85 тис. примірників [4].

Лише після 1905 р., із призупиненням дії цензурного законодавства щодо україномовної літератури, комерсанти звернулися до випуску історичної літератури українською мовою. Яскравою ілюстрацією цієї тенденції став друк С. В. Кульженком книги М. С. Грушевського «Ілюстрована історія України» (К., 1911), в якій вперше у стислому вигляді був поданий новий національний виклад історії України. Успіх видання підштовхнув до продовження друку, й у 1913 р. було додруковано десяту тисячу примірників. І це на тлі того, що примірник коштував від 2 до 3 руб. і був достатньо дорогим для тодішньої видавничої практики [21].

Національно свідома інтелігенція всіляко намагалася втрутитися у процес поширення імперського уявлення про минуле українців. Б. Грінченко з цього приводу писав: «Українські національні згадки, українську історію викинено з читанок шкільних... А замість історії вкраїнської скрізь історія московська викладається так, мов би вона нашому чоловікові рідна» (1896 р.) [Цит. за.: 3, с. 8]. Про затребуваність історичної літератури у селянському середовищі він зауважував: «... як дуже цікавить село вкраїнська історія, як багато нових думок викликає вона в головах читачів або слухачів» (1907 р.) [5, с. 228].

Серед перших свідомих популяризаторів української історії були письменники. Починаючи з І. П. Котляревського, їхні твори на історичну тематику значною мірою базувалися на фольклорному матеріалі і продовжували фольклорну традицію сприйняття героїчного минулого. Перший в історії вітчизняної літератури історичний роман П. О. Куліша

«Чорна рада» (1857) репрезентував уже концептуально інший підхід до історичного матеріалу. Оскільки він призначався освіченій публіці, то мав малий тираж у 1-2 тис. примірників і залишився маловідомим широкому загалу. У 1870–1880-х рр. українські письменники, за тодішніх цензурних вимог, свідомо намагалися белетризувати історичні нариси. Так, у 1876 р. вдалося оприлюднити твори І. С. Нечуй-Левицького «Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і Святий Володимир і его потомки», «Татари і Литва на Україні» (К., 1876) доволі значними як для того часу тиражами у 3 тис. прим. кожний. Враховуючи обсяг цих книжок у 68 та 42 стор., видання не розраховувалися виключно на соціальні низи. Це були книги скоріше для освічених кіл українського населення, які цікавилися минулим свого народу.

Минуле українських земель досліджували вчені, проте наукове історіописання здійснювалося переважно російською, причому специфічно науковою мовою, яку погано розуміли малописьменні селяни. Видання коштували дорого і поширювалися через стаціонарну книготорговельну систему, яка розвивалася переважно у містах, тому ці книги залишалися малодоступними для сільського населення.

Спостерігаючи за успіхом лубочних видань, наприкінці XIX ст. представники української інтелігенції також спробували експлуатувати інтерес соціальних низів до пісенної та казкової творчості. Наприклад, Б. Грінченко надрукував «Думы кобзарськи» (Чернигів, 1897) тиражем у 10 тис. прим., який доволі швидко розійшовся. Ще далі пішло петербурзьке «Благодійне товариство видання корисних і дешевих книг» (1898–1917), яке намагалося напряму конкурувати з лубочними виданнями, тому його книжечки коштували від 3 до 5 коп. і друкувалися тиражем до 15 тис. прим. Товариство свідомо прагнуло розширити знання про минуле, популяризуючи ширше коло історичних сюжетів. З історичних видань цього товариства найбільший успіх мала книга М. С. Грушевського «Про старі часи на Україні» (СПб., 1907) з тиражем у 25 тис. прим. і обсягом у 175 стор.

Представники української інтелігенції прагнули дати народові загальний виклад його історії. Видання М. С. Грушевського «Історія України-Русі» (Л.; К., 1895-1933, з перервами) було малодоступним для широкого загалу й через багатотомність, й через вартість у 2-3 руб. кожного тому, й через замалий тираж. Тому «Історія України-Русі» (СПб., 1908) М. М. Аркаса, що була меншою за обсягом, швидко розійшлась. Утім, й ці видання були завеликими і задорогими для масового читача,

тому ситуацію спробував виправити знову ж Б. Грінченко, підготувавши брошуру «Як жив український народ (коротка історія України)» (К., 1906), але її тираж було заарештовано [18, с. 139]. Збірка Г. Коваленка «Оповідання з історії українського народу од найдавніших часів» (Полтава, 1907) мала надто малий тираж у 1 тис. прим., реалізовувалася переважно у своєму регіоні. Тому дешеві друки загальних нарисів залишалися малодоступними масовому читачеві.

Традиційно, ще з XVIII ст., найпоширенішим довідковим виданням серед широких кіл читачів були календарі. З 1906 р. українська «Просвіта» спробувала скласти конкуренцію російським видавцям [11]. В її календарях, крім загального інформаційного матеріалу, подавалися відомості про ювілейні дати з вітчизняної історії та культури, і це, мабуть, був найнадійніший канал масового поширення історичних відомостей.

За матеріалами сучасних бібліографічних покажчиків україномовних видань у 1908–1913 рр. було надруковано 12 назв україномовних видань історичної тематики тиражем до 20-30 тис. прим. [9; 13; 22; 27; 28]. Зрозуміло, що навіть такий загальний наклад не міг задовольнити весь наявний попит.

Зі зміною політичної ситуації після 1917 р. українці отримали можливість вільно долучитися до читання рідною мовою. Поява історичних творів для дітей свідчила про розуміння значущості цієї продукції для виховання. Праця А. Кащенка «Оповідання про славне Військо Запорожське низове» (Катеринослав, 1917) стала головним його бестселером. Усього «Українське видавництво А. Кащенка в Катеринославі» упродовж 1917 – 1918 рр. видало 23 назви творів (43 видання) кількістю 401 550 прим. [24, с. 6], переважно його авторства на історичну тематику. Відзначимо, що такий масив продукції вже був значно доступнішим пересічному читачу.

Яскравим прикладом читача української книги може бути селянин А. Дуляк з Лопатинців Подільської губернії. Він мав власну бібліотеку україномовної літератури із понад 100 книжок загальною вартістю близько 25 руб. Він пишався, що зумів придбати «Історію України» М. С. Грушевського [мабуть, «Ілюстровану історію України» (К., 1911) – Т.К.], «Національний рух історії України» С. О. Єфремова [мабуть, або «З громадського життя на Україні» (К., 1909), або «Історія українського письменства» (К., 1911) – Т.К.], тужив за «Історією України» М. М. Аркаса [15]. Купував він й дрібні брошури історичної тематики. Разом з тим він усвідомлював свою «книжкову» винятковість на тлі сільського

життя. Таких активних читачів, спроможних купувати книжки, було обмаль. Більшість спраглих мали задовольнятися або відвідуванням безкоштовних народних бібліотек, або публічних народних читань.

Хоча за попитом читачів народних бібліотек першість належала художній літературі, проте історична легко конкурувала з релігійною за друге місце. Наприклад, народні бібліотеки Вінницького повітового комітету Піклування про народну тверезість містили історичної літератури до 20% всього фонду [8, спр. 15, арк. 51-80]. Так само вона була серед лідерів продажів (16,4% за кількістю назв) книжкового складу цього комітету у 1902–1904 рр. [8, спр. 17, арк. 95-98]. Проте в народні безкоштовні бібліотеки та книжкові склади могли потрапляти лише проімперські книги з історії Малоросії. Такою ж самою була практика публічних народних читань. Це робилося за допомогою, наприклад, уже згадуваної книжки І. І. Слепушкіна. Дозволені книги читали в будь-якій аудиторії, і у такий спосіб широке коло слухачів знайомилося з минулим власного народу.

Після 1906 р., коли будь-яку підцензурну книгу можна було продавати або читати у книжкових складах, народних безкоштовних бібліотеках та на народних читаннях, очікувалось на послаблення тиску на українську історичну літературу, проте цього не сталося. Право контролю за доступом до книг було покладено на місцевих чиновників міністерств народної освіти та внутрішніх справ, які щодо видань з української тематики дотримувалися провладної позиції, тому прорив історичної літератури в бібліотечно-книгарську шпарину не відбувся. Представники української інтелігенції вимушені були продовжувати пробивати історичній книзі дорогу до масового читача.

Отже, упродовж другої половини XIX – початку XX ст. основними каналами ознайомлення українського суспільства з власним минулим були: історичний фольклор (основний канал для комунікації поколінь в межах традиційного суспільства), візуальні образи (ікони, народні картини, лубочні картинки), книжкова продукція (основний канал накопичення та передачі досвіду у суспільстві, що модернізується). Слабке освоєння книжкового каналу, перевага комерційного друку, стан освіченості українського населення призводили до експлуатації у тематиці видань традицій фольклорної спадщини. Підприємці враховували уже сформовані смаки і уявлення населення, натомість представники української національно свідомої інтелігенції намагалися їх урізноманітнити. Відповідно, у суспільстві продовжувало обертатися обмеже-

не коло сюжетів з національної історії. Певним проривом слід вважати популяризацію загального огляду історії України, а не лише її окремих сторінок. З подальшою модернізацією суспільства, вже в радянській Україні, перемогла книжкова комунікація. Для подальшого аналізу обізнаності українців з власною історією потрібно вивчення державної політики щодо історичної пам'яті, умов появи «історичних» постатей та виокремлення їхніх якостей, що певним чином орієнтували читачів, в тому числі в плані розмежування «свій»/«чужий».

1. *Бушак С.* Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини «Козак Мамай» / С. Бушак // Мистецькі обрії. – 2009. – № 2. – С. 159–169.
2. Виставка «Юрій Змієборець та святі воїни» у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького // Музейний простір України : веб-сайт. –Режим доступу : http://prostir.museum/ua/event/4561 (дата звернення: 01.11.16).
3. *Вірченко Н.* Про заборону української мови (XVII – XX ст.) / Н. Вірченко// Наше життя (Нью-Йорк). – 2008. – № 3. – С. 6–8.
4. Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725-1998) // Российская национальная библиотека : веб-сайт. – Режим доступу : http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak (дата звернення: 01.11.16).
5. *Грінченко Б.* Перед широким світом / Б. Грінченко. – Київ, 1907. – 320 с.
6. *Данилов В.* Народные картинки на темы из украинской жизни / В. Данилов// Киевская старина. – 1906. – Т. 92. – № 1. – С. 23–28 (Документы, известия и заметки).
7. *Данилов В.* Украинские народные лубочные песенники / В. Данилов // Киевская старина. – 1905. – Т. 89. – № 6. – С. 213–228.
8. Державний архів Вінницької області. Ф.Д–244. Оп.1. Спр.15. 80 арк.; Спр.17. 436 арк.
9. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798–1923. Вип. 1–4 / Нац. парламент. б-ка України. – Київ ; Харків, 1999–2005.
10. *Ир. Ж.* Лубочные картинки на малорусские темы / Ж. Ир// Киевская старина. – 1890. – Т. 31. – № 12. – С. 503–507.
11. Календарь Просвіти: Рік перший, 1907. – Київ, 1906. – 162, VI с.

12. Каталог книжного склада «Киевской старины» // Киевская старина. – 1896. – Т. 52. – № 1 (приложение); – 1897. – Т. 59. – № 10 (приложение); – Т. 60. – С. 1–8 (приложение).
13. Книга в Україні. 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 1–18 : А-Ц / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НБУВ НАНУ. – Київ, 1996–2014.
14. Козак Мамай : альбом / авт.-упоряд. А. Голтвенко. – Київ, 2008. – 304 с.
15. Листи Андрія Дуляка до Михайла Коцюбинського // Листи до Михайла Коцюбинського / Чернігів. літер.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського. – Ніжин, 2002. – Ч. 2.
16. *Малинська Н. А.* Героїчне в фольклорі та літературі. Дискурс канону : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Н. А. Малинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с.
17. *Манжура И.* К вопросу об отголосках богатырской эпохи в южнорусских сказаниях /И. Манжура // Этнографическое обозрение. – 1893. – № 3. – С. 163–164.
18. *Низовий М. А.* Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901-1917 рр.) / М. А. Низовий // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128–141.
19. Пропаганда со вкусом // Маленькие истории: частное собрание фактов и артефактов : блог. – Режим доступу : https://little-histories.org/2016/02/03/ (дата звернення: 01.11.16)
20. *Ребеккини Д.* Как крестьяне читали Гоголя. Попытка реконструкции рецепции / Д. Рееккини // Новое литературное обозрение. – 2001. – № 49. – С. 508–525.
21. Реклама // Рада. – 1913. – № 14.
22. Репертуар української книги. 1798–1916 : матеріали до бібліографії. Т. 1–9 / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 1995–2005.
23. *Росовецький С. К.* Фольклорно-літературні взаємозв'язки: генетичний аспект : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.07 / С. К. Росовецький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – 28 с.
24. Символ єднання та волі українського люду. Адріан Феофанович Кащенко (1858–1921) : бібліогр. вид. : до 150-річчя від дня народж. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка. Дніпропетровськ, 2009. – 35 с.
25. *Снігирьова Л. М.* Українські народні історичні пісні: поетика тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. М. Снігирьова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2010. – 16 с.

26. *Сокіл В. В.* Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : автореф. дис... д-ра філол. Наук : 10.01.07 / В. В. Сокіл ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2005. – 34 с.
27. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 1798–1916. Вип. 1–4 : бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996–2001.
28. Україномовна книга, 1808–1923: бібліогр. покажч. : в 2 вип. / Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 1996–1998.
29. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) : зб. документів і матеріалів. – Київ, 2013. LXII, 810 с.

Кароева Т. Р. Основные каналы ознакомления украинского общества второй половины XIX – начала XX в. со своей историей

В статье характеризуются основные каналы ознакомления украинцев с национальной историей во второй половине XIX – начале XX вв. на подроссийских этнических землях. Этими каналами были: устное народное творчество (основной канал коммуникации между поколениями в рамках традиционного общества), визуальные образы (иконы, народные картины, лубочные картинки), книжная продукция (основной канал передачи опыта на этапе модернизации общества). Определены основные сюжеты и личности, которые массово популяризировались в исследуемый период. Указаны основные перспективные направления научных исследований в рассмотренной проблеме.

Ключевые слова: устное народное творчество, визуальные образы, книжная продукция, коммуникация, исторические сюжеты, исторические фигуры.

Karoyeva T. R. The Main Channels through Which Ukrainian Society Got Acquainted with Its Past in the Second Half of 19th – Early of 20th Century

The article deals with the main channels through which Ukrainians who lived in their ethnic lands under the Russian Empire in the second half of 19th – early of 20th century were exposed to their national history. Those included folklore (the basic communication channel of the traditional society), visual images (icons, paintings, Lubok prints) and printed matter (the basic communication channel of modern society). Key plots and characters popularized within the period referred to above have been determined and main prospective research directions in the area under study have been indicated.

Keywords: folklore, visual images, printed matter, communication, historical plots, historical personalities.

УДК 930.2(477.54/.62)«16/20»:159.923.35

С. М. Куделко

ПРОБЛЕМИ КОРДОНІВ СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ

Статтю присвячено проблемі політичних кордонів і етнічних рубежів між українцями і росіянами в ареалі історико-географічного регіону «Слобідська Україна». Робиться висновок про те, що існуючий ментальний конфлікт розуміння цих кордонів між двома найбільшими слов'янськими народами став однією з передумов сучасної кризи відносин між Україною і РФ.

Ключові слова: Слобідська Україна, політичні та етнічні кордони, історіографія, масова свідомість.

В останні роки увага громадськості прикута до Сходу України і, перш за все, до Донбасу. У центрі нашого сюжету – історіографічні сюжети та уявлення масової свідомості про українсько-російське прикордоння в історико-географічному регіоні України, який отримав назву «Слобожанщина». Цей край охоплює більшу частину сучасних Харківської області, половину Сумської, а також окремі райони Полтавської, Донецької та Луганської областей України, а з боку Російської Федерації – частини Бєлгородської, Воронезької та Курської областей. Дана історико-географічна область сформувалася однією з останніх в домодерну епоху і є яскравим прикладом так званого «наскрізного контакту» двох найбільших слов'янських етносів – росіян і українців. Багато проблем взаємодії і взаємовпливу цих народів у регіоні були розглянуті в працях Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, А. Г. Слюсарського та ін. [2; 18; 15 та ін.]. Однак, як зазначають українські фахівці: «… історія становлення північно-східного кордону з'ясована ще недостатньо глибоко» [12, с. 26]. Ми ж хочемо зосередити нашу увагу на працях істориків, а також краєзнавців, що репрезентують певну колективну свідомість, яка сформувалася на цій території.

Уявлення українців кінця XX – XXI ст., які проживають в краї, про росіян, а останніх про українців – результат тривалого, 400-річного їх безпосереднього контакту, а також впливу літературних (в т. ч. історичних) праць, творів мистецтва і т. д. Ці образи складалися довго і є досить стійкими. Вони зафіксовані багатьма джерелами. Не розглядаючи

© Куделко С. М., 2016

спеціально весь спектр фронтальних взаємин двох народів, що в значній мірі вже зроблено нашими попередниками [Див. 10, 21, 25 та ін.], звернемося лише до одного питання: уявлення про кордони між народами і країнами на даній території у українців і росіян, що її населяють.

При всій схожості і навіть, до певної міри, ідентичності цих етносів[1], які проживають тут, відзначимо серйозний розрив у свідомості двох народів щодо формування рубежів між ними і їх легітимності.

Український народ в основному сформувався в умовах відсутності власної держави на території Речі Посполитої в XIV – XVI ст. Слобідську Україну вихідці з Середньої Наддніпрянщини і Західної України стали активно заселяти в XVII ст., особливо під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648–1657). Хвилі переселенців досягли річок Сіверського Дінця та Оскола, і навіть Дона, а, в ряді випадків, українські поселення з'явилися і на лівобережжі цієї річки, були заселені широкі території на Північному Кавказі. Таким чином, в етнографічному плані, Слобідська Україна охоплює обширні землі від верхів'їв лівих припливів Дніпра (річки Ворскла, Сейм, Псел та ін.) і до Дону. З цього моменту починаються певні розбіжності в розумінні меж і кордонів між двома етносами.

Територія майбутньої Слобідської України з початку XVI ст. (з часу правління Івана III) стала поступово включатися в межі Великого князівства Московського, а потім Московського царства[2] . Землі ці називалися «Диким полем» через свою незаселеність і прикордонне розташування між християнськими країнами і мусульманськими державами-спадкоємцями Золотої Орди (Кримське ханство, Ногайська орда та ін.)[3] . З точки зору росіян, українці прийшли на територію Московської держави і розселилися тут згідно царським наказам[4], а з точки зору багатьох українців, вони освоювали Дике поле – незаселену частину Південно-Східної Європи, яка лише номінально входила до складу Московії (по суті, відносилися до неї тільки на карті).

[1] Генетична спорідненість, спільність релігії, наявність багатьох сторінок спільного минулого, близькість мов і т. д.

[2] Першим таким актом було Благовіщенське перемир'я між Москвою і Литвою 1503 р. Саме з цього року до складу Великого князівства Московського увійшла територія, на якій в середині XVII ст. був заснований Харків.

[3] Дике поле територіально охоплювало простір між Доном, верхів'ям Оки і лівими притоками Десни і Дніпра.

[4] Переселенці зберегли свій козацько-полковий устрій і утримували його понад сто років (4 покоління), поки реформи Катерини II не ліквідували в краї особливості місцевого самоврядування.

Український народ протягом століть рухався в напрямку створення своєї самостійної держави[1]. Вона, за логікою ідеологів української суверенності, мала включати всі населені українцями землі. У відчаї від поразки Української революції, Є. Х. Чикаленко у 1920 р. писав: «… я вважаю, що ліпше було б, якби більшовики захопили під свою владу всю нашу етнографічну територію, від Кавказу до Угорщини. Під їх владою народ наш міг би на свої кошти утримувати просвітні інституції, а в боротьбі проти комуністичного ладу швидше дійшов би до становища нації» [22, с. 467 та ін.].

З Центральною, Західною та Закарпатською Україною питання видається більш ясним: українці – нащадки Київської Русі, а ці землі були захоплені литовськими, польськими та угорськими феодалами в XII – XIV ст. Російська історіографія, як і українська, теж не погоджувалася і не погоджується із захопленням західних земель Київської Русі поляками, литовцями і угорцями, але аж ніяк не ставила під сумнів законність своїх державних кордонів в цій частині Московського царства.

Відносно Слобідської України справа виглядає інакше. Українці (як і росіяни) не проживали на цих територіях до включення їх до складу Московії. Проблема загострилася наприкінці XIX – на початку XX ст. у зв'язку з підйомом національно-культурної самосвідомості українського народу (потужною хвилею «українського відродження»). У центрі дискусії опинився провідний вчений-історик Слобожанщини Д. І. Багалій (1857–1932). Він висловив ідею про те, щоби розглядати переселення українців на дану територію як повернення на свою давню вітчизну [4, с. 15 та ін.][2] . Дійсно, ця територія (раніше — земля східнослов'янського племінного союзу сіверян) входила до складу Київської Русі, а потім, до Батиєва погрому (1239–1241 рр.), перебувала в складі Переяславльського (Переяславського), Новгород-Сіверського та, частково, Чернігівського князівств.

Росія також вважає себе спадкоємицею Київської Русі. Починаючи з Івана III, урядом підкреслювалася ідея збирання всіх «руських» земель навколо Москви. Не маючи власних державних кордонів, українці, в

[1] У географічному плані українці, в процесі свого розвитку, рухались на схід і південь, росіяни також освоювали протягом століть східні і південні від Волзько-Окського межиріччя території, на яких проходили основні процеси зародження та становлення даної етнічної спільності. У своєму русі народи повинні були зустрітися, що і сталося в XVI – XVII ст.

[2] Він називає територію Слобідської України «дідизною» слобожан, а давніх русичів Чернігово-Переяславської землі — їх прадідами, називає територію краю «res nullius» («нічийна річ») [4, с. 20].

особі їх політичних діячів та істориків, закономірно вважали політичні кордони, які існували в пізньому середньовіччі (і в подальшому) нелегітимними. В. Кубійович, наприклад, писав: «Ми окреслюємо Україну як територію, яку сьогодні заселюють українці, себто як українську національну територію без оглядки на те, до складу яких держав вона входить» [7, с. 17].

Після розпаду СРСР і отримання Україною і Росією суверенітету в 1991 році, проблема загострилася. У нових умовах частина українських істориків стала активно висувати і доводити ідею про те, що, насправді, Дике поле — це лише умоглядна конструкція або історичний міф, а населення (нащадки жителів домонгольської Русі), хоча і в дуже незначній кількості, було присутнє тут принаймні до кінця XIV ст. Наприклад, краєзнавець Л. І. Щибря саркастично пише: «Видав московський цар указ побудувати фортецю в якомусь місті, ось вам і дата заснування, скріплена печаткою. А на те, що там жили люди раніше, просто заплющували очі» [24, с. 5 та ін.]. Не кажучи про це прямо, а в контексті, дослідники висувають ідею про те, що це вціліле, хоча й незначне населення, було українським. У вітчизняній історіографії вже з'явилися праці, в яких доводиться безперервна заселеність цього краю аж до появи переселенців з Середньої Наддніпрянщини (див., наприклад, роботу Б. А. Шрамка та В. В. Скирди). Зокрема, ці автори стверджують: «Город Донец-Харьков существовал непрерывно со времени своего появления в раннеславянскую эпоху и никогда не превращался в поселение дикарей на пресловутом «диком поле». Если внимательно и непредвзято проанализировать даже давно известные документальные источники XVII века, то станет ясно, что и они, как и археологические материалы, подтверждают существование неразрывной культурно-исторической связи нового и предшествующего поселения» [23, с. 49]. Втім, відзначимо, що термін «Дике поле» аж ніяк не вигадка істориків, а визначення, що постійно зустрічається в джерелах. Він міцно закріпився і в історіографії. Наприклад, Н. Д. Полонська-Василенко пише: «В XIV ст. територія ця одержала назву «Дике поле» [15, с. 106][1]. Ця назва вийшла з ужитку лише наприкінці XVIII ст.

Німецько-угорський історик доби Просвітництва Й.-Х. Енгель пише: «Цар дуже добре прийняв цих [українців – С. К.] людей приділив їм осідки в околицях Бєлгорода — у напрямку до Кримського степу — необжиті, але наділені багатьма природними дарами землі, та погодився на збереження за ними майже всіх вольностей українських козаків.

[1] Посилання зроблене на цього історика саме тому що Н. Д. Полонська-Василенко – уродженка Слобідського краю і мала добре уявлення про його історію.

Так за короткий час із нічого виникли квітучі слободи: Охтирка, Суми, Харків, Ізюм та Острогозьк (або Рибне)…» [5, с. 242–243].

Джерело XVIII ст. «Описи Харківського намісництва» повідомляє: «А восточная княжения Киевского страна, т. е. сия самая, на которой после слободские полки поселились, пребыла около 400 лет необитаемою пустынею, где от востока и юга набеги татарские одним только зверям, птицам и пресмыкающимся не могли воспятить обиталища» [14, с. 17]. У документі підкреслюється шкода, яку завдавали господарствам слобожан ведмеді та інші хижі тварини [14, с. 38]. Проте, укладачі видання – дослідники В. О. Пірко і О. І. Гуржій не погодилися з такою характеристикою місцевості і послалися (як доказ того, що деяке населення тут з'явилося наприкінці XVI ст.), на роботу А. Г. Слюсарського 1964 р. [16, с. 32–33]. Ці історики стверджують, що в описі перебільшені наслідки запустіння руських земель, що входили до складу Золотої Орди [14, с. 194]. При цьому, ніяких посилань на джерела, які б спростовували це «перебільшення», автори не наводять.

Підкреслюючи дику, первісну природу краю, Д. І. Багалій, наприклад (посилаючись на джерела), пише, що тут зустрічались не лише дикі коні (тарпани), олені, рисі, росомахи, але й зубри. Ніяких місцевих жителів він не згадує. Він пише: «Цар Борис Годунов збудував дуже далеко на півдні, на Донцеві, недалеко од Святих гір місто Цареборисов… Якось дивно, що так далеко в самій південній частині Слобожанщини, в котрій тоді не було ще жодного осілого міста…» [4, с. 20]. Варто зазначити, що в джерелах описана природа, звертається увага на рідкісних тварин, на дуби у декілька обхватів, проте зовсім не згадується якесь місцеве слов'янське населення.

В узагальнюючій статті В. О. Щербака «Дике поле» у сучасній 10-томній «Енциклопедії історії України» мова йде лише про «військово-трудову колонізацію регіону козацтвом» на незаселеній території [6, с. 381].

У багатьох працях підкреслюється прикордонне розташування Слобожанщини. «На схід від Гетьманщини на кордоні з Московією, – стверджують сучасні автори — розпросторилися незаймані землі» [13, с. 145].

Російський народ, який має 500-річний досвід державного життя (і завжди в багатонаціональних країнах), розглядає кордони, перш за все, як політичні межі, а не як лінії розмежування етнічних зон. Українці, які протягом століть прагнули до державності, природно пов'язували її з включенням в майбутню Українську державу всіх (або більшості)

українських етнічних територій[1]. Показово, наприклад, що І. Б. Усенко в словнику-довіднику «Українське державотворення» (1997 р.) відзначає, що: «Слобідська Україна тільки формально підпорядковувалася гетьману…» [20, с. 26]. Дане твердження – елемент теорії збирання українських земель Козацькою державою. Між народами та їх репрезентантами – істориками та ідеологами виник конфлікт – спочатку ментальний, а потім і реальний.

Специфічність слобожанської, «паралельної» іншим місцевим українським, історії виділяє її з-поміж інших таких наративів, наприклад, Волині, Буковини, Галичини та інших історико-географічних регіонів України. Цю специфіку краю не враховують автори узагальнюючих праць, в т. ч. підручників, навчальних та довідкових видань з історії України, які генеральну лінію захоплення і розподілу українських (давньоруських) земель низкою держав Східної Європи механічно переносять і на територію Слобідської України [Див.: 11 та ін.]. Так, автори зазначеного довідника приєднання Чернігово-Сіверської землі і Смоленщини на початку XVI ст. до Москви розглядають у розділі «Українські землі під владою іноземних держав у XIV – XVI ст.»[2] . Але якщо професійні історики, перш за все Слобожанщини, досить чітко уявляють собі хід історичних подій, то серед населення (та у частини місцевих краєзнавців) побутує його спотворена картина [Див.: 24 та ін.].

По суті, і українці, і росіяни, розглядають цей регіон як спадок від Київської Русі. При цьому, пальма першості за територіальним приєднанням («возз'єднанням») даних земель, побудова ліній укріплень (меж) належить Москві, а масове заселення і освоєння краю — українцям. Але не тільки це. Українські козаки («черкаси»), перебуваючи на царській службі, обороняли південні кордони Московії від частих набігів кочовиків. Д. І. Багалій слушно зауважував, що для оборони і закріплення краю московські сторожі були неспроможні, потрібне було постійне населення [3, с. 108 та ін.]. Підсумовуючи свій досвід дослідження краю і України в цілому, він наголошує: «Нехай усім народам живеться вільно на Україні, але нехай нові поселенці на Україні пам'ятають, що не може бути зневажений на своїй рідній землі … той Український народ,

[1] Наприклад, В. Я. Старосольський наголошував: «… справа національної держави се справа нації як цілости…». (Див.: Старосольський В. Я. Теорія нації / В. Я. Старосольський — К.: «Вища школа», 1998. — 157 с.) та ін.

[2] Однак, параграф, де розглядаються події, автори назвали «Боротьба московських князів за спадщину Київської Русі».

котрий заселив її, захистив од ворогів і довгі часи поливав своїм трудовим потом» [4, с. 5].

Що переважує? Звичайно ж, однозначне рішення даного питання може лише загострити конфлікт. Його здатні вирішити лише порозуміння і компроміс обох сторін, що почасти і передбачає концепція «єврорегіонів».

1. *Багалей Д. И.* Заметки и материалы по истории Слободской Украины / Д. И. Багалей. – Х., 1893. – 176 с.
2. *Багалей Д. И.* Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI – XVIII вв., собранные в разных архивах и редактированные Д. И. Багалеем : в 2-х т. / Д. И. Багалей. – Х., 1886–1890. – Т. 1–2.
3. *Багалей Д. И.* Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства / Д. И. Багалей. – М., 1887. – 614 с.
4. *Багалій Д. І.* Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х., 1990. – 250 с.
5. *Енгель Й.-Х.* Історія України та українських козаків / Й.-Х. Енгель. – Х., 2014. – 640 с.
6. Енциклопедія історії України. Т. 2. – К., 2004.
7. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 2 томах. – К. 1994. – Т. 1. – 400 с.
8. *Загоровский В. П.* Белгородская черта / В. П. Загоровский. – Воронеж, 1969. – 304 с.
9. *Загоровский В. П.* Воронежский край с древнейших времён до конца XVII в. : документы и материалы по истории края / В. П. Загоровский. – Воронеж, 1976. – 192 с.
10. *Загоровский В. П.* Изюмская черта / В. П. Загоровский. – Воронеж, 1980. – 238 с.
11. Історія України. Новий довідник. – К., 2008. – 736 с.
12. *Кузьменко В. Б.* До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917–1925 рр.) / В. Б. Кузьменко // Університетські наукові записки. — Хмельницький, 2005. – № 4 (16). – С. 26–30.

13. *Мицик Ю. А.* Історія України / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К., 2010. – 595 с.

14. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. комісія та ін. Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій. – К., 1991. – 224 с.

15. *Полонська-Василенко Н.* Історія України. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1992. – 608 с.

16. *Слюсарский А. Г.* Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII – XVIII вв. / А. Г. Слюсарский. – Х., 1964. – 460 с.

17. *Слюсарський А. Г.* Слобідська Україна: Іст. нарис XVII – XVIII ст. / А. Г. Слюсарський. – Х., 1954. – 280 с.

18. *Старосольський В. Я.* Теорія нації / В. Я. Старосольський. – К., 1998. – 157 с.

19. *Сумцов М. Ф.* Слобожани. Історично-етнографічна розвідка / М. Ф. Сумцов. – Х.; Полтава, 1918. – 226 с.

20. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К., 1997. – 560 с.

21. *Чижикова Л. Н.* Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры / Л. Н. Чижикова. – М., 1988. – 251 с.

22. *Чикаленко Є. Х.* Щоденник, 1919–1920 / Є. Х. Чикаленко. – К. ; Нью-Йорк, 2005. – 640 с.

23. *Шрамко Б. А.* Рождение Харькова / Б. А. Шрамко, В. В. Скирда. – Х., 2004. – 118 с.

24. *Щибря Л.* Міфи та реалії української історії / Л. Щибря // Донеччина. – 2016. – 17 червня. – № 21 (15912).

25. *Юркевич В.* Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького / В. Юркевич. – К., 1932. – 188 с.

26. *Юркевич В.* Харківський перепис 1660 р. / В. Юркевич // Записки історико-філологічного відділу Української Академії наук. – Кн. 21. – К., 1928. – С. 130–173.

Куделко С. М. Проблема границ Восточной Украины: историографические заметки

Статья посвящена проблеме политических границ и этнических рубежей между украинцами и русскими в ареале историко-географического региона «Слободская Украина». Делается вывод о том, что существовавший ментальный конфликт понимания этих границ между двумя крупнейшими славянскими народами стал одной из предпосылок современного кризиса отношений между Украиной и РФ.

Ключевые слова: Слободская Украина, политические и этнические границы, историография, массовое сознание.

Kudelko S. The Issue of the Border of East Ukraine: Historiographical Notes

The article considers an issue of political borders and ethnic boundaries between Ukrainians and Russians in the area of the historical and geographical region «Sloboda Ukraine». It is concluded that the mental conflict in understanding of the boundaries between two largest Slavic nations became one of the backgrounds for the present crisis of relations between Ukraine and the Russian Federation

Keywords: Sloboda Ukraine, political and ethnic boundaries, historiography, mass consciousness.

УДК 929.7(477.5)“185”:[316.644:94]

Т. Ф. Литвинова

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ДВОРЯНСТВА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ СЕРЕДИНЫ XIX в.

В статье поставлена проблема роли исторических представлений элиты Левобережной Украины в легитимации её социальных устремлений. Показаны механизмы взаимодействия исторической памяти малороссийского дворянства и его социальных идентичностей. Представлены дискуссии образованного общества середины XIX в. вокруг проблемы оценки и интерпретации указа Екатерины II о закрепощении крестьян 1783 г.

Ключевые слова: социальные идентичности, исторические представления, украинская историография, малороссийская элита, закрепощение крестьян Украины.

В украинской историографии уже общим местом стало представление о значительной роли элиты Левобережной Украины (Гетманщины, Малороссии) в формировании современной национальной идентичности и, соответственно, в сохранении исторической памяти, поскольку исторический компонент занимал одно из центральных мест в обосновании не только легитимации самой новой элиты, но и прав своей родины. В то же время, проблемы исторического сознания, памяти, знания, развития исторической науки на просторах Левобережной Малороссии XVIII – первой половины XIX в. и изучение социальных аспектов функционирования элитных групп (казацкой старшины, шляхты, дворянства) в украинской историографии почти никогда не пересекались. Они существовали как бы параллельно. Но, стоит напомнить, что и в первом, и во втором случае речь фактически шла об одних и тех же людях. Поэтому в стратегиях презентации, например, такие освоенные украинской историографией персонажи, как Г. А. и В. Г. Полетики, Марковичи-Маркевичи, В. Я. Ломиковский, А. И. Чепа и другие на страницах текстов исследователей появляются как минимум в двух ипостасях: историк или казацкий старшина/шляхтич/дворянин. Однако историографически назревшие проблемы взаимовлияния социальных идентичностей и исторических представлений, стыков «исторического» с другими составляющими общественного сознания, общественной мысли в формировании социальных стратегий, социального взаимодействия, то есть с теми сферами жизни общества, которые напрямую не связаны с усвоением и трансляцией «исторического», пока не нашли должного осмысления.

© Литвинова Т. Ф., 2016

Необходимость преодоления такого «герметичного» подхода несомненна. Особенно, когда речь идет о социальных идентичностях тех, кто воспринимается одновременно не только как фиксатор, но и как ретранслятор исторической памяти. Важно подчеркнуть, что глубоко историзированное сознание малороссийской элиты, выдвинувшей из своих рядов первоклассных для своего времени историков, было во многом определено теми серьезными потрясениями, которые переживало общество на рубеже XVIII–XIX вв. (речь идет не только о политико-правовой инкорпорации Гетманщины в систему Российской империи). Именно поэтому изучение взаимодействия «социального» и «исторического» позволит существенно расширить, а, может быть, и значительно изменить историографические представления о малороссийском обществе и его элите. Такой подход может оказаться результативной стратегией не только изучения ментальности элит, их исторических представлений, стереотипов, но и позволит существенно расширить границы задач историографических исследований.

Несмотря на существующие восприятие исторической памяти как продукта социализации и одновременно основы для идентификации, все же необходимо осознавать их непростую связь. Историческая память и социальные идентичности не могут и не должны рассматриваться в ракурсе жесткого взаимодействия. Разумеется, из толщи исторической памяти могут подниматься не только социально значимые пласты. По мере профессионализации исторического знания все более сложными и многообразными становятся индивидуальные формы инструментализации исторической памяти. Но в данном случае, поднимая проблему инструментализации (возможно, утилизации) исторической памяти в сфере формирования новых социальных идентичностей малороссийского общества середины XIX в., то есть, того времени, когда социальная элита снова вынуждена была стремительно меняться и усваивать новые социальные роли, внимание будет сосредоточено на проблеме использования «исторического» для решения социальных задач. На мой взгляд, изменения исторических доминант, приоритетов в структурах исторической памяти, исторических интересов могут быть

также индикатором социальных изменений. Причем важно, что именно извлекается из объема коллективной исторической памяти в моменты социальных переломов.

Как известно, в конце 1850-х гг. социальная элита Левобережной Украины снова оказалось перед проблемой «быть или не быть». Еще недавно освоив роль душевладельцев, дворянство было вынуждено приступить к гласному обсуждению крестьянского вопроса в губернских комитетах по обустройству быта крепостных крестьян, таким образом, решая и свою дальнейшую судьбу. Как и раньше в моменты коллективного волеизъявления дворянские депутаты довольно широко опирались на историю. Но если в публичных дискуссиях времен Уложенной Комиссии 1767 – 1774 гг. элита Гетманщины в поисках своих сословных корней и границ, по сути, создавала историю шляхты региона, а через несколько десятилетий уже утвердившиеся в своем статусе дворянские «патриоты», обосновывая права потомком сотенной старшины, фактически писали историю казачества [4], то в середине XIX в., поставленное перед необходимостью решать крестьянский вопрос, дворянство Левобережной Украины уже обращалось к истории крестьянства, о котором только вскользь вспоминали в 60-е гг. XVIII в. и которое вовсе обходили вниманием борцы за нобилитацию В. Полетика. А. Чепа, Н. Стороженко и др.

Центральным историческим сюжетом в ходе обсуждения крестьянско-дворянской проблемы в конце 50-х гг. XIX в. стало закрепощение крестьян Гетманщины указом 3 мая 1783 г., который в деталях по-разному трактовался членами дворянских губернских комитетов по устройству быта крепостных крестьян, в том числе и такими известными в то время историками, как М. О. Судиенко и А. М. Маркович. Однако обращение к указу играло важную роль как в ориентации, самоидентификации и поведении отдельных персонажей, так и в формировании и поддержании коллективной идентичности, а также в трансляции морально-этических ценностей.

Замечу, что большинство тех, кто принимал участие в обсуждении этой проблемы, стояли на позициях так называемой указной теории, связывая введение крепостного права с указом Екатерины II. Работая ради достижения «цели великой, святой – счастья отчизны» [5, с. 398], дискутируя по различным вопросам, обсуждая отдельные аспекты будущей реформы, дворянские депутаты неоднократно акцентировали внимание на том, что до 1783 г. крестьяне Малороссии были свободны

и активно пользовались правом перехода. Бродяжничество же, которым якобы и был вызван фискальный царский указ, было результатом не каких-либо злоупотреблений со стороны землевладельцев, а происходило, по мнению А. М. Марковича, «от безпорядочного своевольного управления краем, от насилия и притеснения властей» [5, с. 88].

Таким образом, дворянство Левобережья как бы подчеркивало свою непричастность к установлению крепостного права в крае, в котором, по мнению И. М. Миклашевского, «личная свобода наиболее уважалась». Больше того, этот деятель Крестьянской реформы был убежден, что «наша родина в историческом развитии своем шла всегда впереди России и порядок перехода посполитых от одного владельца к другому, совершался до 1782 года, без всякой неурядицы к чести края». Именно с этого времени «историческое развитие Малороссии остановилось; посполитые подчинились безусловно требованиям правительства; нравственное, хозяйственное и коммерческое начало заглохли». Итак, возлагая всю ответственность на «Самодержавную власть Императрицы», этот депутат дворянства Стародубского уезда, который более 30 лет сам занимался хозяйством, стремился доказать, что крепостное право «есть состояние чуждое духу народа, а потому не могло войти, так сказать, в его плоть и кровь» [6, л. 1 об., 2–2 об., 8].

О свободе малороссийского народа, его возможности пользоваться «в полном смысле владельческим правом над землями своими» [2, л. 1 об.] писали и говорили и другие дворяне-помещики. От екатерининского указа отталкивались в своих размышлениях и В. В. Тарновский, и Н. А. Ригельман, и Г. С. Кирьяков [10, с. 24; 11; 13], и целый ряд других авторов. В Черниговском комитете обсуждению проблемы 1783 г. было уделено специальное внимание на заседании 17 ноября 1858 г, когда значительная часть депутатов высказывала свое мнение относительно отказа «на вечные времена» от личного крепостного права, введенного екатерининским указом. При этом неоднократно подчеркивалось со ссылкой на «древние акты», что в Малороссии крепостного права не существовало, что особенно нужно подчеркнуть в итоговом Положении от Черниговского комитета [5, с. 69–73].

Очевидно, затрагивал эту тему и Полтавский комитет. Во всяком случае, переяславское дворянство на уездном собрании не просто пространно остановилось на доуказних взаимоотношениях земледельцев и землевладельцев, но и просило о «прекращении силы дальнейшего действия указа» и о восстановлении для помещичьих крестьян права

свободного перехода [7, с. 45–47]. Об этом же говорили и представители полтавской элиты А. В. Богданович и М. П. Позен в Редакционных комиссиях в Петербурге. Следовательно, обращение малороссийского дворянства к указу 1783 г., с одной стороны, было отправной точкой для обоснования социальной и хозяйственной специфики края, который противопоставлялся другим украинским регионам. С другой стороны, таким образом проявлялась не только консолидация малороссийской элиты, но и ее ответственность за интересы своего сословия, интересы крестьян, а также желание «сохранить лицо» перед современниками и потомками. Это чужое крепостное право, введенное законом, что подчеркивалось многими ораторами и писателями в ходе обсуждения эмансипационной проблемы, вело к упадку, ведь, как считал А. И. Покорский-Жоравко, «принудительные отношения помещиков и крестьян нравственно губили и тех, и других». Крепостное право «убивало наши нравственные силы, …как червь губило наш хозяйственный быт, …не давало наслаждаться нашими избытками», поскольку «примешивало к нашим удовольствиям каплю пота или слезу скорби нашего крестьянства». Он, так же, как и Г .П. Галаган, признавал: «мы виноваты!». Однако, энергично работая над разрешением дворянско-крестьянской проблемы, стремился отмежеваться от активно навязываемого дворянству публицистикой того времени «яркого колорита плантаторов южных штатов» [8, с. 200].

Наиболее ярко, на мой взгляд, по поводу ответственности дворянства высказался Валериан Подвысоцкий, настаивая на необходимости упомянуть указ 1783 г. в решениях Черниговского комитета, поскольку «таким образом, каждый дворянин как бы говорит: не отрекаюсь от неправого дела моих предков, но возвращаю, что мне не должно было бы принадлежать; не дарю того, что не было моим, но возвращаю и возвращаю теперь, ибо прежде не был вправе возвратить» [5, с. 71]. То есть, именно так выражалась готовность отказаться от навязанной в свое время центральным правительством роли дворян-душевладельцев, которая не была присуща малороссийской элите до 1783 г.

Как уже отмечалось, участники обсуждения не были единодушны в оценках обстоятельств и сути указа 3 мая 1783 г. Их представления об этом в значительной степени держались на преданиях. Неслучайно разные авторы, кроме 1783 г., называли также то 1782-й, вероятно имея в виду ревизию населения, то 1784-й, то 1785-й годы. Поэтому, наверное, Г. П. Галагану для комитетских дел так не хватало

профессионально написанной истории. Не случайно в 1858 г. он обращался к М. А. Максимовичу с предложением обеспечить, так сказать, историческую основу для будущих реформаторских занятий и написать исследование об истории взаимоотношений крестьян и помещиков. И сам корреспондент, и его приятель В. В. Тарновский и другие дворянские писатели пытались это сделать [1; 3; 12]. Но, очевидно, с позиций Григория Павловича, лучше с такой задачей мог бы справиться только настоящий историк, которым и считался Михаил Александрович. Об этом и шла речь: «Как бы хорошо было если бы Вы подарили наши Малороссийские комитеты об устройстве крестьян историческим исследованием отношений крестьян к панам до укрепления. Для начала комитетских работ это было бы очень кстати».

Потребность опереться на историю ощущал и А. П. Бакуринский, который считал, что «гражданская жизнь», «юридический быт старинной Малоросии» совсем не описаны. Ему было грустно от того, что «литература русская обогащается с каждым днем замечательными произведениями по этой части, литература …малорусская занимается только исследованием […] ведьм, вовкулаков, нынешних простонародных пословиц и песен, литература не выходит из круга нынешней простонародной жизни». «Читая эти произведения, – писал далее автор, – можно подумать, что в далекой старине, Малороссия, кроме казацкой удалой схватки и казацкой песни ничего не сделала. Неужели история жизни целаго народа заключается в нынешних простонародных песнях и сказках и неужели вся Малороссия состоит из нынешних крестьян, и потому для изучения ея быта надо непременно, надев простонародный костюм, изучить крестьянские песни и сказки» [1, л. 1]. Патриот края, очевидно, уже затронутый модернизацией, А. П. Бакуринский был убежден в необходимости изучения собственной истории в первую очередь на основе юридических актов. Именно это дало бы возможность получить «полную картину внутренней самодеятельной жизни народа». Ведь даже при беглом их исследовании становится очевидным, что, «несмотря на безпрестанные войны с соседними народами и внутренние неурядицы, мы выработали гражданские законы и гражданское устройство, которые стоят если не выше, то никак не ниже прочих славянский племен» [1, л. 2–2 об.]. Главная часть этих законов – законы о поземельных отношениях и землевладении, которое развивалось «свободно, не будучи стесняемо никакими административными мерами». Не имея всех необходимых материалов для изучения данной проблемы,

автор призывал «всех лиц заинтересованных улучшением края» собирать актовый материал и обнародовать его. Он считал, что это должно стать и «материалом для земского устройства», и для «истории цивилизации страны» [1, л. 53 об. –56].

Но эта история, написанная вскоре А. Ф. Кистяковским и А. М. Лазаревским, будет совсем по-другому представлять ситуацию с закрепощением крестьян Малороссии и ни о каком оправдании и даже понимании старшины-шляхты-дворянства здесь не будет идти речь. В сознании малороссийского дворянства указ 1783 г. был, скорее всего, «событием с негативным основанием» [9, с. 464]. Именно он изменил характер социального взаимодействия в крае. И такое отношение к событию фиксировалось еще в начале 1861 г. в редакционной статье мартовского номера «Основы». А. М. Лазаревский же своей концепцией сделал несостоятельной действующую модель коллективной идентичности малороссийской элиты. Способствуя этим разрыву исторической памяти, он, по сути, положил начало новому историческому мифу, в котором уже не было места «старой» элите. Голоса же историков А. П. Шликевича, И. В Теличенко, отрицавших позиции А. М. Лазаревского относительно закрепощения крестьян казацко-старшинской верхушкой еще до издания указа 1783 г., так и остались не услышанными.

1. *[Бакуринский А. П.]* История развития поземельного владения в Малороссии // ЧИМ. – Ал. 504/ 128. – 58 л.
2. *[Капнист И.]* Взгляд на крепостное состояние людей в России и на средства к преобразованию онаго // ИР НБУВ. – Ф.I. – № 5743. – 2 л.
3. *Галаган Г. П.* Заметки о том, что для описания Сокиринских крестьян делано и что еще надобно дополнить / Г.П. Галаган // ИР НБУВ. – Ф. I. – № 6933. – 2 л.
4. *Литвинова Т. Ф.* Формування нової соціальної ідентичності еліти Лівобережної України в другій половині XVIII – першій половині XIX століття та історична пам'ять / Т. Ф. Литвинова // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX – першій половині XX століття: колективна монографія / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи. – Л., 2011. – С. 167–173
5. Материалы по истории освобождения крестьян / под ред. В. Л. Модзалевского // Труды ЧАК. – 1912. – Вып. 9. – 411 с.
6. *Миклашевский И.* Мысли о подготовке крестьянской реформы 1861 г. / И. Миклашевский // ИР НБУВ. – Ф. 61. – № 282. – 10 л.

7. *Павловский И. Ф.* К истории полтавского дворянства. 1802 – 1902 г. Очерки по архивным данным / И. Ф. Павловский. – Полтава, 1906. – Т. 2. – 303 с.
8. *Покорский-Жоравко А.* Что стоило нам крепостное право? / А. Покорский-Жоравко // Русский вестник. – 1858. – Т. XVIII. – Ноябрь. – Кн. 2. «Современная летопись». – С. 198–203.
9. *Репина Л. П.* Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: Социальные теории и историографическая практика / Л. П. Репина. – М., 2011. – 560 с.
10. *Ригельман Н.* О крестьянском вопросе в Малороссии / Н. Ригельман // Сельское благоустройство. – 1859. – Кн. 1. – Январь. – С. 23–38.
11. *Тарновский В. В.* О наделе крестьян землей / В. В. Тарновский // ЧИМ. – Ал. 504/61/ 1 – 9.
12. *Тарновский В. В.* О собственных крестьянских землях / В. В. Тарновский // ЧИМ. – Ал. 504/60/5.
13. Чернова записка *Г. С.* Кирьякова «О крестьянских усадьбах по современному вопросу». 1858 г. // ГАПО– Ф. 222. – Оп. 1. – Д. 707. – 11 л.

Литвинова Т. Ф. Історична пам'ять та інструменталізація минулого в соціальних проектах дворянства Лівобережної України середини XIX ст.

У статті поставлена проблема ролі історичних уявлень еліти Лівобережної України в легітимації її соціальних устремлінь. Показано механізми взаємодії історичної пам'яті малоросійського дворянства і його соціальних ідентичностей. Представлено дискусії освіченого товариства середини XIX ст. навколо проблеми оцінки та інтерпретації наказу Катерини II про закріпачення селян 1783 р.

Ключові слова: соціальні ідентичності, історичні уявлення, українська історіографія, малоросійська еліта, закріпачення селян України.

Lytvynova Tetyana. Historical Memory and Instrumentalization of the Past in Social Projects of the Nobility of Left-Bank Ukraine in the Middle of the XIXth Century

The article studies the role of historical views of the Left-Bank Ukraine elite in legitimation of its social desires. Mechanisms of interaction between historical memory of Little-Russian nobility and its social identities are revealed. The discussions, held by educated society in the middle of the XIXth century, on the issue of evaluation and interpretation of Katherine the Second` decree of 1783 which turned peasants into serfs, are studied.

Keywords: social identities, historical views, Ukrainian historiography, Little-Russian elite, serfdom of Ukrainian peasantry.

УДК 929Максимович:141.319.8

Л. Ю. Посохова

МИТРОПОЛИТ ІОАН (МАКСИМОВИЧ) ПРО «СВОЄ» ТА «ЧУЖЕ» В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ ТВОРІ «ПОДОРОЖНІЙ» (1711 р.)

Статтю присвячено дослідженню твору митрополита Іоана (Максимовича) «Подорожній» (оригінал має назву «Есть путник из Чернигова в Сибирь»). Текстологічний аналіз дозволив виявити кілька рівнів розуміння автором «свого» та «чужого», заснованих на фіксації культурних відмінностей у церковному та громадському житті українських та інших православних єпархій Російської імперії. Зроблено висновок про те, що Іоан (Максимович) формував образи «свого» та «чужого»/«іншого» із яскраво вираженим акцентом на такому аспекті як «культурно свій» та «культурно інший».

Ключові слова: Іоан (Максимович), «Подорожній», Тобольська митрополія, Чернігівська єпархія, XVIII століття.

Життя та діяльність святителя Іоана (Максимовича) (1651–1715), видатного церковного діяча і письменника неодноразово привертали увагу дослідників. Його біографії та творчості присвячена велика кількість розвідок[1]. Майже все життя Іоана (Максимовича) було пов'язане з Україною. Він навчався в Києво-Могилянській академії, викладав в ній, згодом став ченцем Києво-Печерської лаври, з 1795 року – настоятелем Єлецького Успенського монастиря в Чернігові. У 1697 році він став чернігівським архієпископом і на цій кафедрі уславився чималими звершеннями. Серед іншого він відомий як один із засновників Чернігівського колегіуму. У 1711 році Іоан (Максимович) був призначений на Тобольську кафедру й возведений у сан митрополита. У 1916 році його було канонізовано.

«Подорожній» (російською мовою «Путник») – це скорочена назва твору, оригінал якого має назву «Есть путник из Чернигова в Сибирь». «Подорожній» – це віршований автобіографічний твір, в якому Іоанн Максимович описує свою поїздку з Чернігова до Тобольська (156 аркушів тексту). У творі, крім опису подорожі, містяться розлогі філософсько-богословські роздуми автора. Існує єдиний примірник

[1] Бібліографію див.: [11, с. 230].

© Посохова Л. Ю., 2016

тексту, який тривалий час зберігався у Тобольську, а тепер знаходиться в рукописному відділі Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі. У 1985 році ієродиякон Серафім Шликов включив текст твору як додаток до своєї кандидатської дисертації, яка була захищена в Московській духовній академії [10]. У 2012 році «Путник» був опублікований в «Вестнике церковной истории» [8], але жодного разу спеціально не досліджувався. Текст написаний російською мовою, з величезною кількістю церковнослов'янізмів, українських та польських слів.

«Подорожній» є оригінальним джерелом з низки питань історії церкви та культури початку XVIII століття. У даному випадку зосередимося не на комплексному аналізі твору, а поставимо до тексту одне із можливих запитань, котре винесено у назву статті. Оскільки подорож у далекі землі загострює відчуття «чужого» та поглиблює розуміння «свого», вважаємо важливим віднайти та проаналізувати ті ознаки «свого» та «чужого», як їх визначав та сприймав Іоанн Максимович.

У висновках до своєї праці «Винайдення Східної Європи: мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва» Ларі Вульф робить висновок про те, що «винайдення Східної Європи» мандрівниками із Заходу, «нерозривно пов'язувалося із супровідним процесом винайдення Західної Європи», «адже оглядачі не могли дати означення фундаментальній відмінності Східної Європи, імпліцитно не сформулювавши при цьому погляду, з позицій якого вони вели спостереження» [1, с. 500–501]. Такі процеси відбувалися й в інтелектуальному середовищі православних колегіумів та Києво-Могилянської академії, з якими був тісно пов'язаний Іоан (Максимович). Найчастіше студенти та викладачі колегіумів розширювали обрії свого реального світу через «віртуальні мандрівки», які стимулювалися інтересом до географічних відкриттів (зазначимо, що, в навчальній програмі колегіумів виокремленням самостійного курсу географії відбулося у 1770-ті роки), а також загальною гуманістичною спрямованістю навчання. Водночас, «відкриття світу», «розширення простору» студентами та викладачами колегіумів у XVIII ст. впливало не тільки на формування географічної свідомості окремих осіб, становлення дисциплінарних основ географії як науки, але і на формування національної та регіональної ідентичності [про це також див.: 7].

Створення стійкого образу «свого» має передумовою наявність протилежного образу «іншого», від якого і відбувається свого роду «від-

штовхування» [9, с. 13]. Придивляючись до «чужого», люди краще розуміли і визначали характерні риси «свого». Подібне явище фактично спостерігаємо й у діаріуші Іоана (Максимовича).

Добре відомо, що в першій половині XVIII століття більшість єпархій Російської імперії очолювали вихідці з українських земель, вихованці Києво-Могилянської академії і православних колегіумів. У джерелах особового походження подекуди можна зустріти реакцію на подібні призначення. Виходить так, що далеко не завжди такі запрошення сприймали з радістю, навіть коли нове місце служіння ставало сходинкою статусного зростання. Так, один з учителів Переяславського колегіуму, якого призначили до Тюмені настоятелем монастиря, писав друзям на батьківщину: «лучше быть в Переяславе звонобитом, чем в Тюмени архимандритом» [3, с. 404]. Отже, рефлексія таких «переселенців» варта уваги та дослідження.

У випадку із призначенням Іоанна Максимовича тобольським митрополитом розуміння ситуації ускладнюється наявністю двох протилежних версій щодо обставин цього призначення. Згідно першій – це почесне заслання, викликане суперечкою Іоана (Максимовича) з всесильним князем Олександром Меншиковим, який й домігся цього «почесного заслання». Послідовники другої версії трактували це як підвищення, подяку з боку Петра І за твір Іоана (Максимовича) «Синаксарь» (Чернигов, 1710), надісланий царю, в якому звеличувалася Полтавська перемога. Оскільки ієрарх мав очолити колосальну за розмірами митрополію, кордони якої сягали Тихого океану, дослідники називали призначення «щедрою винагородою». Встановлення того, як характеризувати це призначення (як заслання чи відзнаку) також виступало важливим завданням при аналізі діаріушу.

Якщо подивитись на подібні твори початку XVIII століття, й спробувати врахувати класифікації травелогів у спеціальних дослідженнях [2; 4; 5], помітно, що «Подорожній» – це доволі нетиповий для свого часу твір. Окрім того, що під питанням залишається характер поїздки (важливий критерій класифікації), не часто зустрічаються описи подорожей, які автори трактують як поїздку в один кінець. Іоан (Максимович) писав твір як людина, що не мала шансу повернутись на Батьківщину. Читацька аудиторія, до якої він звертався, також специфічна – це його колишня чернігівська паства, яка ніколи цей твір не побачить (так вважав автор). Водночас він не вів свій опис з позиції «іншого», як це зазвичай роблять мандрівники та дипломати.

Переходячи до аналізу змісту твору варто зазначити, що в «Подорожньому» простежуються кілька рівнів розуміння «чужого». Перший, доволі очевидний та чітко визначений, котрий виявити у творі нескладно. Як пастир церкви, «чужим» та «чужими» Іоан (Максимович) називає іншу віру та іновірців. Під час подорожі він кілька разів зустрічав насамперед татар, котрих називав «бусурмане». У віршованих рядках неодноразово виринають образи «Бесурманской державы», говориться й про «магметанскую веру». Так чи інакше торкаючись теми іншої віри, в тексті згадуються як «чужі» лютерані та кальвіністи («немчин лютел или кальвин вместе»[1]) (л. 42 об.), у цьому ж ряду і шведи (хоча безпосередніх зустрічей з ними не було). Під час подорожі Іоанн (Максимович) бачив поселення народів язичницьких вірувань, до яких, звісно, він застосував оцінки через призму своєї віри («зловерно живут»). Зауважу, що організація поїздки, особливо пересування на човні, робило неможливим безпосередні контакти з «чужинцями». Навіть коли Іоан (Максимович) виявив зацікавлення до одного з поселень місцевих народів, човен проплив повз нього, й дізнатись про щось більше було неможливо.

Втім, текст «Подорожнього» містить чимало неявних, прихованих оцінок, невідрефлексованих й невисловлених прямо почуттів, побіжних порівнянь, котрими фактично позначено «чуже». Деяких людей чи певні явища Іоан (Максимович) не називав прямо «чужими». У даному випадку мова йде про таке «не своє», яке стосувалося не іновірців, а представників своєї віри. Іоанн Максимович не формулює чітко цю «інакшість», але її можливо зафіксувати, проаналізувавши текст та зібравши висловлювання з окремими ознаками «відмінності», котрі автор позначив як щось «дивне» чи «не таке». Втім, за великим рахунком, ці ознаки врешті становлять «чуже» в розумінні ієрарха.

Варто одразу відзначити, що «Подорожній» – це погляд людини, котра, як тільки-но виїхала з Чернігова, почала позначати все навкруги як «не своє». Якщо окинути оком увесь текст, вражає, що Іоан (Максимович) згадує Чернігів майже на кожній сторінці твору, іноді по декілька разів. Причину такого сприйняття оточуючого світу Іоан (Максимович) не приховує, а формулює у тексті багато разів таким чином, що не залишає нам сумнівів. Вочевидь, він їхав до Тобольська у почесне заслання. Про це свідчать такі висловлювання: «в далеку страну изгнания» (л. 21), «Хотел в Чернигове пребывать до смерти» (л. 19), а змушений

[1] Далі у тексті посилання на це видання [8].

здійснити «из Чернигова переселение», як «В дальну страну отойду», то про сльози писати не варто (л. 22). Подібних реплік у діаріуші чимало, вони повторюються у різних варіантах. Не будемо цитувати їх всі, але наведемо декілька, які виразно фіксують душевний стан архієрея: навіщо «далечайшую страну посылаешь», От Чернигова почто удаляешь? (л. 25 об.). «Хотел бы в Чернигове жить за монаршу благость, но уготован путь дальний» (л. 29 об.), «Призван из Чернигова, лучше бы в Печерские гробы» (л. 31) «Слезно воздыхаю: Чернигова отчужден. сим вины не знаю» (л. 36).

Висновок про мету поїздки як почесне заслання стає ключем, який відкриває перспективу розуміння емоційного стану та переживань святителя, визначає забарвлення сприйняття ним всієї подорожі. Принагідно зазначу, що рефреном звучать міркування Іоана (Максимовича) про волю Бога та царя, й, відповідно, про те, що йому належить виконати цю волю: «все исполню – как Богу и царю угодно» – «и в Сиберы сподобат небесны чертога» (л. 21). У зв'язку із цим нагадаю, що у кількох своїх творах, особливо «Іліотропіоні», Іоан (Максимович) заглиблювався у питання філософсько-богословського характеру, зокрема розробляв проблему узгодження Божественної та людської волі. У «Путнике» він знову повертається до цієї теми.

Отже, основний лейтмотив твору «Подорожній» – це протиставлення: рідний Чернігів – і все інше (нерідне). З психологічної точки зору очевидно, що автор «Подорожнього» перебуває в стані дискомфорту: він прощається зі «своїм» і відправляється на зустріч з невідомим. Водночас, він пише свої вірші в той момент життя, коли «рідна паства» раптом стає «чужою» і, навпаки, йому, як пастору, відтепер далеких і «чужих» треба сприймати як «своїх».

Відповідно, саме на цих почуттях базується сприйняття «інакшості». Тобто у тексті присутній елемент певної тенденційної інтерпретації оточуючого світу, яка базується на позиції автора-вигнанця. Докази цьому можна відшукати на багатьох сторінках твору. Фактично під таким кутом зору абсолютно все, що зустрічає архієрей на своєму шляху, він маркує як «не своє» або «чуже» (фіксуючи це прямо чи ні). Водночас, такі важкі переживання зовсім не виключають того, що Іоан (Максимович) із вдячністю згадує духовенство, місцеве цивільне керівництво, чимало конкретних людей, які надали йому теплий прийом (с архимандритом «маленько посидевши…»), хто забезпечив його провізією, допомагав подолати певні складнощі.

Продовження і поглиблення текстологічного аналізу дозволяє виявити ще одну іпостась «чужого». Іоан (Максимович) був людиною з великим досвідом церковного життя та літературної праці. Тому, якщо уважно придивитись, в його творі, окрім маркеру «нечернігівське», можна помітити й тонку фіксацію культурних відмінностей у церковному або громадському житті інших православних єпархій Російської імперії, по території яких він їхав. Ба більше, він розумів, що ця різниця є доволі великою: «обычаев тамошных преумножение» (л. 68 об.). І далі він навіть зазначив, що саме ця різниця хвилює його більше, ніж труднощі шляху.

Наведу кілька прикладів тих відмінностей громадського життя центральних губерній Росії та Поволжя, які помітив Іоан Максимович (звичайно, порівнюючи з Чернігівщиною). Зокрема, його надзвичайно здивувала ступінь пияцтва народу. До речі, сам він не був аскетом, й не закликав до цього, а згадки про рейнське та інші вина зустрічаються у тексті неодноразово. Примітно, що слідом за описом страшенного пияцтва населення, Іоан (Максимович) відзначає й розмах кріпацтва. Негативна оцінка кріпацтва сформульована не прямолінійно, а як здивування тим, що неможливо було найняти слуг, в той час як у Чернігові вільні люди наймаються, й за своїм бажанням залишають службу: «все там суть свободнии и немногих ищут» (л. 70 об.) «Боже, их благослови, кто пожил свободно» (л. 70 об.). А далі у тексті природньо з'являються роздуми архіпастиря про своє життя на новому місці: «Каяжде свобода в житии, служении там изобращется?» (л. 71 об.).

Міркування про свободу з'являються у тексті ієрарха кілька разів, подекуди начебто випадково. Наприклад, описуючи подолання численних порогів на річці Чусовій, він раптом згадує запорожців: «издревле славны были запорожцы» (л. 93).

Особливо обережно Іоан Максимович формулює відмінності у церковних традиціях чернігівської та центральних російських єпархій. Точніше сказати, у тексті такі особливості можна віднайти лише прискіпливо придивляючись, адже архієрей використовував виважені судження, лише легкими рисочками позначав подібну характеристику. Наприклад, описуючи теплий прийом та подарунки, які йому надали в Троїце-Сергієвому монастирі (риба, «дари не убоги»), він із легким здивуванням відмітив, що йому не було подаровано жодної ікони («Іконы не едыной странну не дадоша»). У той же час архіпастир «свою справу виконав»: багатьом особам подарував книги та інше.

Звісно, чим далі на схід, таких ознак «інакшості» в церковному житті стає дедалі більше. Чимало з них Іоан (Максимович) пояснював бідністю, Наприклад, описуючу літургію, він не утримався від такого пасажу щодо обряду причастя:

«Но вина церковнаго нельзя вкусити,
Ибо не вино бо бе там, но неко смешение,
Являющее з ягод. Само вкушение
Совести их предахом, вино изменихом,
Чашу довольну дахом, путь свой восприяхом» (л. 135).

Вже прибувши на місце, до Тобольська, з самого тону описання ієрархом церкви та архієрейської резиденції, стає зрозуміло, що Іоан (Максимович) був глибоко вражений побаченим, адже такого не могло бути в Україні.

«Церковь течет, окошка за ветхость побыти,
В главах и з нижших местех лубками закрити» (л. 139).
І далі:
«Стены каменны стоят, деревом подперти,
Як упаднут, то будут комусь уды стерти» (л. 141).
«Каменных полат много, а негде пожити,
Не лет о чернеговских зданиях тужити.
Везде опало старо, везде обетшало,
В дому архиерейском не так подобало» (л. 145).

Втім, глибинні причини такої недбалості архієрей вбачав не тільки в бідності. Як стає зрозуміло з тексту, Іоан (Максимович) одразу звернув увагу на те, що Церква як інститут на цих теренах перебувала в іншому становищі, ніж на українських землях. Зокрема, він зазначив, що архієрейський дім не веде своїх господарських справ, не має землі, й не може купити землю (бо вся земля навкруги «монарша»). І він навіть пише про те, що породжує такий стан справ «неволя», адже:

«Раз предел положенный, того преходити
Невозможно никогда, так велят жити» (л. 145 об.).

Для Іоана (Максимовича) дивиною є й те, що церква не отримує від населення грошей в якості благодійних внесків, а тільки провізію.

Відверто здивував та обурив його той прийом, ще неофіційний, який йому надали у день приїзду до Тобольська:

«По далечайшем пути чарки нам не далы,
Чим бы покрепитися, в прочих отказали» (л. 147).

Завершуючи розповідь про подорож до Тобольська, вочевидь, вже більш відверто описуючи «чужі» прояви церковного життя, Іоан (Максимович), тим не менш, починає розмірковувати про необхідність будівництва («Чим сия строити?»), впровадження змін, необхідність жити і працювати вже на цій землі.

В останніх рядках діаріушу Іоан (Максимович) символічно прощається зі своєю рідною паствою, благословляє її. Втім, примітно, що він, архіпастир, звертається до неї словами «Граждане Чернегова» (л. 153). Наскільки випадково таке звернення? Вважаємо, що ця дефініція обрана не випадково, й в ній зафіксовано ті відмінності, характерні риси «свого», які Іоан (Максимович) свідомо підкреслив цим зверненням, взагалі не притаманним для позначення своїх парафіян.

Втім, саме цими словами він ставить крапку у розповіді. Відтепер для нього «своєю» має стати тобольська паства. На завершення варто відмітити, що ієрарх відзначився чималими звершеннями у розбудові церковного життя Тобольської та Сибірської митрополії. Втім, про те, що святитель подумки не розставався зі своєю чернігівською паствою свідчать згадки мемуаристів, що він помер під час молитви перед іконою Чернігівської Іллінської Божої матері.

Підсумовуючи аналіз «свого» та «чужого», як їх позначив Іоан (Максимович) у творі «Подорожній», слід врахувати й той стиль життя, який був притаманний автору, а також іншим чернігівським інтелектуалам його кола. Можна назвати чимало чернігівців, відомих церковних діячів (як от Лазар Баранович та інші), які також чимало сил та років життя присвятили педагогічній та літературній справі. Іоан (Максимович) уособлював той тип інтелектуала, який наприкінці XVII – XVIII ст. активно формувався на теренах Гетьманщини та Слобожанщини. Для цих людей було характерне саме те, що значну частину життя вони присвятили викладанню в освітніх інституціях, ретельно дбали про самовдосконалення, вели активну «наукову комунікацію», яка поступово формувала так звану українську «Республіку вченості» [6]. Вочевидь, саме за цим колом однодумців, унікальним культурно-інтелектуальним середовищем найбільше тужив Іоан (Максимович), бо саме воно, разом з «громадянами Чернігова», було для нього тим головним і найбільш значущим «своїм». Водночас, не слід забувати, що Іоан (Максимович) презентував соціально-групове сприйняття образу «свого», й відповідно – «іншого», із яскраво вираженим акцентом на такій його іпостасі як «культурно свій» чи «культурно інший». Переконані, що дослідження

подібних бінарних опозицій має значення для розуміння не лише самосвідомості, а й специфіки тієї культури, яка їх сформувала.

1. *Вулф Л.* Винайдення Східної Европи : мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Л. Вулф ; пер. з англ. – Київ, 2009. – С. 500–501.
2. *Дарчик С.* Особливості мемуарів XVII ст. та проблеми їх класифікації / С. Дарчик // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Історичні науки. – 2008. – Вип. 12. – С. 110–121.
3. *Крамаренко И.* Из воспоминаний об учителях, бывших в полтавско-переяславской семинарии в первой четверти текущего столетия / И. Крамаренко // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1890. – № 9. – С. 404.
4. *Любовець Н.* Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела : до історіографії проблеми / Н. Любовець // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 66–104.
5. *Любовець Н.* Українська мемуаристика XII–XVIII ст.: біографічна складова / Н. Любовець // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип.8. – С. 51–97.
6. *Посохова Л. Ю.* Інтелектуали Харківського колегіуму другої половини XVIII — початку XIX століття: мереживо зв'язків і взаємин / Л. Ю. Посохова // Київська Академія. – Київ, 2014–2015. – Вип. 12. – С. 160–184.
7. *Посохова Л. Ю.* Розширюючи обрії світу: Реальні та віртуальні подорожі студентів та викладачів православних колегіумів України XVIIIст. / Л. Ю. Посохова // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Т.1 : Ранньомодерна людина: Простір – влада – право XVI – XVIII століть / за ред. В. Михайловського і Я. Століцького. – Київ–Краків, 2015. – С. 376–390.
8. «Путник» – автобиографическое сочинение святителя Иоанна (Максимовича) / подгот. к публикации А. Е. Жуков // Вестник церковной истории. – 2012. – № 1/2 (25/26). – С. 5–115.
9. *Репина Л. П.* «Национальный характер» и «образ Другого» / Л. П. Репина // Диалог со временем. 2012. – Вып. 39. – С. 13.
10. *Серафим (Шлыков).* Святитель Иоанн Тобольский и его богословское наследие : дис. … канд. богословия. – Загорск, 1985.
11. *Софронова М. Н.* Иоанн (Максимович Иван) / Н. М. Сафронова // Православная энциклопедия. – М., 2010. – Т. 23. – С. 219–230.

Посохова Л. Ю. Митрополит Иоанн (Максимович) о «своем» и «чужом» в автобиографическом произведении «Путник» (1711 р.)

Статья посвящена исследованию произведения митрополита Иоанна (Максимовича) «Путник» (оригинал называется «Есть путник из Чернигова в Сибирь»). Текстологический анализ позволил выявить несколько уровней понимания автором «своего» и «чужого», основанных на фиксации культурных отличий в церковной и общественной жизни украинских и других православных епархий Российской империи. Сделан вывод о том, что Иоанн (Максимович) формировал образы «своего» и «чужого» / «другого» с ярко выраженным акцентом на таком аспекте как «культурно свой» и «культурно другой».

Ключевые слова: Иоанн (Максимович), «Путник», Тобольская митрополия, Черниговская епархия, XVIII век.

Posokhova L. Yu. Metropolitan John (Maximovitch) about "His" and "Alien" in the Autobiographical Work "The Traveller" (1711)

The article investigates the paper of Metropolitan John of Tobolsk (Maximovitch) "Putnik" (the original is called "There is a traveller from Chernigov to Siberia"). The textual analysis revealed several levels of author's understanding of "his" and "alien", based on the fixation of the cultural differences in the church and public life of the Ukrainian and other Orthodox eparchies in the Russian Empire. The author concludes that John (Maximovitch) developed the images of "his" and "alien" / "different" with a strong emphasis on such aspect as "culturally his" and "culturally different".

Keywords: John of Tobolsk (Maximovitch), "Putnik", Tobolsk metropolis, Chernigov eparchy, 18th century.

УДК 821.111(73)-312.5:329.11(73)

Robert W. Thurston

WHERE DO THEY GET THEIR HISTORY (AND POLITICS)? ROMANCING THE PAST, PRESENT, AND TRUMP, TOO[1]

Romance novels have become extremely popular in the U. S. They establish, affirm, and reflect many people's views of history and of a good, just society. In general, the stories are highly conservative; despite some phrases about energetic and capable women, romances are about finding love and marriage with the right man. He will clearly be the head of the household. Money, health, and careers are never problems in the novels. The leading figures must be beautiful and sexy. Donald Trump is hardly to everyone's taste, yet he fits the criteria for a romantic hero, except for his age, fairly well.

Keywords: Romance novels, views of history, Donald Trump.

"More people are getting their history, or what they think is history, from the movies these days than from the standard history books," Richard Bernstein wrote *in the New York Times* in 1988. Since then the release of films set in the past has not slackened; consider the American dramas *Django Unchained* (2012) and *Revenant* (2015) and Russian spectacles like *Admiral* (2008). Leaving aside the question of what "the standard history books" might be, there is merit to Bernstein's claim.

But I propose another, probably greater source today for knowledge and thought about history, and hence about what is valuable in society: romance novels. While the number of visits to movie theaters has stagnated, sales of romance novels climbed to $1.08 billion in 2013 and continue to grow. Yet that figure hardly reveals the extent of their distribution. More so than old movies, romances are widely available in libraries and on ubiquitous e-readers for free, while quite a few other stories are priced at 99 cents. Tales of love found can be durable; Jane Austen and Charlotte Brontë are doing fine on the web. Anytime, anywhere, is good for opening works in print or on an e-reader. Hundreds of clubs and individuals absorb romance to an extent unrivaled by movie-goers; the Romance Writers of America (RWA) found in a 2014 survey that 64 percent of readers went through at least one book a week.

[1] Originally published, in modified form, as "Ordinary People Learn History from Teachers, Movies, and This [romance novels]," History News Network, June 13, 2016.

©Thurston W. Robert, 2016

Who are the readers, and how many are there? The RWA, which counts more than 10,200 member writers, says that 64.6 million Americans read at least one romance novel in 2015, up from 41 million in 1998. Women comprise 78% of readers, but the men's share has risen to the remaining 22% from just 7% in a 2002 survey. Are men becoming more sensitive, or just more likely now to seek escape in book form?

Recently I joined the ranks of romance readers, especially of historical romance. My excuse is that it beats channel surfing when I'm tired. Here I offer a few thoughts, however unscientific, about romance novels' influence on views of history and of current society. My own limitations in reading are that I refuse to pay more than $.99 for an e-version of any story; I do not like Christian romances, as the few I have read seem modeled on the Book of Job, with especially prolonged violence and misery before the happy few reach a happy ending; I try to avoid novels about Viking shape-shifters, wolf pack alphas, and so on who exercise super powers as they whirl through time; I am not interested in the new genres of same-sex love. Nor do I look at certain specialized categories like Amish love. With those caveats in mind, my reading of some 200 heterosexual novels, mostly historical, qualifies me, I believe, to venture several points about how past and present are imagined in romances. The mental construction of a good, just society is the foundation for anyone's political views.

What is a romance novel? It has to be a love story, of course. The RWA says that a work of romance features a couple struggling with their feelings but finally falling for each other, and that their story must have "an emotionally satisfying and optimistic ending." The relationship must ultimately entail "emotional justice and unconditional love."

Justice, love, emotional satisfaction: these outcomes are difficult to achieve in poverty. Therefore I would add to the RWA's criteria that somebody–almost invariably the male–must be well off. In *Blackstone's Bride* by Teresa Southwick (need I say that pseudonyms are usual among romance writers?), set in California in the 1880s, readers learn almost at the beginning that rancher Jarrod Blackstone is rich. But only toward the end of the novel do we find out that he owns *39,000 acres* (almost 15,800 hectares).

The leading male may come from a wealthy family, or he may have grown up with nothing on the streets of London or Boston, for example, later to make a fortune in shipping. Dukes and earls in pre-1914 Britain tend to have extensive resources. In more current settings, billionaires abound, as in the young owner of an NFL team in Carly Phillips' *Dare to Love*. My own favorite among titles, if not stories, is *Mister Black*: *A Billionaire SEAL*, part of a series

of billionaire Navy SEAL books by P. T. Mitchell and others. With his money, his six-pack going on eight-pack abs, his domineering but sensitive ways, and his dedication to serving his country, Mister Black puts it all together.

So money can never be a problem. That alone places the historical novels in a special, conservative niche. While Julie Lessman's *A Hope Undaunted* takes its characters into the first year of the Depression and briefly mentions people thrown out of work, pay cuts for others, and the threat of economic disaster for the heroine's family, those problems disappear in a mist of emotional justice and a joyful ending. History becomes intensely personal. Profound upheavals like the Fronde, the English Civil War, and the Russian Revolution serve only as background to give a little more zest to the characters' emotional struggles. These upheavals are presented—briefly—as chaos inflicted on the land by ambitious, unworthy people. An exception is Boris Pasternak's *Dr. Zhivago,* first published in Italy in 1957. But even in that book, it is Zhivago's own struggle to be a free, creative man, and to love Lara and others, that matters. And, we might add, *Dr. Zhivago* does not meet the RWA's criteria for a true romance novel, as Lara and Zhivago do not reunite to live happily ever after.

Poor health? It always turns out for the best, as inconvenient spouses, elder brothers standing in the way of a proper duke's inheritance, or pesky rivals are eliminated to make way for true love and financial security. Nor is any decent person in the novels forced to pay outrageous sums for medical care.

Like guns? In the historical westerns and many modern-day tales, they are everywhere. The hero often gets shot but recovers and catches or kills the bad guys, sometimes with the direct help of his paramour. Stories set in our time venerate the military, police, U.S. marshals, FBI and Drug Enforcement Agency officers, and cowboys. Since the key to males' personal worth as human beings is nearly unlimited personal freedom, save for responsibilities toward underlings or relatives, it would be absurd to mention gun control.

Medieval, early pirate, paranormal, and prehistoric tales, among others, naturally do not feature gunplay. But almost every hero, even those who sit behind desks, knows how to fight with weapons and his hands, and is very good at it. When not dancing or riding, English nobles of the Regency period–officially 1811-20, but which seems to stretch on forever in dozens of novels–spend a good part of their time at Jackson's boxing club in London. John Jackson (1765-1845) was in fact the premier boxer of his day and gave lessons and staged fights between gentlemen.

All the heroes are tough, and at the tales' start they, and often their female counterparts, have set up emotional walls as self-protection after they have

been deeply wounded by defective lovers or parents. But the hard-shelled guys gradually open up and lower their guard when they meet the right women. They find that they can love. Pregnancy may complete the males' transformation, in some cases even if it involves another man's child. A woman may bring several such children–my highest count so far is six–into the home of the protagonist, who immediately adores them. His inner domesticity suddenly pours forth, to the extent at times of giving up a promising career in favor of a less exciting life centering on the hearth. But he will still be in charge. Men are thus not diminished but are significantly improved and softened by a woman's touch, especially if she has reproduced or will soon. Children obtained by the leading male in any way are always bright, spunky, and successful in school.

Hero billionaires, slightly lesser modern men, and right-minded British nobles of centuries past always take care of their dependents. Landowners joke with hired cowboys, who are not afraid to tell the young boss the truth and to impart salt of the earth wisdom. Good rich men open factories in rusty Wisconsin towns, providing employment, hope, and income. Britons of earlier times may know worthless nobles and may take over decrepit estates, nearly ruined by the previous lord's drinking, whoring, and gambling; but the new blood makes every effort to see that tenants' roofs are thatched, doctors are called, and everyone is fed. For their part, the tenants or employees are always loyal and grateful. They are also shorter, and they literally look up to men who are big in all respects.

The leit motif of many people depending on a rich man or family, repeated again in E. L. James' super series *Shades of Grey* (the first volume, 2012, hit 100 million sales by early 2014; the second volume sold over a million copies in its first four days. Those figures are among reasons I have only glanced at her uninspired work), winds determinedly through the romance novels.

Render unto Caesar what is Caesar's, including uncritical respect. King Charles II of England may have slept around a lot and promoted sexual adventures among the upper crust, but when the Great Fire of 1666 breaks out in London, he and his brother James (later James II), pitch in coolly and courageously to help extinguish the blaze. Apparently they did, but they do a star turn for all authority chosen by God at the fire in Lauren Royal's (could that be a pseudonym?) Amethyst. Pick a Louis, or England's feckless Henry II, and he deserves the support of clear-thinking people. Monarchs do the right thing; in Lila Di Pasqua's *Little Red Writin*g, Louis XIV forgives exposures of elite men's scurrilous conduct written by a beautiful, intelligent woman because, after the Fronde, he dislikes all male aristocrats. Only the

American Revolution appears as an event during which a king's authority can rightly be questioned.

Turks, Spaniards, Mexicans, and white Creoles rarely impress favorably in romance novels, but black people in Britain or America are uniformly brave, capable, and honest. Heroic whites who own antebellum Southern plantations despise slavery and help their black dependents to become literate and start their own farms. Several tales set in the North in the same period feature dauntless white men who smuggle slaves to freedom. A good white employer hires black people in old Texas and ignores the negative reaction from his neighbors. Seminoles and Senecas in books I have read are–well, see above.

Such attitudes about race in history are also conservative, as they cleanse the past and suggest that a few righteous whites can make a huge difference in achieving justice. This way of reconstructing history mirrors, for instance, the claim about countless Ohio antebellum houses that they were stops on the Underground Railway. There was apparently no racial prejudice among the state's whites. And look how far we have come from the era of slavery! Since good white guys become billionaires or deserve their inheritance, while worthy black people rise in society, life is always ultimately fair.

As for the women, the plot lines and character development are more complex. While many heroines start as low-born or work as waitresses, and/or have career ambitions extending to opening a small shop, they are always feisty. They are depicted as feminists because they stand up to men verbally and make some claims regarding independence for their gender. Especially in rigid old England, the romantic women disdain their vacuous sisters, who seek only a marriage with a titled, wealthy man. When sex is made explicit, the best women are passionate, and they sometimes enjoy taking the lead. If they get on top, for example, they are described as exercising and enjoying their newly discovered power over the male–that is, their power to please him.

Yet in my reading, even the most outspoken female protagonists quiver almost into unconsciousness at the first kiss from the right man. Women clearly more intelligent and resourceful than the men they pair with wind up enjoying the protection and wealth afforded them by males. Spirited British heroines marry rich, titled aristocrats. The happy couple wants multiple babies, often a big houseful, and family trumps career. I have seen only highly negative references to abortion.

Much of this will sound familiar to those who have read great popular novels of the past (I am not convinced that the novel *Dr. Zhivago*, as opposed to movie and tv versions, has been all that popular). E. M. (Edith Maude) Hull's *The Sheik*, 1919, is extreme, as it centers on the rape and subsequent

gradual but ultimately willing domestication of a New Woman. Nonetheless, the tale became hugely successful. The book went through 19 printings in its first year and was made into the movie of the same name, starring Rudolph Valentino. Edgar Rice Burroughs' *Tarzan of the Apes* (1912) and the almost equally successful Western novel by Owen Wister, *The Virginian: A Horseman of the Plains* (1902), feature rugged, hyper-masculine men made whole by a woman's love. However, the males continue to be the dominant partner, by a long shot. Victoria Cross (Annie Sophie Cory) published the best-seller *Anna Lombard* in 1901, featuring triumph over death and insanity as the heroine finds a second true love. Politically and socially, all of these books are highly conservative.

Unlike other commentators, I do not trace such themes back to works by Jane Austen. Rather, I am convinced that the ur-novel of the genre, for today's writers, is Charlotte Brontë's *Jane Eyre* (1847). Austen's novels remain high on romance charts but do not provide enough dramatic pain to serve as models now for more than a few tepid would-be sequels and a romp by Ann Herendeen, *Pride / Prejudice*: *A Novel of Mr. Darcy, Elizabeth Bennet, and Their Forbidden Lovers*. Darcy and others now become bisexual; plain old Jane Austen was not spicy enough. On the other hand, Jane Eyre endures a largely bleak childhood, abusive teachers and relatives, penury which reduces her to begging on the street, and the horror of finding out about the crazy wife in the attic. Her financial situation is solved by an inheritance from the blue. She softens the bristly Rochester, who has built walls around his heart. To be sure, the fire in his home and his blindness before Jane returns to him have already reduced him to humility, but the story is ultimately about Jane's achievement of domestic bliss and true love. Whatever spunk Jane possessed is still there, but she is certain that, "I know what it is to live entirely for and with what I love best on earth. I hold myself supremely blest." This sentiment is repeated by more recent writers ad infinitum, and it is from the vein of travails and happy outcomes in Jane Eyre that the romance novel proceeds in our day. Perish the thought of changing anything substantial in the socio-economic order.

We cannot say that reading any sort of fiction determines one's political outlook. Yet a steady diet of romance novels, not offset by a more critical examination of the past or more attention to the causes and outcomes of major events, is hardly conducive to deep thought about why societies change. Still, the vast and growing popularity of romances should not be cause for alarm; no one can stand at the ocean's shore and make the tide retreat. Rather, the

academy would do well to consider the influence of these books on the public mind and to see in courses, scholarly work, and public discussions what steps might be taken to critique the values the stories transmit.

At times, romantic tales have been taken seriously outside of literature courses, although so far with inadequate attention to their role in influencing political views. Janice Radway's *Reading the Romance*, 1984, does hold up nicely in discussing what women readers admire in the books. Recently the *Journal of Popular Romance Studies* has appeared. Much more scholarly gaze will surely follow.

And then there is Donald Trump. He fits well into all of this, although, since he is The Donald, not without certain difficulties. He is the leading billionaire, or so he says, of our day. Beautiful women adore him, and thousands depend on him for work, at least when he is not declaring bankruptcy. He is tall and confident, with a lot of hair and a strong jaw. His image provides clues to why any woman still votes Republican; the idea of a trouble-free life and love calls to a place deep, if often concealed, in many female hearts. This is one of the messages, however updated for the supremely tangled world of relationships we now inhabit, in Peggy Orenstein's new book *Girls and Sex*.

Leaving aside Mr. Trump's small hands and the unlikelihood that he lacks six-pack abs, he presents himself as the ultimate free, tough man who takes no abuse. He loves his children and his current wife. He is the conservative hero of our day. His is the politics of escape. Take 30 years off his age, give him a gun and maybe a uniform, and he could be the lead of many a romance novel. If he reaches the White House, it's going to be beautiful, at least in some hearts and for some time.

Non-romance works and sites:

1. *Journal of Popular Romance Studies.*
2. Pasternak, Boris. *Doctor Zhivago*, first published in Italy in Russian, 1957.
3. Radway, Janice. *Reading the Romance*, 1984.
4. Romance Writers of America website: https://www.rwa.org

Romance novels read for this paper [1]:

1. Adams, Evelyn. *Feels Like Home*, 2014.
2. Adams, Noelle. *Chasing Jane*, 2015.
3. Adams, Noelle. *Hired Brid*e, 2015.
4. Anderson, Maggie. *The Seduction of Lady Charity*, 2016.
5. Andre, Bella. *From this Moment On*, 2012.
6. Ankrum, Barbara. *Renegade Bride*, 2013.
7. Ankrum, Barbara. *Renegade's Kiss*, 2013.
8. Anne, Melody. *The Billionaire Wins the Game*, 2011.
9. Archer, C. J. *The Charmer*, 2013.
10. Arend, Vivian. *Black Gold*, 2011.
11. Arend, Vivian. *Rocky Mountain Heat*, 2011.
12. Arkadie, Z. L., and T. R. Bertrand. *The Sexy Boss: Sedition*, 2015.
13. Arnold, Judith. *Father Found*, 2013.
14. Ashbless, Janine. *In Appreciation of their Cox*, 2010.
15. Ashworth, Adele. *Someone Irresistible*, 2010.
16. Austen, Jane. *Pride and Prejudice*, 1813.
17. Bacchi, Laura, and Bonnie Dee. *Butterfly Unpinned*, 2010.
18. Bell, Christine. *Down for the Count*, 2010.

[1] Many of the following books have been published only in e-format. While some of the larger publishing houses, for example Penguin, do publish romances as hard- or soft-cover books, many tales are available only in e-editions. Also note that some of the romances have been published previously and/or under different authors' names. Here I have given the editions that I read. More than a few of the authors listed here have published many other romance novels, and writers may have five or more series of stories in progress at a time. The growing popularity of romances is also indicated by the number–again, unscientifically selected by me-published in 2015-2016. The covers of the novels are really important to potential readers. While the titles may not say much, one can judge these books, to a fair extent, by their covers. Most covers feature photographs or illustrations of beautiful couples embracing or art work that shows a male removing a woman's dress. Typical covers and their meanings for the stories' content are: man with shirt off and perfect abs – detailed, graphic sex scenes. Woman with top of dress pulled down (always seen from the back) also – sex scenes. Woman with dress fully on, seen from front – kissing and no more. Christian novels: everyone on the cover is fully clothed, and the woman probably has her eyes closed; the books feature a few kisses. Vampires, shape shifters, time travel: the cover will include, for example, a wolf in one corner or a female vampire. Mist indicates that time is fluid; such novels usually include hot sex.

19. Bernard, Renee. *The Lady Falls*, 2014.
20. Bernard, Renee. *Seduction Wears Sapphires*, 2016.
21. Blair, Annette. *Sea Scoundrel*, 2012.
22. Blair, Annette. *Undeniable Rogue*, 2011.
23. Bonander, Jane. *Wild Heart*, 2013.
24. Boyett-Compo, Charlotte. *Phantom of the Wind*, 2006.
25. Brant, Lucinda. *Midnight Marriage*, 2011.
26. Brendan, Maggie. *Deeply Devoted*, 2011.
27. Brice, Dee. *Passion's Twins*, 2009.
28. Brockway, Connie. *As You Desire*
29. Brontë, Charlotte. *Jane Eyre*, 1847.
30. Brown, Lorelie. *Catch Me*, 2011.
31. Burke, Darcy. *Her Wicked Ways*, 2012.
32. Burke, Darcy. *Only in My Dreams*, 2015.
33. Burns, Monica, and Rosie Murphy. *Obsession*, 2013
34. Burroughs, Edgar Rice. *Tarzan of the Apes*, 1912.
35. Burrowes, Grace. *A Kiss for Luck*, 2014.
36. Busbee, Shirlee. *Love Be Mine*, 2013.
37. Bush, Holly. *Train Station Bride*, 2014.
38. Cabot, Amanda. *Summer of Promise*, 2012.
39. Caldwell, Christi. *Forever Betrothed, Never the Bride*, 2013..
40. Caldwell, Christi. *For Love of a Duke*, 2014.
41. Caldwell, Christi. *Seduced by a Lady's Heart*, 2015.
42. Caldwell, Christi. *Tempted by a Lady's Smile*, 2016.
43. Cameron, Collette. *Wagers Gone Awry*, 2015.
44. Campbell, Glynnis. *My Champion*, 2012.
45. Campisi, Mary. *The Seduction of Sophie Seacrest*, 2013.
46. Carie, Jamie. *Angel's Den*, 2010.
47. Carie, Jamie. *Love's First Light*, 2009.
48. Carlson, Carol. *Bad Company*, 2012.
49. Carlyle, Christy. *One Scandalous Kiss*, 2005.
50. Carpenter, Beth. *Last Flight from Flagstaff*, 2012.
51. Cates, Kimberly. *Gather the Stars*, 2014.
52. Cates, Kimberly. *Stealing Heaven*, 2015.
53. Chase, Emma. *Sustained*, 2015.
54. Cheever, Sam. *A Honeybun and Coffee*, 2013.
55. Clare, Tiffany. *Desire Me Now*, 2015.
56. Clemmons, Caroline. *Brazos Bride*, 2012.

57. Clemmons, Caroline. *The Most Unsuitable Wife*, 2011.
58. Clemmons, Caroline. *The Texan's Irish Bride*, 2012.
59. Conley, Anne. *Neighborly Complications*, 2016.
60. Conn, Claudy. *Disorderly Lady*, 2014.
61. Conn, Claudy. *Madcap Miss*, 2015.
62. Conn, Phoebe. *Savage Destiny*, 2013.
63. Connealy, Mary. *Swept Away*, 2013.
64. Connolly, Lynn. *Rogue in Red Velvet*, 2014.
65. Cook, Kristina. *Unlaced*, 2014..
66. Covington, Robin. *Secret Santa Baby*, 2012.
67. Cross, Victoria (Annie Sophie Cory), *Anna Lombard*, 1901.
68. Cullen, Sharon. *His Saving Grace*, 2014.
69. Dane, Laura. *Sway,* 2015.
70. Dare, Tessa. *How to Catch a Wild Viscount*, 2014.
71. Dare, Tessa. *The Scandalous, Dissolute, No-Good Mr. Wright*, 2012.
72. Daian, Jessica. *Hedonist's Paradise*, 2009.
73. DaRif, Andrea. *A Kiss of Spice*, 2004.
74. Delacroix, Claire. *The Beauty Bride*, 2014.
75. Delacroix, Claire. *The Countess*, 2014.
76. Delacroix, Claire. *The Rogue*, 2014.
77. Delinsky, Barbara. *The Right Wrong Number*, 2013.
78. deWolfe, Adrienne. *Texas Outlaw*, 2012.
79. DiPasqua, Lila. *A Midnight Dance*, 2015.
80. DiPasqua, Lila. *Little Red Writing*, 2016.
81. Douglas, Cheryl. *New Beginnings*, 2016.
82. Dover, L. P. *Roped In*, 2015.
83. Evanovich, Janet. *Back to the Bedroom*, 2009.
84. Evans, Bronwen. *To Dare the Duke of Dangerfield*, 2014.
85. Evans, Bronwen. *A Touch of Passion*, 2015.
86. Farmer, Merry. *Our Little Secrets*, 2012.
87. Fossen, Delores. *Maverick Sheriff*, 2014.
88. Frederick, M. L. *Sunrise over Texas*, 2010.
89. Gael, Chevon. *The Bartered Virgin*, 2013.
90. Gellis, Roberta. *A Silver Mirror*, 2014.
91. Goodger, Jane. *Behind a Lady's Smile*, 2015.
92. Goodman, Jo. *My Reckless Heart*, 2012.
93. Gordon, Rose. *Intentions of the Earl*, 2013.
94. Graison, Lily. *The Lawman*, 2011.

95. Greene, Jennifer. *Can't Say No*, 2011.
96. Gurhke, Laura Lee. *Catch a Falling Heiress*, 2015.
97. Hagan, Patricia. *Orchids in Moonlight*, 2011.
98. Hamre, Bonnie. *Unspoken Promises*, 2007.
99. Hart, Amber. *Until You Find Me*, 2014.
100. Hart, Liliana. *Cade*, 2013.
101. Hartman, Ginny. *Deceiving the Duke of Kerrington*, 2013.
102. Herendeen, Ann. *Pride / Prejudice: A Novel of Mr. Darcy, Elizabeth Bennet, and Their Forbidden Lovers*, 2010.
103. Hiestand, Heather. *Christmas Delights*, 2014.
104. Hill, Kate. *Rediscovering Thor*, 2005.
105. Holmes, Michele Paige. *Saving Grace*, 2014.
106. Holt, Samantha. *Rogues and Ripped Bodices,* 2015.
107. Hughes, J. C. *Destiny and Desire*, 2015.
108. Hull, E. M. (Edith Maude). *The Sheik*, 1919.
109. James, E. L. *Fifty Shades of Grey*, 2012.
110. Jarecki, Amy. *Captured by the Pirate Laird*, 2014.
111. Jarrod, Cait. *Divine*, 2015.
112. Jernigan, Brenda. *Southern Seduction*, 2014.
113. Jewel, Carolyn. *Scandal*, 2012.
114. Johnstone, Julie. *My Fair Duchess*, 2014.
115. Jordan, Lucia. *Crave*, 2015.
116. Jordan, Lucia. *Nasty*, 2015.
117. Kent, Lavinia. *Hint of Desire*, 2012.
118. Kiernan-Lewis, Susan. *Swept Away*, 2014.
119. Kindall, Beverly. *All's Fair in Love and Seduction*, 2014.
120. King, Susan. *Waking the Princess*, 2015.
121. Knightly, Sophia. *Wild for You*, 2013.
122. LaCroix, Marianne. *Sea Hawk's Mistress*, 2009.
123. Ladd, Ashley. *Purrfect Justice*, 2005.
124. Lake, Sandra. *The Warlord's Wife*, 2015.
125. Lawson, Anthea. *Fortune's Flower*, 2016.
126. Lee, Jackie. *Tempted Tigress*, 2012.
127. Lennox, Elizabeth. *His Unexpected Protégé,* 2016.
128. Lessman, Julie. *A Hope Undaunted*, 2010.
129. Lindsay, Drew. *Coral Sea Affair*, 2014.
130. Lindstrom, Wendy. *Kissing in the Dark*, 2013.
131. Little, Jane. *The Cowgirl's Love*, 2015.

132. Logan, Kimberly. *Sins of Midnight,* 2009.
133. MacKenzie, Sally. *In the Spinster's Bed*, 2015.
134. MacLean, Julianne. *The Color of Heaven*, 2014.
135. MacLean, Julianne. *Taken by the Highlander*, 2015.
136. Macnamara, Ashlyn. *A Most Scandalous Proposal*, 2013..
137. Madison, Katy. *The Wedding Duel*, 2010.
138. Maguire, Margo. *Mad About Ivy*, 2015.
139. Mallery, Susan. *The Rancher and the Runaway Bride*, 2014.
140. McCollum, Heather. *Crimson Heart*, 2014.
141. McDavid, Cathy. *The Gate to Eden*, 2013.
142. McKenna, Cara. *After Hours*, 2013.
143. McKnight, Jenna. *A Date on Cloud Nine*, 2009.
144. McLinn, Patricia. *Almost a Bride*, 2014.
145. McLinn, Patricia. *A Stranger in the Family,* 2011.
146. McMaster, Michelle. *Summer Passions*, 2012.
147. Meader, Kate. *Even the Score*, 2015.
148. Medeiros, Tersa. *Goodnight Tweetheart*, 2010.
149. Medeiros, Tersa. *Nobody's Darling*, 2011.
150. Michaels, Kasey. *What a Hero Dares*, 2014.
151. Michelle, P. T. *Mister Black: A Billionaire SEAL Story*, 2014.
152. Milan, Courtney. *The Duchess War*, 2012.
153. Milan, Courtney. *Unveiled*, 2014.
154. Miles, Rachael. *Jilting the Duke*, 2016.
155. Miller, Serena. *The Measure of Katie Calloway*, 2011..
156. Minger, Miriam. *Twin Passions*, 1988.
157. Minger, Miriam. *Wild Angel*, 1994.
158. Moon, Jeannie. *The Boyfriend List*, 2015.
159. Moon, Sylvia. *Billionaire's Secretary*, 2015.
160. Munn, Vella. *Seminole Song,* 1998.
161. Nordin, Ruth Ann. *The Earl's Inconvenient Wife*, 2012..
162. Nordin, Ruth Ann. *Suddenly a Bride*, 2011.
163. Novark, Anne Marie. *The Doctor Wears A Stetson*, 2012.
164. Pape, Cindy Spencer. *Photographs and Phantoms*, 2011.
165. Peart, A. O. *Almost Matched*, 2013.
166. Pennington, Carla. *The Available Wife*, 2011.
167. Peterson, Tracie. *Dawn's Prelude*, 2009.
168. Phillips, Carly. *Dare to Love*, 2013.
169. Pizzitola, Renita. *Just a Little Flirt*, 2015.

170. O'Keefe, Molly. *Never Been Kissed*, 2014.
171. Quinn, Ella. *Lady Beresford's Lover*, 2015.
172. Ramsey, Sara. *Duke of Thorns,* 2014.
173. Redington, J. L. *The Lies that Save Us*, 2013.
174. Reinke, Sara. *Highwayman Lover*, 2006.
175. Rhodes, Liliana, and Clarise Tan. *His Every Whim*, 2005.
176. Rice, Patricia. *Texas Lily*, 1994.
177. Ridley, Erica. *The Earl's Wallflower Bride*, 2016.
178. Ridley, Erica. *The Viscount's Christmas Temptation*, 2014.
179. Rothert, Brenda. *Now and Then*, 2014.
180. Royal, Lauren. *Amethyst*, 2014.
181. Royal, Lauren. *Lost in Temptation*, 2012.
182. Ryan, Lexie. *Stolen Wishes*, 2014.
183. Saint, Ines. *Flipped*, 2015.
184. Sala, Shron. *Count Your Blessings*, 2015.
185. Sax, Elise. *The Love Game*, 2014.
186. Schwab, Sandra. *Betrayal,* 2013.
187. Schwab, Sandra. *Eagles's Honor: Banished*, 2015.
188. Seton, Cora. *The Cowboy's E-Mail Order Bride*, 2014.
189. Shayne, Maggie. *The Brands Who Came for Christmas*, 2014 (Benson, Margaret, 2000).
190. Smith, S. E. *A Warrior's Heart*, 2015.
191. Southwick, Theresa. *Blackstone's Bride,* 2012.
192. Stansfield, Anita. *The Captain of Her Heart*, 2012.
193. Stone, Juliana. *Offside*, 2012.
194. Stone, Sara Jane. *Running Wild*, 2016.
195. Sundin, Sara. *With Every Letter*, 2012.
196. Swafford, Carla. *Hidden Heat,* 2016.
197. Tagg, Melissa. *Three Little Words*, 2015.
198. Tarr, Hope. *A Cinderella Christmas Carol*, 2012.
199. Thacker, Shelly. *His Stolen Bride*, 2015.
200. Thorn, Elizabeth. *Barebacking the MILF*, 2016.
201. Timms, Lexy. *Little Love Affair*, 2015..
202. Timms, Lexy. *Perfect for Me*, 2015.
203. Timms, Sierra Rose, and Ali Parker. *Billionaire Rock*, 2016.
204. Todd, E. I. *Beautiful Entourage*, 2015.
205. Turner, Genevieve. T*he Farmer Takes a Wife*, 2015.
206. Turner, Genevieve. *The Sheriff Takes a Bride*, 2015.
207. Verge, Lisa Ann. *Heaven in his Arms*, 2014.

208. Walker, Shiloh. *Headed for Trouble*, 2015.
209. Willingham, Michelle. *Innocent in the Harem*, 2010.
210. Willingham, Michelle. *Pleasured by the Viking*, 2014.
211. Willingham, Michelle. *The Viking's Forbidden Love-Slave*, 2014.
212. Wilkins, Gina. *A Match for Celia*, 2010.
213. Wister, Owen, *The Virginian: A Horseman of the Plains*, 1902.
214. Wood, Adrienne. *Badlands Bride*, 2012.
215. Woods, T. E. *The Unforgivable Fix*, 2014.
216. Wright, Cynthia. *Silver Storm*, 2013.
217. Wright, Cynthia. *You and No Other*, 2011.
218. Wyatt, Katie. *Summer's Fury*, 2015.
219. York, Rebecca. *The Man from Texas*, 2010.
220. York, Zoe. *Love in a Small Town*, 2014.
221. York, Zoe. *Small Towns, Big Dreams*, 2016.

Турстон Роберт. Где они берут свою историю (и политику)? Романтизация прошлого, настоящего, а также Трампа

Любовные романы стали чрезвычайно популярны в США. Они закладывают, утверждают и отражают взгляды многих людей на историю, а также хорошее, справедливое общество. В общем, любовные романы в высшей степени консервативны; за исключением нескольких фраз об энергичных и способных женщинах, романы скорее повествуют о поиске любви и женитьбе на достойном мужчине. Этот мужчина как правило является главой хозяйства. Деньги, здоровье и карьера никогда не являются проблемами в романах. Главные герои должны быть красивы и сексуальны. Дональд Трамп вряд ли отвечает вкусам всех, однако он довольно хорошо отвечает критериям романтического героя, за исключением только своего возраста.

Ключевые слова: любовные романы, историческое сознание, Дональд Трамп.

Турстон Роберт. Де вони беруть свою історію (і політику)? Романтизація минулого, теперішнього, а також Трампа

Любовні романи набули великої популярності в США. Вони закладають, утверджують та відображають погляди багатьох людей на історію, а також справедливе суспільство. В цілому, любовні романи дуже консервативні; за виключенням декількох фраз про енергійних та здібних жінок, романи скоріше оповідають про пошуки кохання та заміжжя за гідним чоловіком. Цей чоловік, зазвичай, є головою домогосподарства. Гроші, стан здоров'я та кар'єра ніколи не виступають проблемами у романах. Головні герої мають бути красивими та сексуальними. Дональд Трамп навряд чи відповідає смакам усіх, проте він доволі добре відповідає критеріям романтичного героя, за виключенням тільки свого віку.

Ключові слова: любовні романи, історична свідомість, Дональд Трамп.

УДК 94(71+(47+57)+(436+439))-054.7“18/19”

Е. Е. Ходченко

КАНАДСКИЙ ФРОНТИР ГЛАЗАМИ ИММИГРАНТОВ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.)

Статья посвящена психоэмоциональному восприятию иммигрантами из украинских земель процесса переселения, обустройства на фронтирных территориях канадского Среднего Запада, переосмыслению понятий «свой» - «чужой».

Ключевые слова: фронтир, Канада, иммигрант, историческая память.

В исторической науке все чаще обращают внимание на проблемы человека в истории, его внутренний мир и личное восприятие событий. Когнитивный подход к истории позволяет рассмотреть прошлое с нового ракурса, с ракурса субъекта событий. Источники личного характера (дневники, мемуары, письма), а также колонистский фольклор были своеобразной реакцией на события в жизни переселенцев. В них отражены чувства, настроения, переживания, мысли современников того времени, анализ которых дает возможность представить «картину» событий в деталях, прочувствовать атмосферу происходившего.

Изучению судеб украинцев, меннонитов в Канаде были посвящены работы как отечественных, так и зарубежных исследователей (В. Макар, С. Атаманенко, А. Андерсон, Р. Лёвен и др.), однако, к сожалению, в большинстве исследований не уделено должного внимания восприятию действительности самими новоселами и формированию специфической ментальности, приведшей к образованию обособленных «культурных поселений» и агломераций, способствующих психологической адаптации переселенцев к условиям фронтира.

Понятие «фронтир» предложил американский исследователь Ф. Дж. Тернер, который выделял особую границу, отделяющую зону оседлости и «дикие» регионы государства, требующие колонизации и хозяйственного освоения. Фронтир имеет ряд характерных особенностей: во-первых, это пространство взаимодействия разных культур; во-вторых, отдалённость от зоны оседлости способствует уменьшению государственного регулирования и формированию самоуправления; в-третьих, фронтирные регионы открыты для любых нововведений,

© Ходченко Е. Е., 2016

быстрого прогресса и ландшафтных преобразований. Территории канадского Среднего Запада конца XIX – начала XX вв., ставшие новым домом для сотен тысяч иммигрантов из украинских земель, являются классическим примером фронтирной зоны, заселение которой повлияло на формирование этнической и культурной мозаичности канадского общества. Необходимо отметить, что мозаичное общество всегда разделено на определенные культурные среды, каждая из которых воспроизводит «свою» культуру, используя особенные, только ему присущие маркеры и «историческую память». Именно они позволяют создавать в мироощущении этногруппы виртуальные границы прежней родины и сохранять «этнический код» в чужом обществе.

Период конца XIX в. ознаменовался трансформационными процессами, проходившими как в Российской, так и Австро-Венгерской империях в состав которых входили украинские земли. Реформы в политической, социальной и культурной сферах, а также экономический кризис создали условия «выталкивающие» этнические меньшинства из обжитых мест.

Большинство земледельцев обеих империй обладали, как правило, небольшим клочком земли[1] , часто арендованным, который не мог прокормить увеличивающиеся семьи при бесперспективности получения дополнительного заработка. О сложной ситуации в селах сохранились воспоминания очевидцев. Например, Тимофей Мацькив писал: «…нікчемні заробітки на панських ланах за 25-30 крейцерів на день і ще на власних харчах, або за дванадцятий сніп» [4, с.10]; Василь Пласконис указывал, что «корчма перетворилася для села в прокляття, стала кровожерливим павуком. Селяни найбільше терпіли від торговців і шинкарів…, які вміли при кожній нагоді втягнути господаря в борг, а потім тягнути відсотки… поки не доводили боржника до повної руїни» [5, с. 51]. Иногда и сама природа выступала против людей. Так, по воспоминаниям иммигрантов чуть ли не «библейская засуха» поразила западные украинские земли в 1889 г.: «…на полях трескается земля, ветер носит целые тучи пыли, зерно засыхает в колосьях, трава… горит под палящим солнцем» [Цит. по кн.: 6, с. 167]. Скот кормить было нечем, чтобы прокормить семью, крестьяне вынуждены были за бесценок продавать все имущество, в том числе лошадей и коров, и оставаться без средств к существованию. В результате, как заметил М. Поллак, «Той зимой многие умирали от голода и болезней» [6, с. 172].

[1] На западных украинских землях владелец 15 моргов (20 акров) считался зажиточным [2, с. 72].

В таких условиях новости о том, что за океаном почти даром правительство Канады раздает по 160 акров[1] земли на семью, правда в «целинных» прериях, где обитали воинственные индейцы, стали вестями надежды.

В результате ситуация привела к масштабному переселению украинцев, немцев, евреев, а также меннонитов в канадские прерии. Еще одной весомой причиной переселения было нежелание служить в армиях, как российской, так и австрийской. Кроме земледельцев выезжали также мастеровые – ткачи, токари, портные и др. Проезд через океан стоил 80 долларов с человека.

Из украинского фольклора:

«Був ковальчик поля і біла корова,
Всьо то нам поїла та твоя дорога» [1, с. 42].

Выезд односельчан был трагическим событием в селе. Тот же Василь Пласконис свидетельствует: «С эмигрантом прощались, как будто он шел на войну, как с покойником» [5, с. 19]. И действительно, уже в пути через океан многие погибали. Из дневника Альберта Зейца: «В 1903 г. семья села на корабль в Канаду. Условия были очень плохими, многие заболели и умерли, в том числе трое детей Иакова и Кристины Зейц. Мария была единственная выжившая. Будучи довольно близко к Канаде, мертвых не похоронили в море, их похоронили по прибытию в Галифакс» [9, с. 519].

Как же Америка встречала переселенцев? Здесь господствовал лозунг «Help your self». Улас Самчук так описывает впечатления переселенцев из украинских земель в первые дни в Америке: «Відмінну ворожість знаходив тут наш піонер… Його ворогом були корабель, причал, митниця, урядовці, агенти, вулиця, залізниця. Це були його дикі звірі, його індияни …, він стояв тут німий, самотній… Стільки людей, а він у безлюдці, стільки будівель, а він без даху, стільки їжі, а він голодний, стільки галасу, а він німий, як риба» [7, с. 32]. Дальнейший путь к «своей земле» лежал через полконтинента и переселенческие дома, бывшие рассадниками паразитов [2, с. 107].

Психологическое состояние и душевный настрой после двух лет пребывания в Канаде ярко выразил в своих стихах, написанных в 1898 г., Савва Чернецкий:

«Приїхав я до Канади, щоб краще прожить,
Тут мя воші заїдають, короста свербить,

[1] Один акр=0,4 га.

Всюду сумно, непривітно, комарі, біда,
Дикі гори, нагі степи, мочарі, вода.
Зимній вітер Сіберійський, мороз серед жнив
Тебе Господь, Канадонько, похапцем створив
Пусто-глухо куди гляну, аж душа дрожить
З жалю серце завмирає, кров ледве кружить.
Врешті туга бесконешна душу перейма
Соловейко, весни плаче, а тут лиш зима [2, с. 102].

Более суровый климат, чем на Родине (снег порой в конце мая, в начале лета, заморозки в августе-сентябре) поначалу пугал пионеров. Фронтирные территории представляли собой бескрайнюю необжитую лесостепь, местами заболоченную весной, где до осени царствовали комары, не давая покоя ни людям, ни скоту. Глубокий снег или непогода, порой на месяцы пленяли поселенцев в их жилищах. По воспоминаниям Иоганна Майера (иммигрант 1899 г.): «В первую зиму случилась страшная метель. Видимости не было на расстоянии трех футов. Отец привязал веревку от двери дома до коровника и ходил кормить скот и за дровами держась за нее. Мы боялись, что крыша не выдержит тяжести снега…, выйдем мы живыми или будем раздавленными» [9, с. 259]. По воспоминаниям Франца Бехлера, немца с Волыни, в районе Саскатуна первого июня 1903 г. выпал снег глубиной 7–8 см [8]. Особое беспокойство первопоселенцам доставляли вездесущие комары. Вот, как описывает эту проблему Петро Зварич (иммигрант 1900 г.): «Коли від половині квітня настала гарна погода і почало тепліти, то москіти налітали хмарами з багнищ і оточували хати та пхалися до середини сотнями, сідали на особу чи скотину і пили кров немилосердно. Давні поселенці вже частково були до них призвичаєні і їм не так свербіло та боліло, бо їх кров вже була затруєна і вони не пухли так, як свіжі іммігранти. Сі нещасні мало що не божеволіли з того болю і їм було прикро знести ті тортури. Як в день, так і в ночі москіти шукали здобич і треба було безнастанно курити окур і то такий, щоб чорний дим злягав подвір'я. Коли їхали в дорогу, то на кінці дишла прив'язували ведро, а в нім, сухий гній курився і розганяв москітів від коней. Коли треба було робити на полі, або на сіножаті, то конче треба було одівати рукавиці, ходити в черевиках, а жінки в штанах, а на голові мати капелюх з широкими крисами, з котрих довкола звисала сітка, стягнута щільно довкола шиї. Було кілька родів тих комарів, майже кожного місяця інший ґатунок: то жовті, то сиві, то малі, то великі, а в додатку ще якісь їдовиті мушки під осінь з'яв-

лялися і сі так само і людину і тварину сильно кусали. Окрім комарів і мушок також і блошиці в'їдалися нашим людям в перших початках. Треба було надзвичайних зусиль щоб їх вивести» [2, с. 116–117]. Описание той же проблемы дает немецкий иммигрант Альберт Кочаник: «Облака москитов покрывали лошадей, как покрывало: они – всюду, их можно собирать горстями… В таких условиях лошади, которые выросли в прериях, умирали от болотной лихорадки» [14, с. 30, 31]. Поиск подходящего участка для заселения был также нелегким испытанием. Порой переселенец, прожив некоторое время на выбранной земле, приходил к заключению, что она мало пригодна для сельского хозяйства по своему качеству или месторасположению. Приходилось искать другой участок. Дело в том, что в канадских прериях не везде можно было найти источники питьевой воды. И. Штанг (переселенец из Причерноморья) в своих воспоминаниях писал: «Если поселенец был удачлив, то находил воду, выкопав колодец на глубине 10–13 метров. Если нет, то должен был пробовать в другом месте. Некоторые не находили нигде и должны были возить ее в течение многих лет» [13, с. 6]. Немецкие фермеры, поселившиеся вблизи Иозефбурга имели в округе всего один колодец с питьевой водой. Из дневника Ивана Дандуряка, сопровождавшего профессора Львовской учительской семинарии О. Олеськива в его путешествии по Канаде в 1895 г. узнаем: немец Г. Гейнеман за четыре года поиска выкопал восемнадцать шурфов, но воды так и не нашел [3, с. 128]. Но главной проблемой переселенцев (украинцев, немцев, меннонитов, моравских братьев) была бедность. Вот как описывал первые поселения пастор Генрих Шмидер в 1889 г.: «…остановившись на краю рощи, мы увидели несколько крыш. Остальные части зданий были в земле. Нужно было наклониться и спуститься по нескольким ступеням, чтобы очутиться в комнате… Я нашел, что она влажная и нездоровая для жизни … Единственное достоинство такого жилья – дешевизна, примерно 3 доллара, столько, сколько стоят два маленьких окна и гвозди. И это очень важно отметить, так как этим людям нужно отдавать долги еще пару лет. Кровати, столы, стулья – все самодельное» [15, с. 125].

Большинство прибывших из украинских земель были малообеспеченными, а для выращивания первого урожая необходимо было вспахать целину, засеять ее, собрать и сохранить урожай. Из 150 человек приехавших с П. Зварычем, только две семьи имели достаточно средств для ведения хозяйства. Ведь пара коней стоила 350–400 долларов, воз – 80, плуг и бороны – 30, печь – 50 [2, с. 106–108]. Такое же бедственное положение было и среди моравских братьев, и среди немцев [3, с. 127,131,132; 16]. Поэтому большинство мужчин оставляли семьи на гомстеде и устремлялись в города или на строительство железной дороги, где можно было найти работу. П. Зварыч вспоминает: «працюючи на будівлі залізниці заробляли за 10 годин 75 центів…, коли за літо заробляли 80 доларів були вдоволені» [2, с. 172]. За такую сумму можно было купить чугунную печь для обогрева зимой хижины-полуземлянки и корову-кормилицу всей семьи или продовольствие на зиму. Из воспоминаний иммигрантов: «Жили в хатині-ямі, що була збудована з дернюк. Навкруги болота, ліс і мочари й тьма-тьменна комарів. Вівків треба було відстрашувати стріляючи від хати»; «в 1899 році ми приїхали до Сифтону…, нас було двоє – Маруся маленька… в мами на руках, а я вже бігала. Тоді тато викопав в землі маленьку таку комірку і пішов. Він казав: «…то вже не зима – день буде теплішим, а я піду десь якогось фермера здиблю»… Так пішов на ціле літо робити і лишив нас у тій маленькій буді… Мама мала роскаль, мали в скрині насіння, бараболю, горох, цибулю – всьо привезли з Старого Краю. І вона взяла роскаль і пішла цілину копати. Деякі корчаки вимикали, викорчовували і роскалем робила поле, аби засадити бараболю, засадити цибулю [1, с. 47–48]. Дети часто помогали по хозяйству. «Марія держала за чепіги, Єлена ішла обіч нею з сокирою в руках. Єлизавета вела волів. Підійдуть у такій процесії пару кроків і стануть – щось задержувало плуг у землі. Марія сіпає плугом то туди то сюди, Єлена помагає їй…, бере сокиру цюкає щось так і вони знов поступають» [1, с. 157]; «Мати рано передавала обов'язки і опіку за меншими дітьми на старших. У дівчини в п'ятнадцять років були такі завдання на день: нагодувати п'ять душ, помити начиння, попрати, телят від корови відлучити, до квочки подивитись, поросятам пійло зробити, дерть на вечір свиням запарити, сіно коням насунути, начерпати в жолоб води, обід наготовити, вечором хліб розчинити…, коли мама прийде з поля тісто буде готове тільки в піч саджати» [1, с. 187]. Совместными усилиями женщин и детей можно было освоить только небольшое поле, используемое обычно под огород. Пользовались также лесными дарами, собранными про запас (грибы, ягоды). Ловили лесных кроликов. Часто в продолжительную зиму еды не хватало. Голодали. Из воспоминаний Иоганна Майера: «Папа уехал на заработки далеко…в Медисон Хэт. Когда он вернулся на Рождество, то привез несколько мешков картошки…, у нас ее не было в течение восьми месяцев» [9, с. 293–297]. У кого были деньги совер-

шали поездки за продовольствием в ближайший населенный пункт к железной дороге. Такой путь был далеким и сопряжен с опасностью заблудиться, особенно, когда путников заставала непогода (снег, туман) в незнакомой местности, где не было ориентиров. Из дневника Йозефа Шехтеля, который в 1908 г. вместе с двумя спутниками предпринял такую поездку на расстояние в сто миль: «…Земля была покрыта снегом и никакого признака дороги… Временами туман был настолько густым, что видимость составляла 200 или 300 футов. Пользовались компасом. Мы молились, чтобы Св. Иосиф указал нам путь к дому. Наконец, через тринадцать дней странствий мы вернулись. Это было большим облегчением для наших близких. Они уже думали, что мы заблудились и умерли от голода» [12, с. 625–630]. Статистики смертности среди первопоселенцев нет, но в дневниках часто упоминаются такие случаи. Известно, что из-за недоедания и отсутствия печей для обогрева в общине моравских братьев прибывших с Волыни в 1894 г. умерло 12 детей [11, с. 8]. Горе от потери близких отразилось в украинском фольклоре:

«Вже рочок минає як ти нас покинув,
заробити хліба в чужий край полинув…
Ваш Іван у гробі, забила го глина.
Забила го глина в Калінто Манітобі» [1, с. 42–43].

В некоторых случаях правительство Канады (когда оно было осведомлено о голоде) оказывало помощь продовольствием. Существовала и взаимовыручка бывших соотечественников. Так, меннониты спасли сотни жизней моравских братьев [16, с. 144]. Дружественные отношения были и с аборигенами. Из воспоминаний И. Майера: «…индейские женщины были большим подспорьем для моей матери…Они научили ее как разместить в палатке камни у костра, чтобы они лучше сохраняли тепло, как держать долго огонь при нехватке дров, а от этого зависела и жизнь, и здоровье…, как с помощью муки лечить любую опрелость…, как пеленать на индейский манер, чтобы у детей были прямые и сильные спины…, как сохранять ягоды на зиму и многое другое» [9, с. 295]. Братство и гостеприимство были присущи всем этническим группам, прибывшим из украинских земель на фронтирные территории в ходе первой волны массовой эмиграции. Все свободное время стремились проводить вместе. Из воспоминаний Готфрида Хильдермана: «…собирались в конце рабочего дня, а по воскресеньям приезжали из отдаленных ферм. Во дворе школы устраивали пикники, танцы, рождественские концерты, играли в карты. Здесь старые и молодые проводили

время до поздней ночи» [10, с. 343]. Путников, даже незнакомых, часто пускали на ночлег, кормили не требуя платы [3, с. 126, 130,139]. Соседи помогали друг другу в строительстве домов, вспашке, сенокосе. И это было особенностью их менталитета, в отличие от канадско-британских порядков.

Суровые условия жизни канадского Среднего Запада компенсировались плодородной землей, позволяющей в благополучные годы получать отличные урожаи. Например, длина колоса пшеницы, по свидетельству И. Дандуряка, составляла 17 см, а количество колосьев выросших из одного зерна – 34–38 штук [3, с. 121,130]. В своем дневнике он приводит пример немца Лембергера (прибывшего из-под Самбора), который «посіяв 160 бушелів пшениці, вродило 3500, сіяв 3 бушелі вівса – вродило 100. На акр висаджується 10 бушелів картоплі, а принести має понад 200» [3, с. 128]. В таких условиях, даже прибывшие почти без средств, через 5–6 лет становились самодостаточными фермерами [2, с. 132]. К сожалению, рост благосостояния и общение с англо-канадцами повлияли на ментальные черты второго и третьего поколения переселенцев. Хлебосольность и радушие сменялись меркантильностью, желанием за все получить оплату. Из воспоминаний П. Зварыча: «В Едмонтоні немало українців замали заїздні дома де приймали і іммігрантів і робітників, брали по 10 центів з особи на добу» [2, с. 132]. Стали меняться также соседские и родственные отношения. Это нашло свое отражение в канадско-украинском фольклоре.

«Перші такі роки були:
Жита ся родили,
Ой брат брата мав за брата,
Сестри ся любили.
А тепер вже такі роки:
жита ся не родять
Ой брат брата забуває,
Сестри ся не сходять.
Вже брат брата забуває,
Сестри ся не люблять,
А як вийду на вулицю
Єдна другу судять» [1, с. 60].

В заключение следует отметить, что тяготы первых лет жизни способствовали объединению иммигрантов в этнические поселения, в которых формировалась особая культурная атмосфера. Этническому

единению в новой стране способствовали три фактора: использование родного языка, земляческая солидарность, этнические учреждения, в которых важнейшую роль играла церковь. Необходимо заметить, что, несмотря на определенную обособленность этнических групп, большое расстояние между ними, было немало примеров взаимопомощи и взаимовыручки среди бывших соотечественников разных национальностей, что говорит об их психоэмоциональной связи.

1. *Герус-Тарнавська І.* Образ жінки в Українському Канадському фольклорі / І. Герус-Тарновська // Український історик: журнал історії та українознавства. – Ч. 1–2 (108–109). – Нью-Йорк, 1991. – Т. 28.
2. *Зварич П.* Спомини 1877–1904 / П. Зварич. – Вінніпег, Канада, 1976.
3. *Костюк М. П.* Немецкие колонии конца XIX в. в Канаде глазами галицкого крестьянина / М. П. Костюк // История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX-XX вв. : материалы Межд. научной конференции, посвящ. 200-летию переселения немцев в Крым (6–10 июня 2004 г.). – Симферополь, 2007. – С. 117–142.
4. *Мацьків Т.* З над Дністра на канадські прерії. Мій життєвий шлях / Т. Мацьків. – Едмонтон, 1963. – 208 с.
5. *Пласконіс В.* З рідного села в широкий світ. Спогади / В. Пласконіс. – Сент-Катерінс, Канада, 1975. – 256 с.
6. *Поллак М.* Цісар Америки. Велика втеча з Галичини / М. Поллак. – Львов, 2015.
7. *Самчук У.* Следами піонерів. Епос української Америки / У. Самчук. – Нью-Йорк, 1995.– 269 с.
8. *A Memoir* by Franz F. Boechler, Jr. Allan, Saskatchewan / ed. by H. Schuler [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://library.ndsu.edu/grhc/dakotamemories/2006/boechler_w/images/mymemories.pdf
9. *Cypress* hills country. – Elkwater, Alberta: Cypress Hills (Alberta) Historical Society, 1991.
10. *Last* Mountain echoes: a family and school history of Govan & district. – Govan: Govan & District Local History Association, 1980.
11. *Local* and general news // Moose Jaw Herald Times. – 1894. – 5 October. –P. 8
12. *Prairie legacy:* [Grosswerder and surrounding districts]. – Grosswerder and Districts New Horizons Heritage Group: Unknown, 1980. – P. 625-630.
13. *Stang W. J.* Lest We Forget: The Memoires of a Prairie Pioneer / W. Stang – Macklin, Saskatchewan, 1978.

14. *Taming* a wilderness: a history of Ashern and district: Ashern historical Society, Ashern, Manitoba, 1976.
15. *The first* hundred years : around Churchbridge, 1880–1980 / R. Swanson. – Churchbridge History Committee. – Altona, 1980.
16. *Vitt Kurt H.* The founding of the Moravian church in Western Canada and The Andreas Lilge story. – Published by Canadian Moravian Historical Society, 1983. – P. 144.

Ходченко О. О. Канадський фронтир очами іміґрантів (кінець XIX – початок XX ст.)

Стаття присвячена психоемоційному сприйняттю іммігрантами з українських земель процесу переселення, облаштування на фронтирних територіях канадського Середнього Заходу, переосмислення понять «свій» та «чужий».

Ключові слова: фронтир, Канада, іммігрант, історична пам'ять.

Khodchenko H. The Canadian Frontier through the Eyes of Immigrants, Late 19th to Early 20th Century

The article is devoted to the immigrants' psycho-emotional perception of the resettlement process from Ukrainian lands to frontier areas of Canadian Midwest, rethinking the concepts of «ours» and «alien».

Keywords: frontier, Canada, immigrant, historical memory.

УДК 930.2(477):159.942

Д. В. Шаталов

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ, ІМПЕРСЬКА ІСТОРІЯ: КОЗАЦЬКІ ПАМ'ЯТКИ У СПРИЙНЯТТІ РОСІЙСЬКИХ МАНДРІВНИКІВ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

У статті на матеріалах травелогів російських авторів кінця XVIII – першої половини XIX ст. аналізується сприйняття мандрівниками минулого Лівобережної України. Робиться висновок, що з усіх пам'яток козацької доби особливу увагу вони приділяли об'єктам, пов'язаним з іменами Мазепи та Розумовського. Це пояснюється зацікавленістю історією «своїх» діячів загальноімперського рівня, «чужа» історія українського козацтва не привертала їхньої уваги.

Ключові слова: українське козацтво, Мазепа, Розумовський, травелогі

Дослідження процесу формування образу минулого українських земель у свідомості російських мандрівників доби романтизму здійснив О. Толочко. Історик звернув увагу на особливості сприйняття подорожуючими історичного часу Малоросії, коли період від татарської навали до інкорпорації їх до складу Російської держави вважався позаісторичним, «пустим» періодом. Разом із тим, саме цей період власне і сприймався як історія Малоросії [13, с. 61–97]. Таку думку сформулював Ф. Євецкий у рецензії на трете видання «Истории Малороссии» Д. Н. Бантиша-Каменского: «Что представляется нашему историческому понятию при имени Малороссия вообще? Славное время козачества и гетманщины, время козацких войн… Но нашему понятию при слове: история Малороссии не представляется ни то, что было до гетманщины, ни то, что было после нея» [7, с. 210].

Якщо до зустрічі з давньоруською минувшиною мандрівники були відносно підготовлені, маючи певний багаж історичних знань з історії Київської Русі, яку вони вважали «своєю», то можна впевнено стверджувати, що малоросійською історією ніхто з них спеціально не цікавився. Вона була не російською, а отже чужою. Відтак , на сторінках зазначених травелогів маємо лише загальні згадки про історію козацької доби.

Спробуємо визначити, що з козацької історії «помітили» та чим цікавились укладачі подорожніх записок, які відвідали Малоросію та Слобожанщину наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

© Шаталов Д. В., 2016

Академік В. Ф. Зуєв здійснив мандрівку українськими землями у 1781–1782 рр. Вирушивши з Москви, В. Ф. Зуєв 21 серпня рік? дістався кордонів Харківського намісництва. Згодом експедиція прибула до слободи Ліпець, більшу частину мешканців якої вчений вважав вихідцями з Польщі з часів, коли там відбувалося пригнічення православних, «по многим особым от царей им данных привелегиям называются они войсковыми обывателями и от Малороссиян ничем неотличны» [8, с. 183–184]. Як бачимо, козацька складова історії цього сотенного містечка Харківського полку В. Ф. Зуєвим зовсім не відзначена. З Харкова шлях експедиції лежав на Полтаву. Історії цього міста вчений присвятив відносно багато уваги. Він декілька разів згадав битву Петра з Карлом XII та пов'язані з цією подією пам'ятки. Сама Полтава сприймалася В. Ф. Зуєвим як «малороссийский городок, заселенный еще прежде Харькова вышедшими из Польши козаками, по чему хотя и был главным местом Полтавскаго полку, но до 1709 году ничем не славный» [8, с. 203]. Власне кажучи, цим і обмежив автор свої згадки про історію лівобережних козаків.

Інший російський мандрівник В. В. Ізмайлов у своєму творі «Путешествие в полуденную Россию» побачив відбитки минулого не тільки в пам'ятках, але й у свідомості самих мешканцях краю. Щодо малоросіян він зауважив: «Они помнят, что собственная рука их защищала отечество против безчисленных врагов и память Хмельницких жива еще в душах их» [9, с. 86]. Б. Хмельницького, у компанії з іншми малоросійськими гетьманами, В. В. Ізмайлов згадав під час відвідування Успенського собору в Києві, побачивши їх портрети намальованими біля входу на стінах храму. При цьому дещо патетично мандрівник пропонував: «будем особливо искать между ими Наливайко [курсив В. В. Ізмайлова]… Тщетно будем искать его; – нет сего великаго мужа! но История не может забыть имя его» [9, с. 109].

Визначення В. В. Ізмайловим гетьманів як «великих мужей нашего отечества», а не тільки Малоросії, є загалом не характерним для пануючого тоді розуміння окремішності історичного минулого краю від загальноросійської історії. Примітною також є обізнаність автора щодо гетьманів. Зокрема, його «пошуки Наливайка», вочевидь, свідчать про наявність певних знань з історії Малоросії, з якими він вирушив у мандрівку.

П. І. Сумароков у 1802 р. прямував до Криму через Харківщину та Полтавщину. Відвідуючи «край называемый Малороссиею», П. І. Сума-

роков вважав за потрібне надати читачеві «историческое примечание» щодо цієї місцевості. Як історичні віхи були відзначені мандрівником битва на р. Калці у 1223 р., захоплення Києва Батиєм у 1240 р., похід у 1320 р. Гедеміна на Київ і перехід краю «в подданство Казимира Короля Польского» у 1340 р. [12, с. 47].

Остання подія сприймалася як певна межа історичного розвитку краю. П. І. Сумароков зазначав, що «сей край, лишившийся своих жителей разными случаями оставался в запустении около 400 лет; то есть до времен Царя Алексея Михайловича», коли знову почалося його заселення «прежними России подданными» – малороссиянами, які у 1630 р. «толпами выходили из Волынии, Подолии». У подальшому «таковыя колонии составили свои городки или местечки и пять козачьйх их полков Харьковской, Сумской, Ахтырской, Острогожской и Изюмской, служили потом всегда на своих конях, на своем иждивении и управлялись своими полковниками, судьями и есаулами» [12, с. 48].

Отже, в презентації П. І. Сумарокова, Малоросія мала власну історію лише у складі Російської держави. При цьому автор не відокремлював історію Малоросії від історії Слобідського краю.

Інший автор подорожніх записок, О. фон Гун, супроводжуючи восени 1805 р. свого патрона О. К. Розумовського, що бажав відвідати свої лівобережні маєтки, постійно згадував про їх попереднього власника, іменуючи його «фельдмаршалом графом Розумовским» (див. такі згадки про Почеп; Батурин, власність Андрія Розумовського, Яготин [3, с. 36, 42; 4 с. 22–31, 49]). При цьому факт гетьманства К. Розумовського, з точки зору цього німецького мандрівника, був зовсім не вартим уваги.

Змальовуючи своє перебування в Києві, О. фон Гун подав, окрім іншого, виклав історію «духовнои академии, училищем братським именуемой», що не обійшлося без згадки про козаків. Заснована в 1588 р. патріархом Ієремією, «академия сия разрушилась» через «возмущение в Малороссии». Але «в 1620 году гетман Малороссийской Петр Сагайдачный возобновил опять и монастырь и училище». Щоправда, незабаром «война с Польшею и страшныя беспокойства разорили опять сие жилище муз» [4, с. 121–122]. На цьому вичерпувалися історичні сюжети, які стосувалися козацької минувшини.

У 1808 р. за службовим завданням здійснив подорож на Балкани Д. Н. Бантиш-Камєнскій, який доволі детально описав враження від країн та місцевостей, через які проходив його шлях. Але минувшина українських земель на той час не викликала жодного зацікавлення у майбутнього історика Малоросії. Мандрівник вважав за потрібне навести лише інформацію про заснування Харкова [2, с. 50]. Втім, ці відомості були прямою цитатою з географічного словника Л. М. Максимовича, на який Д. Н. Бантиш-Камєнскій і дав посилання. Як і його попередники, він доволі багато уваги присвятив опису Полтави та пам'яткам часів Північної війни. Однак, відомості про історію міста до 1709 р. були обмежені лише коротким екскурсом про заснування міста, якиі також був запозичені з «Географического лексикона» [2, с. 54].

Князь І. М. Долгорукий в описах двох своїх мандрівок українськими землями відносно багато уваги приділив тамтешній старовині. Вже перші його думки по прибуттю до Малоросії у 1810 р. були пов'язані саме з козацькою минувшиною: «Наконец въехали мы в пределы Украйны. Зачал приходить мне на память пан Хмельницкий и Мазепа» [6, с. 46]. В усьому подальшому тексті першої книги можна зафіксувати ще чотири епізоди, які стосуються козацької доби – три згадки імені Мазепи та однин сюжет, який присвячений Розумовському і його столиці. Мазепа згадувався у зв'язку з київськими пам'ятками. Так, у Лаврі «в одной из соборных церквей над пещерами все приклады от Мазепы» [6, с. 270]. Пустинно-Миколаївський чоловічій монастир мав «…храм старинный. Строен Мазепой» [6, с. 281]. Оглядаючи ж Арсенал, «особенно любовался», серед інших цікавостей, гетманськими булавами: «все имеет свое время, подумал я; теперь кинь самую богатую из них куда хочешь, а в руках Мазепы, я чаю, не очень близко к ней подходили» [6, с. 292].

І. М. Долгорукому довелося також побувати й у Батурині. Минуле та сьогодення цього містечка змальовано було дуже лаконічно: «Батурин – местечко, принадлежащее Разумовским… Здесь некогда была столица Малороссийских гетманов. Фельдмаршал граф Кирилл Григорьевич Разумовский… последние годы жизни провел в Батурине и в нем скончался» [6, с. 313]. Цікаво відмітити, що в тексті першої книги К. Розумовський іменувався чи то фельдмаршалом, чи то графом (чи, як у цитованому фрагменті – одночасно обома званнями), але гетьманом його так і не було названо жодного разу.

Під час других відвідин українських земель автор продовжив фіксувати відомості з козацької історії. Прибувши 29-го червня 1817 року до чернігівського маєтку свого зятя В. Л. Селецького, І. М. Долгорукий наступного дня записав, що «Девицы – место большое… в старину жили тут все козаки, и здесь их сотенный дистрикт или округ находился» [5, с. 25]. В Чернігові мандрівник мав нагоду ще раз пригадати ім'я Мазепи:

«заметьте еще, что в здешнем краю по селам и городам многие храмы воздвигнуты Мазепой» [5, с. 35].

Іншого разу І. М. Долгорукій звернувся до «козацьких сюжетів», пояснюючи (або, більш ймовірно, переповідаючи те, що йому пояснили) наявність величезної кількості дрібного шляхетства в Малоросії: «Здесь с отдаленных времен обитают вольные люди под именем Козаков. … Многие Козаки, выуча детей своих грамоте, записывали их в Приказное звание. …Секретарской чин давал право на приобретение имущества, а недвижимое имение присваивало название личнаго Дворянина, и сим образом Малороссия наполнилась тьмою панов» [5, с. 44–45].

Розповідаючи про відвідини Яготину, І. М. Долгорукий повідомив, що це «увесилительный замок последняго Гетьмана, Фельдмаршала Разумовского» [5, с. 63]. Описуючи маєток, мандрівник ще два рази згадав К. Розумовського саме як гетьмана. Яготин з парком навіяв на зачарованого його красою князя й інші «історичні» думки: «На него тем приятнее взглянуть, что проехавши… между курганов в близи и в отдалении от дороги, напоминающим проказы Хмельницкаго, Дорошенки и Мазепы, обрадуешся всем сердцем монументу золотых времен, возникших из Малороссийских междуусобий» [5, с. 63]. Як бачимо, до списку відомих І. М. Долгорукому гетьманів додався ще й Дорошенко. Втім, на цих згадках історію козаків у викладі князя І. М. Долгорукого було вичерпано.

А. І. Льовшин, у виданих 1816 р. «Письмах из Малороссии», мету своєї подорожі[1], задекларував як бажання побачити тамтешні пам'ятки, що відносяться до російської історії, і, зокрема, Київ та Полтаву [10, с. I]. Діставшись Полтави, він, перш ніж навести розлогий і загалом стереотипний для російських мандрівників опис пам'яток, пов'язаних з подіями 1709 р., зазначив дещо з історії самого міста. Тож, А. І. Льовшин вказав, що Полтаву було засновано на початку XVII ст., як головне місто розташування козацького полку, який відповідно й називався полтавським [10, с. 3]. Описуючи враження від пам'яток, пов'язаних з Полтавською битвою, мандрівник жодним чином не згадав про Мазепу. Проте такі згадки присутні при описі села Білоцерківки: «Я теперь в том месте, на котором лилась невинная кровь ревностных сынов отечества. Мы там, где несчастные Искра и Кочубей пали от удара свирепаго Мазепы, и где головы их, злодейскою рукою палача отсеченныя,

[1] У тексті записок відсутні дати поїздки, але очевидно що її було здійснено теж у 1816 р., або ж незадовго перед цим.

скатились с них. Напрасно искал я места казни. Никто не указал мне» [10, с. 13]. Втім, місцеві мешканці не могли вказати місце страти не через свою необізнаність, а з більш простої причини. Як зауважив О. Толочко, прив'язка А. І. Льовшина до місцевості була помилковою [13, с. 98]. Насправді страта Іскри та Кочубея відбулася поблизу міста Біла Церква, з яким мандрівник помилково ототожнив полтавське село Білоцерківку.

Оздоблення церкви Мгарського монастиря зацікавило А. І. Льовшина розміщеними там портретами. Перший портрет «представляет одного митрополита Киевскаго». Його мощі, які зберігалися в монастирі, через те, що митрополит був духовником Мазепи були, буцімто, закладені в стіну за повелінням Петра І. Інший портрет зображував «Апостола, бывшаго Малороссийскаго Гетмана». Його «черты лица выражают умнаго человека, а красная одежда, булава и длинные седые усы показывают, что он управлял древними малороссиянами» [10, с. 25]. У Лубнах мандрівник зіткнувся з «живою» пам'яткою козацьких часів: «Видел я древняго козака Малороссийскаго; сего дня поутру говорил я с почтенным 96-летним воином. Величественная его осанка и умное лицо суть остатки силы и молодости, во дни которой сражался он; а слова его – отголосок пламенной любви к Отечеству, которая владела рукою его в боях» [10, с. 30]. Спомини цього козака стосувалися Семирічної війни та битви під Кунерсдорфом. З інших козацьких пам`яток А. І. Льовшин звернув увагу хіба що на «знамена Малороссийских Козацких полков», які висіли на стіні чернігівської соборної церкви [10, с. 140].

В. В. Селіванов виклав свої враження від перетину малоросійських земель у 1837 р., під час маршу на військові маневри до Новоросії. Днювання ескадрону в Диканьці, окрім навіяних гоголівськими творами вражень, викликало у драгуна ще й міркування історичного плану. Це пов'язано було з тим, що містечко було спадковим володінням Кочубеїв. Прогулюючись тамтешнім величезним парком, В. В. Сєліванов розмірковував: «Может быть под непроницаемою тенью ветвей их замышлял донос свой на изменника Гетмана страдалец преданности к престолу и России, старый Кочубей!.. Может быть при корне этого дерева любила отдыхать дочь его, юная прекрасная Матруся, затаив и лелея в душе своей любовь к губителю родины и тирану отца ея... Тогда как пламенно любивший её душою, воинственно чистою, молодой казак стоял в отдалении и с тайною грустию смотрел безмолвно на красоту гибнувщаго ангела!» [11, с. 10–11].

Дуже ймовірно, що поштовхом до цих роздумів стало не самостійне зацікавлення історією краю, а знайомство з тогочасною художньою

літературою, зокрема творами А. С. Пушкіна, Ф. В. Булгаріна та інших авторів.

Пов'язані з персоною Мазепи об'єкти, з-поміж історичних пам'яток, були у центрі уваги й іншого мандрівника – відомого російського історика, географа та статистика К. І. Арсеньєва. Він був автором надрукованих 1844 р. «Путевых заметок по Южной России». Цю працю важко визнати високохудожнім твором: відповідно до своїх професійних зацікавлень автор навів головним чином статистичні дані про відвідані ним населені пункти та їхні торги.

Мазепу К. І. Арсеньєв згадав ще не доїжджаючи Малоросії, у зв'язку зі спогляданням смуги багатих земель та сіл поблизу Рильська в Курській губернії, що складали маєток гетьмана Мазепи: «селения Ивановское, Степановка и Мазеповка, названы по имени владельца Ивана Степановича Мазепы». У 1708 р. ці землі отримав за взяття Батурина А. Д. Меньшиков [1, с. 496–497].

Сам Батурин привернув увагу К. І. Арсеньєва не цифрами оборотів місцевих ярмарків чи кількістю кам'яних споруд. Це місто, яке автор назвав знаменитим в історії XVIII ст., примітне для мандрівника було тим, що «здесь хитрый Мазепа замышлял сокрушить силы своего Государя-Благодетеля и мечтал о независимости и державстве самобытном, но вместо ожидаемаго величия нашел позор и уничтожение. Парасюк близь Батурина, любимое местопребывание вероломнаго Гетмана, представляет теперь одне развалины, едва видимыя; сохранялся только сад, ныне заброшенный и одичалый. Измена Мазепы нанесла первый удар Гетманщине; было возстановлено достоинство Гетмана при Елисавете, но не надолго: последний Гетман Малоросси, владелец Батурина, не имел даже утешения умереть в этом звании. В соборной церкви Батуринской погребен этот последней представитель прежнего быта Украины, знаменитый Генерал-Фельдмаршал Граф К. Г. Разумовский» [1, с. 506].

Ще одне місто Чернігівщини, Глухів, викликало інтерес К. І. Арсеньєва, окрім іншого, через те, що воно було «…некоторое время главным пунктом управления Малороссийских Казаков. Здесь совершилась торжественная процессия осуждения и казни над отсутствовавшим Мазепою: улица, по коей шла эта процессия, с тех пор сохранила доселе название Катовой – она примыкала к площади, на коей поставлена была виселица» [1, с. 508].

Як бачимо, автори травелогів звертали загалом небагато уваги на пам'ятки, пов'язані з козаччиною та історією Малоросії. Для російських мандрівників козацькі часи асоціювалися перш за все з прізвищами гетьманів – Наливайка, Сагайдачного, Хмельницького, Дорошенка. Крім постатей гетьманів, мандрівники у своїх творах згадували хіба що постійні усобиці тих часів. Набагато частіше згадувалися Мазепа та Розумовський й пов'язані з їх біографіями місця, які були об'єктами спеціальної уваги подорожуючих. Однак, очевидно що, ці дві персоналії цікавили мандрівників передусім у контексті загальноімперської історії. Кожен з мандрівників, що відвідував Полтаву чи її околиці, присвячував по декілька сторінок свого твору опису пам'яток Полтавської битви, згадкам про велич постаті Петра І і т.п. Відтак, і Мазепа цікавив авторів травелогів у першу чергу як ворог Петра І. Приблизно з другої чверті XIX ст., як демонструють записки В. В. Селіванова, до цього його «амплуа» додалися ще й літературні образи. Аналогічно, К. Розумовський також привертав увагу росіян у зв'язку з імперською історією, як один з найвизначніших можновладців Єкатерининської доби. Про це свідчить той факт, що не всі, хто згадував цього історичного діяча, відмічали його гетьманство. Отже, навіть при безпосередній зустрічі з пам'ятками малоросійської давнини мандрівники цікавилися лише «своєю» загальноімперською складовою цього минулого.

1. *Арсеньев К. И.* Путевые заметки о Южной России / К. И. Арсеньев // Журнал Министерства внутренних дел. – 1844. – Ч. 8.
2. *Бантыш-Каменский Д. Н.* Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию / Д. Н. Бантыш-Каменский. – М., 1810.
3. *Гун О. фон* Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию: пер. с нем. / О. фон Гун. – М., 1806. – Ч. 1.
4. *Гун О. фон* Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию: пер. с нем. / О. фон Гун. – М., 1806. – Ч. 2.
5. *Долгорукий И. М.* Путешествие в Киев в 1817 году, соч. кн. Ивана Михайловича Долгорукого / И. М. Долгорукий // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. – 1870. – Кн. 2.
6. *Долгорукий И. М.* Славны бубны за горами или путешествие мое коекуда 1810 года / И. М. Долгорукий // Издание императорскаго Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете. – М., 1870.

7. *Евецкий Ф.* Бантыш-Каменский Д. История Малой России. 3-е изд. – Москва, 1842. – Ч.1–3; Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Извлечено из собственного запорожского архива А.Скальковским. – Одесса, 1841 [рецензия] / Ф. Евецкий // Денница (Варшава). – 1842. – № 17 (сент.).
8. *Зуев В.* Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 г. / В. Зуев. – СПб., 1787.
9. *Измайлов В.* Путешествие в Полуденную Россию / В. Измайлов. – М., 1800. – Ч. 1.
10. *Левшин А. И.* Письма из Малороссии, писанные Алексеем Левшиным / А. И. Левшин. – Харьков, 1816.
11. *Селиванов В. В.* Записки офицера в Вознесенском походе 1837 года / В. В. Селиванов. – Рязань, 1892.
12. *Сумароков П. И.* Досуги Крымского судьи или второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова / П. И. Сумароков. – СПб.,1803. – Ч. 1.
13. *Толочко А.* Киевская Русь и Малороссия в XIX веке / А. Толочко. – К., 2012.

Шаталов Д. В. Украинские земли, имперская история: казацкие памятники в восприятии российских путешественников конца – первой половины XIX ст.

Автор на материалах травелогов российских авторов конца XVIII – первой половины XIX в. анализирует восприятие путешественниками прошлого Левобережной Украины. Делается вывод, что из всех памятников казацкого периода особое внимание они уделяли объектам, связанным с именами Мазепы и Разумовского. Это объясняется интересом к «своим» деятелям общеимперского уровня, «чужая» история украинского казачества не привлекала их внимания.

Ключевые слова: украинское казачество, Мазепа, Розумовский, травелоги

Shatalov Denys Ukrainian Lands, Imperial History: Cossack Artefacts in the Reception of Russian Travelers at the End of the 18th – First Half of the 19th Century

The article deal with the perception of Left Bank Ukraine`s past by Russian travelers in the late 18th – first half of the 19th century. The conclusion is that among all memorials of the Cossack period special attention was paid by travelers to the objects connected with the names of Mazepa and Razumovsky. But they were interesting to travelers only as «their» empire-wide level personalities. The history of the Ukrainian Cossacks was «the other» and not the subject of special attention.

Keywords: Ukrainian Cossacks, Mazepa, Razumovsky, travelogues.

ІНТЕРВ'Ю

ТЯГАР УПІЗНАВАНИХ ПОНЯТЬ:
Інтерв'ю Наталі Лаас з професором Сергієм Єкельчиком, записане у Києві 17 липня 2014 року

НЛ: Ви цікаві тим, що є і україністом, і фахівцем із Радянського Союзу на Заході. Зазвичай, мої співрозмовники належать лише до однієї групи, а Ви опиняєтеся у вигідній позиції людини, яка може оцінювати й одне, й інше. У 1990-ті роки, коли Ви потрапили з України на Захід, якими були радянські студії і якими українські, і чим вони відрізняється від теперішніх.

СЄ: Я тут з 1989 р. писав кандидатську дисертацію, в Інституті історії у Києві, на тему про український національний рух другої половини XIX та початку XX ст. у зарубіжному українознавстві, але там були виходи й на зарубіжне росієзнавство та радянознавство [1]. В ті часи ще існував спецфонд інститутської бібліотеки, куди не можна було просто так піти. Треба було отримувати дозвіл, хоча він уже був майже на порозі свого розформування. І певний час по тому його, правда, не переносили, бо там було зручніше приміщення.

Моє знайомство із західним радянознавством почалося в кімнатах бібліотечного спецфонду, куди автоматично потрапляло практично все, видане за кордоном, а мене цікавили головно ті полиці, де були англомовні речі. І вони були досить неоднорідні, бо той спецфонд добирався за принципом, що нам дісталося випадково, що нам хтось подарував, і якісь загальні підручники, які, як я уявляю, були куплені. Була, скажімо, ціла серія західних підручників з історії Радянського Союзу, які я там вперше побачив, – підручники починаючи з 1930-х років і до 1970-х, і кілька загальних історій Росії.

Це був цікавий досвід подивитися на те, як у них будується загальна схема. Звичайно, що загальна схема в ті часи могла бути досить традиційною, під нашим теперішнім кутом зору, схема, яка би надавала велике значення політичній історії та ідеології. У такому сенсі вона мене трошки розчаровувала, адже було зрозуміло, що це фактично те саме, що і у нас було до Горбачова чи навіть до відставки Щербицького, тільки навпаки.

Коли я потрапив на Захід у 1990-ті роки, то там відкрився новий світ у тому сенсі, що нікого вже не цікавила політична історія як така. Політична історія була ділянкою обмеженого зацікавлення, де головно

[1] Значні фрагменти дисертації було пізніше включено до книг С. Єкельчика «Пробудження нації» (Мельбурн: Секція славістики Університету ім. Монаша, 1994) та «Українофіли: Світ українських патріотів другої половини XIX століття» (К.: К. І. С., 2010).

йшлося про сенсаційні відкриття, які очікувалися, але яких назагал не ставалося. Тоді гадалося, що ось ми зараз знайдемо якісь нові документи Сталіна, які відкриють картину, що він насправді думав, а не те, що писалося в «Правді». Звичайно, що коли документи відкрилися, то дослідники були розчаровані тим, що в документах було написано те саме, що і в газеті «Правда». Виглядає, що Сталін так власне і думав, і виходив з того, що писалося в газеті «Правда», або він диктував іншим, що писати в газеті «Правда». Інша популярна ділянка того часу – злочини сталінщини, скільки саме мільйонів людей були в ГУЛАГу, скажімо. Це був більш сенсаційний матеріал, який мав вихід на медії.

Але я побачив тоді, що основний масив західних дослідників працював над чимось іншим. В ті роки це було головно соціальна історія. Бо покоління істориків 1970–1980-х років, більшість із них соціальні історики, великий відсоток із них замолоду лівих переконань, на той час посідали поважні позиції в західній академії, вони набирали аспірантів, вони керували кафедрами. Мені це був світ водночас знайомий і очуднений. Очуднений у сенсі незнайомого погляду на знайому проблему, бо, з одного боку, соціальна історія у певному сенсі існувала в Радянському Союзу і була частиною моєї освіти в Київському університеті, а з іншого боку, це була зовсім інша соціальна історія, з наголосом не наперед відомі висновки, як, до слова, здається, і досі робляться дисертації тут в Україні, коли ти наперед знаєш, що то була історія національного пробудження і т.д., але треба під це підігнати якийсь фактичний матеріал.

А там була картина зовсім інша, і почасти за рахунок того, що вони не мали архівного доступу багато десятиліть, а у принципі, між іншим, соціальна історія вимагала його. Мені здається, вона розвинулася так теоретично і методологічно почасти тому, що не мала доступу. Історики мали досить обмежені матеріали, з якими працювали, але при цьому вони хотіли вивчати суспільство. Якщо вивчати терор, то під оглядом того, як він відбивав тенденції в тому суспільстві, бо, за виразом Довлатова, хтось же писав ці мільйони доносів, і були реальні соціальні конфлікти на заводах чи деінде. Особливо, як я тепер люблю розповідати своїм студентам, в університетах, де студенти залюбки викривали своїх викладачів. Тобто там були якісь суспільні процеси, які виливалися в це. Держава давала поштовх, держава створювала форму, але суспільство наповнювало цю форму змістом. Таку, у головних рисах, картину західної радянології я застав, коли я там з'явився на початку 1990-х років в Австралії, а тоді в середині 1990-х в Канаді.

У чому мені ще пощастило і поставило на іншу дорогу від самого початку – це те, що я потрапив в Австралію на кафедру славістики, а

не історичну, і там мені довелося читати такі речі, які би історик того часу не конче читав, наприклад, Ролана Барта, постколоніальних теоретиків, як от Гомі Бгабгу[1]. І ця постколоніальна теорія, яка на Заході, до слова, тепер вважається вже перейденим етапом, має ще дуже цікавий потенціал тут, в Україні, а особливо коли йдеться про ту обсесію нашу з нацією, націотворенням. Для цього постколоніальна теорія дала дуже цікаві речі. Наприклад, праці Діпеша Чакрабарті про творення Індії, яка була створена як імперський конструкт[2]. Там багато теоретичних знахідок для деконструкції національних міфологій, але й імперських також (як от російських). Керівник мого стажування в Австралії, Марко Павлишин, був літературознавцем, але його зацікавлення сягали таких культурно-історичних тем, як творення національної міфології та постколоніальний вимір української культури[3].

Так трапилося, що я спочатку отримав методологічне загартування в Австралії, працюючи з Марком Павлишиним, а вже після цього потрапив до Едмонтону, де були Девід Марплз і Джон-Пол Химка, обидва соціальні історики. Девід власне починав як економічний історик британської школи і потім він розширив свої зацікавлення на інші галузі. У мій час він уже займався Чорнобилем і, що цікаво, українським робітничим рухом доби перебудови.

У ті часи мене це також цікавило. Я щойно приїхав з Інституту історії, де починав власне свою працю з того, що складав покажчик до збірника документів чи хронології робітничого руху початку XX століття. І от приїхав до Канади, а тут Марплз займається робітничим рухом 1980-х років, а тоді були шахтарські страйки і це було страшенно цікаво, і я для нього робив виписки з газет[4]. Там робітничий рух, тут також робітничий рух в іншому висвітленні… А Химка також цим займався, хоч і в трохи іншому аспекті, – соціальна історія національного руху. Тобто він дивився на «Просвіти», на хати-читальні, і це не була така звичайна історія національного руху, з якою я був знайомий в Україні, коли я був тут в аспірантурі, і яка була головно історією ідей, такою собі старосвітською телеологічною історією ідей, якої вже на Заході не практикували з 1960-х років, і в мене забрало багато часу зрозуміти, що вона, історія ідей, там таки існувала, але була зовсім інакшою. Але й соціальна була інакшою.

[1] Див.: Bhabha, Homi K. The Location of Nation. – London: Routledge, 1994; Nation and Narrtaion / Ed. by Homi K. Bhabha. – London: Routledge, 1990.

[2] Див. зокрема його статтю: Chakrabarty, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for 'Indian' Pasts? // Representations. – 1992. – Vol. 37, Winter. – P. 1–26.

[3] Див. його цінну збірку статтей в авторському українському перекладі: Павлишин, Марко. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997.

[4] Йдеться про підготовку в середині 1990-х років нового, доповненого видання книги: Marples, David R. Ukraine under Perestroika: Ecology, Economics, and the Workers' Revolt. – London: Macmillan, 1991. Нове видання здійснено не було.

Я пригадую те, що я прочитав другу книжку Химки, про національне відродження в Галичині другої половини XIX ст., яка вийшла 1988 року, ще коли я був тут в аспірантурі[1]. Мене зацікавила його методологія, тому що деякі колеги у моєму відділі займалися тими ж самими «Просвітами», але трохи інакше ними займалися. На моє око, це була така соціологія цікава, що намагалася зозуміти тодішнє суспільство, а не «історія», яка із залізною необхідністю вела до незалежності. Він намагався навіть дотримуватися термінології ідентичності того часу, тобто вживав «русинів» в авторській мові у тексті. А тоді Химка перейшов на греко-католицьку церкву, і також це не був такий підхід до церковної історії, як це тоді практикували тут – з «духовністю» і т. ін. В нього ж була контекстуально багата соціальна історія церкви як інституції, через яку творилася і перетворювалася ідентичність[2]. Отакий мені дістався неортодоксальний науковий керівник.

Я також пригадую цей момент, коли зовсім вже перед Канадою мені потрапила книжка Гейдена Вайта «Метаісторія», і тоді я зрозумів, що це насправді той еквівалент сучасної історії ідей, але він зовсім не схожий. Це такий лінгвістичний поворот в культурній історії радше, ніж в історії ідей, з увагою до наративних моделей та тропів[3]. А наша історія ідей лишалася ще методологічно на тому рівні, як на Заході у 1930–1950-х роках. Це був важливий поворотний момент у моєму мисленні про дисципліну історіографії. Так само, як і у дослідженні нації, поворотний момент був пов'язаний з працями Діпеша Чакрабарті та Ранаджита Гухи про Індію та з іншими працями, які мені довелося читати вже в докторантурі там, в Канаді.

НЛ: А чи їхали Ви вже з настановою вивчати історію України?

СЄ: Так. Я вступив до докторантури з очікуванням, що займатимуся «новою соціальною історією» України, якогось її аспекту. Я вибрав собі тему про Київ 1920–1930-х років, про те, як конструювався новий робітничий клас, нове суспільство, нові зв'язки, і що там лишалося старого,

[1] Himka, John-Paul. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. – Edmonton: CIUS Press, 1988.

[2] Himka, John-Paul. Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867–1900. – Montreal: McGill-Queen's University Press, 1997.

[3] White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

не-радянського. Зосередитися планував на тому, як з міста робили столицю сталінського штибу.

Була цікава книжка Девіда Гофмана «Селянський метрополіс» про Москву: як робітники линули до Москви у величезній кількості, але фактично вони з собою приносили ці сільські зв'язки, земляцтва, артілі і всяке таке. Ця культура перетравлювалася всередині великого міста, від неї лишалися якісь компоненти і з'являлися нові[1]. Це дуже цікаво, і я досі вважаю, що це така тема, яку в Україні ще треба досліджувати – культура щоденності, мікроісторія еволюції соціальних мереж. Вона ще попереду насправді для української історії.

Але так трапилося, що коли я приїхав робити дослідження в архіві, тут мені сказали, що можете розвертатися і їхати назад до Канади, бо в 1941 році, коли підходили німці, то майже всі ці архіви з 1930-х років попалили. Лишився лише початок 1930-х років і окремі теки з пізніших років, але головно на рівні ЦК, а не на рівні районів. Що найболісніше, це те, що в архіві Київської області не було майже нічого. Вони навіть уже в радянські часи робили фотокопії протоколів київських партійних конференцій з Москви, щоб мати хоча би якісь засадничі документи для писання праць про партійне керівництво. Фактично, нічого не збереглося. Для мене це означало, що або цей проект не піде, або він пішов би в іншому напрямку, більш політично орієнтований, більш високого рівня дивитися документи. То була б «стара» соціальна історія.

Скажімо, в ті часи відкрився архів Політбюро з картотекою репресованих, що створювалася, і таємною частиною рішень Політбюро, на яку я відразу почав дивитися і зрозумів, що це повна дурниця, бо вся ця найтаємніша частина головно містила рішення про те, як будувати будинки для партійного керівництва в Межигір'ї. Тобто те, що вони найбільше хотіли приховати, це було Межигір'я, розподіли пайків і підтримку комуністів та українських культурних організацій в Галичині. Жодна з тих речей мене не запалювала, і це був той момент, коли я почав замовляти справи в архіві на вул. Кутузова (ЦДАГО України) просто десятками. Я щодня замовляв по десять і за літо передивився дуже багато чого і так я врешті опинився в новій культурній історії творення історичної пам'яті. Фактично дослідження образів минулого у сталінської культури, але також і того, що західні науковці того часу називали таким собі симбіозом партійної ідеології та історичної науки, – і все це в одному

[1] Hoffmann, David L. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941. – Ithaca: Cornell University Press, 1994.

пакеті, як творення історичної пам'яті. Така собі культура у широкому розумінні. І так я вийшов на цю тему і написав свою дисертацію[1].

Мушу сказати, що це не була тема близька Химці, але він із самого початку сказав, що він мене підтримуватиме у всьому, але не конче зможе багато в чому допомогти. Кінець кінцем він таки допоміг, ясна річ. Так я опинився в новій для себе ділянці, а також в ділянці, в якій в Канаді мало хто працював насправді. Але в той час Шейла Фіцпатрік, як відомо, набирала велику кількість аспірантів, і в неї вже були люди, які займалися сталінською культурою під цим кутом зору. Кіріл Томофф один з них. Хоч кінець кінцем я з ним не зовсім і погоджуюся в розумінні сталінської культури, бо його теза про унікальний професіоналізм композиторів та музикантів, який захищав їх як спільноту від сталінського партійного керівництва, фактично відтворює цю стару ієрархію, що держава «там» і суспільство «тут», одне гнобить, а інше жертва, тоді як насправді композитори могли бути комуністами та бюрократами, та й були – Тіхон Хрєнніков найкращий приклад цього[2]. І взагалі я мав враження, що ця Фіцпатріківська школа, яка була дуже неоднорідною і яка фактично не була й школою, все ж була своєрідною школою у сенсі спільного несприйняття можливості ідеологічної індоктринації самого суспільства.

Мене не полишає враження, що майже вся ця когорта її аспірантів лишилася під впливом її ранніх творів 1970-х років, коли вона писала про Луначарського, про культуру з дуже соціологічного боку, про взаємодію держави та культури. Головний підхід її був до цієї взаємодії – патронажно-клієнтарні зв'язки, те, що Ворошилов, Сталін чи будь-які інші керівники культивували підтримку певних артистів, письменників, але насправді цей механізм більше замулює, ніж пояснює[3]. Культура творилася не маленькою кількістю людей, які мали зв'язки, а великою соціальною когортою, яка орієнтувалася за передовицями «Правди», щоб знати, що було прийнятним, а що прийнятним вже не було. Не всі з них мали вихід на Ворошилова, ясна річ, та й не було це можливим.

[1] Вона пізніше вийшла у вигляді монографії: Yekelchyk, Serhy. Stalin's Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. – Toronto: University of Toronto Press, 2004; укр. переклад: Єкельчик, Сергій. Імперія пам'яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / пер. Миколи Климчука та Христини Чушак. – К.: Критика, 2007.

[2] Йдеться про книгу: Tomoff, Kiril. Creative Union: The Professional Organization of Soviet Composers, 1939–1953. – Ithaca: Cornell University Press, 2006.

[3] Йдеться про першу книгу Фіцпатрік "The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky" (Cambridge: Cambridge University Press, 1970) та її статті, що пізніше було зібрано у книжці: Fitzpatrick, Sheila. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. – Ithaca: Cornell University Press, 1992.

Я також розумів, що до певної міри це було її спробою перейти з соціальної історії до культурної, лишаючись при цьому в класичних категоріях соціальної історії. Тобто взяти ці категорії соціальної історії, перенести в культурну історію і соціологічно їх дослідити. Хотілося чіткості та ясності, хоч воно не конче доводило до цієї ясності.

Учні Фіцпатрік були дуже успішними. Вона обсадила своїми студентами багато університетів, з них дуже велика кількість талановитих людей. Тому коли нова доба у дослідженні радянської епохи почалася, вона народилася в цікавий спосіб – зі взаємодії цієї школи зі студентами Стівена Коткіна, який не виходив з цих соціологічних категорій, а просто сказав приблизно таке (і багато разів це повторював): «Ось був я в Каліфорнії, до нас приїздив Фуко. Я послухав Фуко і вирішив писати про те, як влада пронизує суспільне життя навіть на найнижчому рівні, як вона працює через мову»[1]. І мені здається, що цей свіжий вітер зіграв велику роль.

А також політично в цікавий спосіб. Це був консервативний вітер. Фіцпатрік походила з того середовища 1970-х років, яке загалом Радянському Союзові симпатизувало у той чи інший спосіб. І не конче в той спосіб, що одружувалися з радянськими науковцями, а в тому сенсі, що вони позитивно ставилися до радянських людей, до якогось людського виміру радянського проекту. Наприклад, можна відчути вплив Ігоря Саца і родини Луначарського на Фіцпатрік 1960–1970-х років. Світ радянської інтелігенції був для них близьким.

Тоді як Коткін і його учні, Пітер Голквіст, скажімо, вони мали такий модерний підхід. Вони не захоплювалися радянським експериментом чи чистотою ідей радянської інтелігенції. Вони натомість дивилися на світові тенденції, як радянські процеси відбивали загальне тло – централізованого збирання інформації, контролю над масами. З цього середовища походив також Амір Вайнер, Йохен Гелбек. Це була дуже продуктивна взаємодія цих сказати б шкіл, Фіцпатрік та Коткіна, взаємодія, що народилася із заперечення першої останньою.

Я мав приємність кілька років тому літати до Принстона на захист однієї із докторанток Коткіна, Мейгіл Фаулер, яка займається українською культурою і яка написала дуже цікаву дисертацію про культурну взаємодію прикордоння: Львів, Київ, Москва, Лесь Курбас там був, Булгаков, все, що завгодно[2]. І абсолютно така некоткінська річ, як на мене.

[1] Про вплив Фуко згадано і у передмові до найвідомішої монографії Коткіна: Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. – Berkeley: University of California Press, 1995). – P. xviii, 22–23.

[2] Fowler, Mayhill Cortney. Beau Monde: State and Stage on the Empire's Edge, Russia and Soviet Ukraine, 1916–1941: Ph. D. Dissertation. – Princeton University, 2011.

Він впливав на людей трохи інакше з вибором тем, ніж Фіцпатрік, яка теми розподіляла, він чогось іншого шукав від них, хоч я ще цього для себе не сформулював насправді. Чи там є школа чи ні – хороше питання.

Мені здається, що Пітер Голквіст і Міша Девід-Фокс; Девід-Фокс, здається, не був студентом Коткіна взагалі, і взагалі вся ця група походить з періоду, коли Коткін рік викладав у Колумбії, і ця група студентів, які тоді були в Колумбії, вони для себе відкрили щось важливе і пішли далі своїми шляхами. Це позитивно вплинуло за рахунок того, що деякий такий соціологізм, деякий такий присмак старої школи 1970-х років, який існував на той час, було розмито. Це загалом корисно, коли немає домінування якоїсь одної теорії чи школи.

Це був час, коли я почав займатися творенням історичної пам'яті в українській культурі, оперою та іншим, але повернення до соціальної історії ще було попереду. У моїй новій книжці про Київ повоєнний, яка виходить англійською цього року, воно нарешті відбувається. Коли я потрапив кінець кінцем до соціальної історії, то визнаю, що мене найбільше цікавлять у ній такі моменти, які виводять її на культуру політичного ритуалу, на розуміння того, як ти мусиш поводитися в суспільстві, що сказати. Хоча все одно йдеться про суспільство[1].

НЛ: Добре, є Фіцпатрік та Коткін. А чи є вже щось після них? Адже хтось говорить про Галфіна та Гелбека з їхньою «радянською суб'єктивністю», хтось говорить про невизначений перехідний період.

СЄ: Мені здається, картина розмилася в цікавий спосіб. Розвернулися в нашій ділянці ті відділи історичного знання, які вже існували в загальній європейській історії, скажімо, історія сексуальності, чи усна історія. Вони розмили картину в такий спосіб, що досить важко визначити, хто є прибічником чого і чи взагалі можна визначити якусь таку певну школу.

Завжди існувала досить велика кількість інших програм, які випускали і продовжують випускати студентів з різними зацікавленнями. Наприклад, в Північній Кароліні, де є кілька професорів з російської історії, Дон Ролі як основний радянолог, який займався громадянською війною в Саратові, а потім перейшов на усну історію покоління радянських бебі-бумерів. Він має дуже багато студентів.

Є приклад людини, яку я дуже люблю і високо ціную, це Рон Суні з Мічигана, який довгий час був в Чикаго разом із Шейлою Фіцпатрік, а потім повернувся в Мічиган. Фактично, він завжди жив там, в Анн Арборі, просто він їздив до Чикаго викладати, а потім вийшов на пенсію

[1] Yekelchyk, Serhy. Stalin's Citizens: Everyday Politics in the Wake of Total War. – New York: Oxford University Press, 2014.

в Чікаго і повернувся викладати до Мічигана. Це людина, яка зробила дуже багато спочатку для робітничої історії (labor history), історії праці та революційного руху, а потім для історії національностей, особливо у невеличкій книжеці, яка справила величезний вплив на ділянку[1].

Ця його маленька книжка стенфордських лекцій, яка вийшла задовго до Тері Мартіна, яку люди почали для себе відкривати після книжок Тері Мартіна та Френ Гірш, але ці ідеї вже є там, тому що це вплив Рона Суні, але жоден із тих двох чи з інших не є учнем Суні. Насправді, навіть не знаю, в кого з науковців молодшого покоління, що активно друкуються, він був науковим керівником. Тобто людина справила великий інтелектуальний вплив на дослідження імперії та національної проблеми, яка сформулювала установчі питання, дала рішення, організувала конференції і видала збірники, але не конче була головою наукової школи. За будь-яким визначенням, навіть найпримітивнішим, тобто що мав таку-то кількість докторантів і вони написали книжки в таких-то ділянках, до нього це не підходить, а тим не менше він досі лишається однією з провідних фігур. Може, він трохи такий лівак для загального тла північноамериканської академії, але дуже впливовий, дуже розумний і допомагає людям цілий час.

Проблема національностей також суттєво розмивала картину будь-якого уявного протистояння. Річ у тому, що вона наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років з маргінальної стало мейнстримною. Університети шукали спеціалістів з неросійських регіонів СРСР, які за визначенням займалися цікавими речами на зразок орієнталізму, постколоніального прочитання, імперської ідентичності, і тоді для них уже не була важливою вся ця боротьба 1970–1980-х років за соціальну історію, про те, чи мав сталінський терор якусь соціальну підтримку. Теоретична база була зовсім іншою. Звісно, якісь питання могли перепливати з однієї теоретичної рамки в іншу, але це вже зовсім інше питання.

І таких людей, дослідників неросійських регіонів, було дуже багато. Я би їх, до речі, не об'єднував у жодну наукову школу. Або можна сказати, що спільним для них є це прочитання, конструювання нації, що імперія і Радянський Союз творили нації, так само, як деякий час і руйнували їх. Але це класична теза з постколоніальної теорії, це загальновідомо для всіх дослідників імперії деінде, а тепер ми можемо її приписувати кому завгодно – Френ Гірш, Тері Мартіну, чи насправді, якщо подивитися,

[1] Suny, Ronald Grigor. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. – Stanford: Stanford University Press, 1993.

вона є в Рона Суні, однак вони розвинули її кожен по-своєму і в цікавий спосіб. Девід Бранденберґер доклав той самий підхід до Росії[1].

На це свого часу прийшла реакція також, коли Кейт Браун видала книжку про порожнечу. Її взагалі цікавлять речі, що зникли, зниклі міста, зниклі культури, порожність. У неї такий антропологічний підхід, який до певної міри був також реакцією на всю цю писанину про Радянський Союз, який творив нації, і реакція на це була – вони зникали, знищувалися, а місцевість лишалася, тобто можливо, вони не були також центральними і єдиновизначальними[2]. Отже не від історії робітничого класу до історії націй, а й далі – до історії місцевостей, маленьких громад, культурних явищ, техногенних катастроф.

На тлі цього продовжувала існувати важлива течія єврейських студій, яка загалом сильна у світовій, у європейській історії, але і в західній радянській історії це була сильна школа, тому що вони мають своє окреме фінансування, вони мають потребу вчити певні мови та культури, що їх виділяє в зв'язку з цим, але ці люди водночас дуже часто є істориками Росії і Радянського Союзу (по суті – часто власне України), які додають до наших знань у важливий спосіб, тому що вони майже всі теми очевидні переробили, насправді, вже все перепахали в єврейській історії, а тому мусять шукати нових підходів, нових бачень. Але під час цих пошуків вони пишуть неймовірно цікаві речі.

Скажімо, Джеф Вейндлінгер, який був в Індіані певний час і зараз опинився в Мічігані, отримав кафедру імені Йосифа Бродського в Мічігані. Він займався єврейським театром 1920-1930-х років і, ширше, єврейською музичною культурою. Він постійно з'являвся на конференціях, на тих самих сесіях з істориками радянської культури, не з єврейської культури, а з радянської культури. Обмін ідей відбувався цікавезний. Ці люди насправді дуже багато допомагали, показували зразок – своєю такою певною незалежністю і тим, що вони могли собі дозволити досліджувати малі теми, і в малих темах вони шукали більшу значимість.

[1] Йдеться про книжки: Martin, Terry. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca: Cornell University Press, 2001; укр. переклад: Мартин, Тері. Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському союзі (1923-1939 роки) / пер. С. Вакуленко. – К.: Критика, 2013; Hirsch, Francine. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell University Press, 2005; Brandenberger, David. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956. – Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2002.

[2] Brown, Kate. A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Тоді якщо я, скажімо, досліджував би у традиційном ключі українську музичну культуру 1920-х років, то всі би думали, кому це треба. Скажімо, Курбас для нас здається чимось важливим, але у західному університеті та західному студенту чи читачеві, щоб пояснити, у чому важливість Курбаса, то треба виходити на якісь зовсім інші концептуальні схеми, ніж наші. Бо наша схема все ж таки виходить з тези, що є нація, є традиційний національний театр корифеїв, «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» – і всі танцюють, всі в шароварах[1]. І от на цьому тлі приходить Курбас, він модерний, європейський. Уже студент розуміє, про що йдеться, і науковець розуміє. Але підемо ще на рівень вище, як це робить Мейгіл Фаулер, виходячи із концептуальної схеми культурного півдня Російської імперії, де єврейська смуга осілості переплітається з українською культурою, з російською масовою культурою, яка витворює там певні речі, і тут окраїни імперії, і національності, і модернізм, і традиціоналізм. Власне, ми теж так мусили би Курбаса прочитувати в Україні, але маємо цілком інакший і обмеженіший референт, ані Європа, ані міжнаціональний південь, а лишень український театр.

НЛ: Для мене легітимація українських студій як окремішньої царини на Заході відбулася коштом радянської України. Дорадянська Україна (врешті, умовна) належить українознавцям, тоді як Україна радянська…

СЄ: Це була несправжня Україна…

НЛ: …була винятковою прерогативою совєтознавців, і дві групи чітко ділили територію і не втручалися в справи один одного. Зрозуміло, що у випадку гарвардського осередку це ще й вплив спеціалізації Омеляна Пріцака та Ігоря Шевченка, жоден з яких не був знавцем новітньої історії. Радянська Україна й досі, здається, залишається сферою вивчення чогось радянсько-атипового, як, врешті, і будь-яка інша республіка, окрім Росії – єдиної «типової» радянської території. Отакий собі просторовий детермінізм нормальності/аномальності радянського. Тож мене дуже здивувало, коли Ви сказали, що дійшли до української історії через зацікавлення соціальною історією. Щоби спокійно захиститися, мало би статися навпаки: обравши Україну, досліджувати місцеві особливості соціальних процесів.

СЄ: Там насправді була цікава дилема. Абсолютно погоджуюся, що ці інституції, створені до певної міри за підтримки української діаспори, вони продукували національний наратив. Вони для цього й були створені й цього від них очікувалося, щоб вони досліджували історію

[1] «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» – водевіль Михайла Старицького (1872).

України. І тоді поставало питання: що є історією України? Що є важливим для історії України?

Я пригадую, що коли я написав свою першу доповідь на західну конференцію, а це було про перенесення столиці до Києва з Харкова 1934 року, про що було багато цікавих документів, але документи були такої природи: що треба було збудувати в місті, кого треба виселити з міста, як збільшити кількість робітничого класу. Вони творили ідеальний образ пролетарської столиці України[1].

Але коли я презентував її на конференції десь року 1997-го, я опинився на сесії з іншими україністами, і це надало цілій сесії таку цікаву динаміку, хоч пригадую, там був також Марк Бейкер, який займався революцією у Харкові з точки зору соціальної історії (також учень Химки, пізніше учень Шпорлюка). Для нього національний наратив теж був таким до певної міри обмежуючим, його цікавило власне, чого селяни прагнули в часі революції[2].

Але питання, які ми отримували на тій сесії, були такого штибу, що намагалися поставити наші теми у прямий зв'язок із великим наративом нації: а от як там УНР, а як там голодомор? а що в той період про голодомор в документах? – немає про голодомор саме в цих документах. – а як це? приховували, давайте поговоримо про те, як приховували голодомор. – давайте, але цей ідеальний образ пролетарської столиці не конче це питання включає. Тобто голодомор міг грати роль в цій структурі в тому сенсі, що він був пов'язаний з рішеннями партії перенести столицю чи з великою кількістю безпризорників, але того, про що я говорив, не конче стосувався.

Дилема однак полягає в тому, і вона дуже реальна, що бути україністом на Заході – це досить вузька спеціалізація, бо україністика не є такою потужною ділянкою, що представлена в кожному університеті. Насправді, більшість людей, які пишуть дисертації з україністики, намагаються підтримувати присутність у ширшій ділянці, позиціонувати себе як антропологи, спеціалісти зі слов'янських літератур чи історики Росії або Радянського Союзу.

Іронія в тому, що, щоб бути професійно успішним у північноамериканській академії, щоби колеги тебе читали, історик України XX століття мусить сказати щось нове про історію Радянського Союзу. Але в рамцях національного наративу за визначенням Радянський Союз Україні

[1] Ця доповідь пізніше з'явилася друком: Yekelchyk, Serhy. The Making of a «Proletarian Capital»: Patterns of Stalinist Social Policy in Kiev in the mid-1930s // Europe-Asia Studies. – 1998. – Vol. 50, no. 7. – P. 1229–1244.

[2] Показова, наприклад, така його стаття: Baker, Mark. Beyond the National: Peasants, Power and Revolution in Ukraine // Journal of Ukrainian Studies. – 1999. – Vol. 24, no. 1. – P.. 39-67.

нічого хорошого не приніс. Потрапляєш в таке обмеження – національний наратив нашого типу, який панує в Україні, продуктивним не є. І різні спеціалісти шукали різних шляхів.

Один шлях – займатися національним питанням як таким, національною політикою чи пограничною територією на межі імперії. Якщо займатись чимось більшим, що стосується загалом радянських студій, то тут потрапляєш у ширший світ, в якому є свої історіографічні дебати та тенденції, і там такий висновок дисертаційного дослідження на зразок «нас гнобили» чи «ми боролися» не сприймається. Таке говорення від імені етнічної нації, яка декларує своє право на національну державу, це просто нецікаво. Це 1950-ті роки. Лишатися в тому ширшому світі дуже корисно з точки зору інтелектуальної, а з практичної точки зору це допомагає отримати працю після закінчення докторантури, бо є тільки дуже обмежена кількість позицій в україністиці.

Також бути професійним українознавцем – це означає, до певної міри, постійно бути замкненим на спільноту, з якою ти працюєш, знаючи, що фактично ця спільнота створила твою позицію. Треба знайти певний шлях, як з цим мати справу. Це може бути складно.

Єврейські, польські історики мають ту саму дилему: як бути професором польських студій в якомусь університеті без того, щоб не розсваритися з польською громадою і не стати просто її речником? Єврейські історики теж мають цю проблему, ми менше про неї знаємо, але вона існує. Водночас не будемо створювати образ якоїсь гомогенної консервативної україністики, такого насправді не було ніколи. Скажімо, Іван Лисяк-Рудницький, який вплинув так багато в Канаді, мав абсолютно різноманітні зацікавлення, зокрема і щодо Радянської України. Він сказав дуже розумні речі про неї, що зовсім не підходили під панівний тоді національний наратив[1].

Насправді й діаспорна громада змінилася, як змінилося саме життя, хоч «національні святощі», за виразом Драгоманова, далі існують там, як і тут, і посягання на них може протиставити науковця спільноті, особливо ж, якщо він українець з походження чи посада створена на пожертви громади.

НЛ: Як у випадку з Химкою?

СЄ: Химкина посада – це професор східноєвропейської історії, не власне української, і в такий спосіб він завжди мав повну незалежність.

[1] Див.: Лисяк-Рудницький, Іван. Радянська Україна з історичної перспективи // Лисяк-Рудницький, Іван. Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 2. – С. 437–448.

Тут навпаки, він перший свідомо кинув виклик діаспорі ще наприкінці 1990-х й тоді вже пішло-поїхало[1].

НЛ: Але в який спосіб неемансипованість модерної історії України від Радянського Союзу впливає на ментальне мапування світу зараз? На політичний, соціальний, культурний статус сучасної України?

СЄ: Річ у тім, що загалом сучасні дослідження Радянського Союзу не оперують концепцією «нації», бо нація в нашому українському розумінні для західних науковців не категорія аналізу чи суб'єкт історії, а власне предмет дослідження – як концептуальний апарат патріотів минулого. Ці західні студії спираються великою мірою на регіоналістику, на мікроісторію, на історію соціальних процесів.

«Нація» етнічна для них не є категорією, яка щось пояснює. Хіба що в тому сенсі, що більшовики вважали, що вони створюють певний різновид нації, а націоналісти вірили, що українцями народжуються. От в цьому вигляді нація може функціонувати як поняття в історії ідей. А тоді виходить, що не зрозуміло, яким боком ці західні науковці новітньої школи є україністами. Тобто, вони фактично і не є. І тоді що є критерієм включення їх до українознавства – не зовсім зрозуміло, крім власного бажання або посади в одній з українських інституцій.

Виникає потужний розрив між мейнстрімною українською історичною наукою сьогодні і дослідженнями Радянської України на Заході в тому, що багато вчених в Україні досі виходять із органічної, антропоморфної концепції етнічної нації. Нація відновила тут свою телеологічну центральність, її треба будувати, вона потребує власної держави і так далі. Тоді як із західного боку є досить чітке розуміння, що історики досліджують тих людей, які уявляли, що вони відроджують націю. Крім того, прагнути слід було б до створення багатоетнічної політичної нації, заснованої на ідеях демократії та прав людини.

Виходить смішна ситуація, коли деякі історики України по суті є тими націоналістами, яких досліджують історики Заходу. Тобто в них той самий концептуальний апарат, як до Другої світової війни – а не сучасне розуміння цивільної чи політичної нації, не заснованої на етнічній єдності, а на спільних цінностях. Парадоксально, але це так радянське минуле дається взнаки з його теоретичним догматизмом, вірою в єдино правильну концепцію, ба навіть в етнічні нації як суб'єкти історії

[1] Пізній, але найбільш показовий текст Химки, в якому він окреслює мотивацію та основні напрямки своєї критики: Himka, John-Paul. Interventions: Challenging the Myths of Twentieth-Century Ukrainian History // The Convolutions of Historical Politics / Eds. by Alexei Miller and Maria Lipman. – Budapest and New York: Central European University Press, 2012. – P. 211–238.

(«возз'єднання українського та російського народів») Але так само головна лінія сучасної російської історіографії все сильніше озвучує імперські концепції, яким вже 100 чи 150 років. І якщо в України є альтернатива – концепція нової політичної нації, ідея якої втілена в багатонаціональному пантеоні «Небесної сотні», то в Росії її поки що не видно.

Якщо Росія продовжує вважати, що «ми один народ», то й сама історія може повернутися до ситуації столітньої давнини. Я приїхав цього літа сюди збирати матеріали до книжки про 1917–1920 роки, про ту революцію і ту, «громадянську», війну, але паралелі між тодішньою та нинішнею ситуацією наскільки очевидні, що просто лячно стає. Бо не тільки Стрєлков-Гіркін переодягався в денікінського офіцера, але в ті роки також говорили про снайперів (чи радше, кулемети) на даху, і також була Донецько-Криворізька республіка. Загалом, теперішня агресія Росії – це наслідок «посмертного існування» там категорій, які на Заході самі стали предметами досліджень, а на просторах колишнього СРСР продовжують функціонувати як категорії усвідомлення світу: старший брат, спільне минуле, загальнозрозуміла мова і т. ін. По суті, йдеться про імперське мислення зразка початку XX ст.

І це, до речі, також пояснення, чому майже немає мікроісторії або регіоналістики в Україні. Регіоналістика існувала до тої міри, до якої вона підтримувала якісь сепаратистські зацікавлення в окремих регіонах, а не в тому сенсі, як на Заході. Тому що головний наратив був – це нація та імперія. Вони й справді зіткнулися тепер. Це роз'єднання стало очевидним зараз у дуже болісний спосіб, бо можна дуже довго займатися мікроісторією соціальних верств, але раптом розумієш, що ті категорії, які ми намагалися підірвати як теоретичні категорії пізнання світу, вони продовжую серйозно сприйматися тут і призводять до таких речей. Добре розуміти, що ці категорії належать не нашому століттю, але водночас вони визначають світ тут.

Це важливий момент для українських студій взагалі, і для радянськознавства також, між іншим, бо це насправді такий відкладений розпад Радянського Союзу, і ця донецька ідентичність, яка по суті дуже радянська, не регіональна як така, а російсько-імперська, зі Сталіним, але й з іконами водночас. Це неперетравлений конфлікт, який жеврів там потроху, політично підтримувався в інтересах регіональної еліти, і ми опинилися всередині нього[1].

Мені цікаво, що трапиться під оглядом того, що велика кількість західних україністів з того покоління, що займалося не тільки соціальною історією, бо ці люди вже виходять на пенсію, а з покоління, що прийшло після них, культурних істориків того лінгвістичного повороту, отримують собі на руки щось таке, чим мав би займатися Лисяк-Рудницький в 1960-ті роки, або навіть ще до нього, ті люди, які бачили світ бінарним, в категоріях Холодної війни. Ось теперішнє покоління науковців отримує собі на руки таку дилему, коли вони вже сказали, що орієнталізм – це минуле, і постколоніальна теорія застаріла, і треба переходити до чогось нового, цікаво дослідити продуктивну гібридність імперських прикордонь. Але яка тепер продуктивна гібридність, коли в Донбасі система Град з одного боку і з іншого боку конкретно окреслює політичні ідентичності?

[1] Ці теми піднімаються у новій книзі С. Єкельчика: Yekelchyk, Serhy. The Conflict in Ukraine. – New York: Oxford University Press, 2015.

Мені здається, що західні колеги, які займалися не Україною, а Радянським Союзом з наголосом на Росії, вони також абсолютно до цього не були готові, не знають, як з цим мати справу, вони не мають чіткого розуміння, що відбувається, чи радше сприйняли традиційні російські стереотипи щодо України. Дивлячись на реакцію в західній пресі, вона також часом якась абсолютно дивна. Що, до речі, цікаво, це Стівен Коен, який у 1970-ті роки шукав альтернативу сталінізму в бухарінському соціалізмові і так далі, стає тепер на бік Росії Путінської, яка ну зовсім не бухарінська[1]. Тобто що тоді, що тепер головним було якось відбілити Росію, хоч би й із зовсім протилежних позицій. Є інші приклади, коли наші західні колеги в сучасній ситуації починають писати колонки в газетах про те, що треба ж зрозуміти і Росію. Стривайте, а чим же ви займалися останні роки, окрім як доводили, що а) конструювання Росії як модерної нації ще не завершилося, вона досі має риси імперські; б) зрозуміти її у такий – великодержавний – спосіб, як ви тепер хочете, неможливо, бо ми ж збиралися рухатися до мікроісторії, гендерної історії, усної історії, а тут знову витягаються зі старого чулану ці великі категорії: глобальні інтереси, імперська гордість, право вето на зміну політичного режиму безпосередніх сусідів.

Це якісь такі пайпсівські категорії, насправді. Я думаю, а чи не в тому причина мовчанки багатьох людей, які писали вже в останні десятиліття про Росію чи СРСР з точки зору будування модерних націй, бо вони не знають, як дати раду з цим. Це Річард Пайпс би мислив у таких категоріях. Саме тому Бжезінський коментує, Кіссінджер ледь не щотижня

[1] Тут йдеться про наступну книгу: Cohen, Stephen F. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938. – New York: Vintage, 1975. Див. також: Лаас, Наталя. Благодійництво як політика знання, або Що очікувати від стипендії імені Стівена Коена? // http://www.historians.in.ua/index.php/avtorska-kolonka/1434-natalia-laasblahodiinytstvo-iak-polityka-znannia-abo-shcho-ochikuvaty-vid-stypendii-imeni-stivena-koena

коментує в західній пресі. Бо для них, людей з тоталітарної школи, звичний поділ «хороша західна демократія, ринок проти поганих совєтів, чи то Росії». Це такий чорно-білий світ, і їм є що тут сказати. А всі інші якось плутаються, тому що вони вже позбулися цього понятійного апарату, бо для них він був предметом дослідження, предметом насмішок також, звичайно.

І починаєш думати, що книжка Ярослава Білинського 1960-х років про другу радянську республіку, про Україну, в цьому сенсі краще схопила б логіку сучасного конфлікту, ніж те, що ми тут писали за останню декаду – завдяки співпадінню концептуального апарату тієї доби із сучасним мисленням російських та українських еліт, по суті імперській ностальгії у перших та зосередженням на своїх інтересах у других[1].

НЛ: Для мене в цьому є також певні паралелі. Я пригадую, читала, про настрої совєтологів відразу після розпаду Радянського Союзу, коли відбувалися десятки наукових зібрань і обговорень з одним лиш нав'язливим питанням: а що ж ми робили не так? чому не передбачили цю подію? Але мене зараз цікавить радше інше. Складається враження, що науковці останнього покоління теж не були позбавлені певної однобокості та зверхності. Існував своєрідний кодекс тих речей, критикувати які принаймні у неформальному спілкуванні було хорошим тоном, чи може й ознакою належності до спільноти, ознакою осучасненості. Ви вже трохи про це згадували. Совєтологія, кремлінологія, імперія, тоталітаризм, «воїни холодної війни» – все це погане, відстале, ретроградне. За столом чи за перекускою ніхто не скаже, що він правий чи націоналіст, адже нормальною є радше ліберальна чи легка лівацька позиція. Іншими словами, як неформальні академічні стосунки всередині спільноти впливають на продукування знання?

СЄ: Я пригадую, був якось на конференції в Європі, і там один дуже цікавий італійський історик почав свій виступ з того, що всі, хто його хоч трохи знають, знають також, як він ненавидить соціалізм та Радянський Союз. Не знаю, як там в Італії, а в Північній Америці таке чітке означення політичної позиції є рідкістю. При цьому всі приблизно уявляють, хто з колег радше правий, а хто радше лівий, і на сесіях та конференціях часто можна завважити, що учасники підібрані здебільшого подібних політичних поглядів. От і на тій конференції більшість так само великої любові до соціалістичного проекту не відчувала.

Загалом, за повоєнний час виник певний розподіл, особливо з 1970-х років, на дослідників Східної Європи, у яких головна робоча мова не російська, а польська, чеська чи там українська, і які назагал негативно ставляться до Радянського Союзу, тому що ідентифікація йде з іншою країною, яка була ним підкорена. Дуже часто вони зв'язані з цією країною і походженням. З іншого боку, дослідники СРСР, в яких друзів та архіви в Росії. Такий поділ є досить помітним. Це не означає, що науковці з обох боків продукують пропаганду, ні, але своєрідне впізнавання своїх відбувається. І не тільки між науковцями, а й самі ці країни реагують відповідно. Подивіться, як приймають у країнах центрально-східної Європи Тімоті Снайдера, насамперед тому, що його аргумент про «криваві землі», що опинилися «між Сталіном і Гітлером», ідеально пасує під тамтешню віктимну модель історичної пам'яті. Це якщо не вчитуватися, звичайно, бо насправді його праці набагато складніші, але у такому вульгаризованому вигляді основний аргумент підходить чудово[1].

[1] Йдеться про книжку: Bilinsky, Yarosav. The Second Soviet Republic: Soviet Ukraine after World War II. – New Brunswick: Rutgers University Press, 1964.

Ми в нашому університеті в Канаді також маємо цей досвід, до речі, коли студенти вперше їдуть до країни, яку вони збираються досліджувати. Цей процес включає в себе відкриття країни, яка тобі страшенно подобається, яку ти хочеш досліджувати, тобі там подобаються люди, ти з ними спілкуєшся, виникає ідентифікація з цією групою. Зважаючи на рейтінги Путіна всередині Росії, для мене зовсім не дивно, що частина західних спеціалістів з російської історії солідаризується не так із офіційним світом Росії, як з думкою більшості росіян.

НЛ: В Канаді вже теж відчувається різниця між східноєвропейськими та радянськими/російськими студіями?

СЄ: Річ в тім, що радянські студії як такі тепер розмиваються щосильніше, і в Канаді зокрема, бо україністи там обіймають чимало посад істориків та політологів, спеціалістів з «Росії». Є, звичайно, й поважна школа соціальної історії. В Канаді є Лін Вайола, яка викладає в Торонтському університеті і вона продукує цілу купу докторантів, які займаються головно соціальною історією 1920–1930-х років, іноді 1940-х.

А поза тим, мені здається, що теперішні канадські спеціалісти з Росії не конче будуть спеціалістами з радянського періоду. Навіть якщо вони будуть спеціалістами з радянського періоду, вони себе не конче так позиціонуватимуть, як радянологи.

І це має щось до діла з тим, що 1917 рік як межа давно вже розмивався, в останні десятиліття – особливо, бо є велике зацікавлення в соціальних і культурних процесах, які перетинають межу 1917 року, а також в речах, для яких радянський досвід не конче визначальний, не

[1] Див. Snyder, Timothy. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. – New York: Basic Books, 2010; укр. переклад: Снайдер, Тімоті. Криваві землі: між Гітлером і Сталіним / пер. Микола Климчук та Павло Грицак. – К.: Грані-Т, 2010.

такий важливий, як загальноєвропейський, але їм радянська модель була в якийсь спосіб цікава. Наприклад, історія проституції, туризму чи щось таке. Міські історики, історики сексуальності, історики селянства теж слідкуватимуть за тенденціями, спільними для Європи.

До певної міри ця тенденція Коткінської школи відстежувати ширші процеси об'єктивно підтримується тим, що Радянський Союз відходить у минуле в плані викладацького досвіду. Курси, які були засновані на періоді 1917–1991 років, більше не викладаються у такій формі. Їх уже ділять, скажімо, на історію Росії першої половини XX століття та історію Росії другої половини XX і XXI століття. Тоді виходить, що Микола II та Перша світова війна опиняються майже завжди в тій самій ділянці, що і Радянський Союз.

Тобто це якась частина європейської модерності, якийсь російський шлях модерності, який не конче визначався радянським досвідом. Тоді Путін також підносить цікаві сюрпризи тим, що йому подобається і Сталін, і Денікін, а це виводить нас у площину російської імперської величі, тобто навіть для цього режиму Радянський Союз не конче є такою відправною точкою розуміння, там імперія Романових також десь присутня.

Я й сам мав з цим проблему, хоч я цей курс більше не викладаю. Коли я його створив, він називався «Радянський Союз та держави-спадкоємці», доходив до 2000-го року. Реальність така, що дуже важко в одному семестрі це розкрити. В більшості університетів він розбитий на два, а то й три семестри. Тенденція до того, щоб починати такий курс раніше, ніж 1917-м роком.

Коткінська школа на цьому акцентувала і Пітер Голквіст, що початок Першої світової війни, заходи, які робить уряд, провіщають те, що люди потім будуть називати тоталітаризмом, але це вже робить царський уряд; що не треба зациклюватися на 1917-му році[1]. Власне, ще ціла школа 1970-х років йшла від того, що досить робити ідеологію визначальною для періодизації. У сучаснішому варіанті це так звучить: давайте подивимося у порівняльному контексті на покоління радянських бебі-бумерів, адже стільки вже написано про західне покоління повоєнних років.

Я ще не читав цієї книжки Дона Ролі про радянських бебі-бумерів, але я з ним говорив, він приїздив до нас давати доповідь, і мені здається, що для них це Космос. З ними, тими людьми, починаєш говорити про те, що визначало той час, і вони всі: ось Космос, ось Гагарін. А американський дослідник каже у відповідь: так, у нас також Космос. І музика та ж. Тобто це покоління бебі-бумерів має багато спільного[1].

[1] Див. Holquist, Peter. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

Відбувається взагалі таке розмивання – це взагалі центральний термін нашої сьогоднішньої розмови – радянології. Вона була компактною у той час, коли Радянський Союз здавався важливою загрозою – військовою та ідеологічною. А от саме розуміння СРСР як ідеологічно чітко визначеної загрози американському способу життя було частиною свого часу. І вже у 1980-ті роки це розуміння розмивалося у потужний спосіб соціальними істориками, а пізніше культурною та лінгвістичною школою. Чим менше уваги надавалося ідеології, тим менш важливими здавалися 1917 та 1991 роки як відправні точки старого-нового.

До певної міри цей Галфінський наголос на мові й Коткінський на більшовицькій розмові двозначний у тому сенсі, що вони іноді його сприймають як такий, що відбиває людську натуру. Анна Крилова про це пише, що це не був ліберальний західний внутрішній світ, це був відмінний радянський, але з іншого боку сама термінологія, цей термін «говорячи більшовицькою мовою», вона підказує, що коли ти говориш цією мовою, це не конче значить, що ти у все це віриш[2]. Коткін ніколи сам, до речі, не наполягав на тому, що, говорячи більшовицькою мовою, ти стаєш більшовиком. Він каже, що це насправді не важливо, важливо те, що тільки її можна вживати у політичному просторі. Або принаймні так я його слова інтерпретую у моїй книжці.

НЛ: Коткін означує це часто як пристосуванство чи необхідність, залишаючи приватний простір внутрішнього світу автономним, тоді як Гелбек застосовує цю ідею щодо внутрішнього світу, який є підпорядкований мові говоріння.

СЄ: Так, і з цим легко загратися, до речі. Соратник Гелбека Галфін в останній книжці бере протоколи допитів у Ленінграді і каже: ось дивіться, його допитують, він зізнається і каже, що «я душею більшовик, але я розумію, що я зробив помилки, і моє серце розривається». Галфін так і аналізує це, як щире виявлення почуттів[3]. Але ж це не значить, що його душа справді плаче. Людина рятується від ГУЛАГу чи від розстрілу, тож брати серйозно ці слова… Тим більше, що іронія в тому, що ці люди досі живуть серед нас, особливо коли йдеться про пізній сталінізм. Можна спитати їх.

[1] Йдеться про книжку: Raleigh, Donald J. Soviet Baby Boomers: An Oral History of Russia's Cold War Generation. – New York: Oxford University Press, 2011.

[2] Krylova, Anna. The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. – 2000. – Vol. 1, no. 1. – P. 119–146.

[3] Йдеться про книгу: Halfin, Igal. Stalinist Confessions: Messianism and Terror at the Leningrad Communist University. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.

НЛ: Трохи про Вашу останню книжку про сталінових громадян. У ній Ви використовуєте концепцію «civic emotions». У якій спосіб ми можемо використовувати історію емоцій для вивчення Радянського Союзу?

СЄ: Ще щось схоже, як і з історією туризму, відкриває цікаве віконце у внутрішній світ того часу. Моє дослідження – про весь світ сталінщини, але через один показовий аспект, як людина мусила в офіційних межах функціонувати, і це одна з тих речей, які давно треба було дослідити в Україні і не конче щодо радянського періоду.

Дуже корисні речі роблять з цією історією повсякдення, так вона називається, здається, те, що Інститут історії України робить і що давно вже треба було осмислити, замість того, щоб тягнути з радянського періоду такі планові теми типу «история классов и социальных слоев в СССР». Вона ще в мої часи була, і до мене була[1].

А насправді для дослідження суспільства по-новому треба пройти всі ці етапи, тобто «нову соціальну історію» 1970-х років, тоді лінгвістичний поворот і теперішнє зацікавлення емоційним світом, світом відпочинку, щоденності особистості. Бо в теперішньому стані нашого українознавства історія емоцій в нас не спрацює, до певної міри тому що вичленити її з джерел, які ми маємо, буде дуже важко. Цікаво, до речі, що до великої міри вона присутня на Заході тепер, тому що там не було цієї обсесії з тоталітаризмом, і тому також, що держава не продукувала цілий той дискурс документальний, цілий масив документів стосовно політичного життя…

Ну, скажімо, Шейла Фіцпатрік написала цю книжку про повсякденний сталінізм наприкінці 1990-х років. Коли починаєш дивитися на цю книжку, то розумієш, що вона абсолютно не така, як історії щоденності деінде, адже вона практично вся зосереджується на взаємодії індивіда та держави[2].

Це зовсім інший вид історії щоденності, й емоції, які присутні в тій документальній базі, це будуть емоції висловлення любові та подяки до товариша Сталіна, і дуже буде важко вичленити щось інше, і навіть якщо щось знайти, то воно все одно буде знаходитися у стосунку до цієї основної емоції. У цьому я й намагався розібратися у цій книзі – емоції «громадянські», бо мало було брати участь у політичному житті (яке я беру у широкому, щоденному вимірі), вимагалося ще й демонструвати щиру відданість. От я й розглядаю, що люди загалом робили і що намагалися ігнорувати. Докладно розглядаю маленькі та великі щоденні ритуали, пов'язані із виборами, парадами, політінформаціями, соцзмаганням та ін.

[1] Йдеться про серію колективних монографій «Історія повсякденності» Інституту історії України НАН України.

[2] Див. Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. – New York: Oxford University Press, 1999.

Час уже розробляти повніше, складніше розуміння сталінщини, без якого не розібратися і в сучасних проблемах України. Бо ми трохи зациклилися на наративі жертви, на тих голодоморах у множині та репресіях, а суспільство лишилося дещо за кадром.

НЛ: Сергію, Ви який історик – український чи канадський?

СЄ: Я навіть не канадський. Я північноамериканський історик України, бо моя спільнота, яка говорить моєю мовою, для якої я пишу, це північноамериканський академічний світ, це ті колеги, з якими я разом розвивався, які зрозуміють те, що я хочу сказати. І мою нову книжку доведеться перейменувати для українського видання.

Я навіть говорив з видавництвом про це, як її назвати, бо «Сталінові громадяни» це не конче буде щось таке, що викличе інтерес в українського читача. По-перше, не зовсім зрозуміло, що мається на увазі, бо на Заході інша концепція громадянства як розуміння певних суспільних практик, і взагалі дослідження суспільних практик майже не розвинене тут як таке.

Моя перша ідея взагалі була «Повоєнний Київ». Всі: ага, це впаде дуже чітко на полиці про києвознавство в книгарнях, де всі книжки від сотні гривень з гарними ілюстраціями, тож треба щось таке на обкладинку і тоді це буде щось там «Політичне життя в повоєнному Києві», і всі розуміють, про що йдеться.

А потім мій редактор каже, може, спробуємо запровадити новий науковий термін українською і назвемо «Щоденний сталінізм». Я кажу, що Фіцпатрік вже написала «Щоденний сталінізм». Він на це: але ж сталінізм розуміється інакше тут в Україні, сталінізм розуміється як така собі політична махіна, і тоді книжка буде про те, як цей гніт політичний, як ця диктатура працювала в щоденному житті.

Тобто треба врахувати, як там це концептуально звучить, як тут це концептуально звучить, і як це перекладається з однієї системи в іншу, щоб стало зрозуміло, що ти пишеш не про злочини сталінізму, не просто про те, як сталінізм гнобив нашу українську націю, а про те, як він працював у щоденності. Тоді це може бути такий проміжний варіант, який спрацює для обох наукових мов і традицій.

Ці дискусії навели мене на думку, що і як я перекладаю, що я пишу для однієї аудиторії, знаходячись в одній традиції і на певному етапі розвитку цієї північноамериканської школи дослідження сталінізму, радянського

досвіду, європейського досвіду XX століття, і як я це перекладаю на мову українознавства українського, в якому в дивний спосіб щоденний сталінізм може означати те саме, що політичні практики там, на Заході. Бо це знову ж таки не та щоденність, про яку писала Фіцпатрік.

Тобто розуміння того, що я це перекладаю, воно у мене присутнє, але це навіть йде з моєї найпершої англійської статті, яка називалася «Тіло та національний міф», надрукованої в Австралії. Коли я повернувся до Інституту історії на рік чи півроку після Австралії і писав якийсь звіт про свої публікації, я довго думав як бути з цим тілом, бо ще в українській академічній традиції початку 1990-х років дослідження тіла викликало би багато питань на звіті відділу та Інституту. Кінець кінцем я нахабно вирішив у річному звіті перейкласти назву цієї статті як «Людина і національний міф». Бо в тому, ще по суті радянському слововживанні людина фактично покривала те значення, яке англійською було б «body», «тіло»[1]. Тобто я розумів, що це смішно, що це скандал до певної міри, але це розуміння методологічного перекладання зі мною лишилося, тільки до нього додалося бажання вибудувати порозуміння між тими світами, запровадити західну методологію в Україні.

Різна мова методологічна, апарат концептуальний, те, як ти визначаєш свої методи дослідження – а тут ти мусиш мати список якихось методів, і потім на захисті всі тебе питають про твої методи, хоч насправді ці методи ніхто не вживає і це не є центральним для твого дослідження. Тобто коли ти починаєш розуміти, що ти перекладаєш не лише в мовному сенсі, але в концептуальному теж, тоді розумієш, що насправді належиш до тієї іншої традиції.

А взагалі, з кожним роком історична наука стає все глобальнішою, транснаціональною, і українські історики, особливо молодшого покоління, на рівних беруть участь у цьому світовому діалозі. Тому стає все складніше говорити про «українську історичну науку» взагалі, бо вона поєднує старе і нове, радянське й західне.

[1] Йдеться про статтю: Yekelchyk, Serhy. The Body and National Myth: Motifs from the Ukrainian National Revival in the Nineteenth Century // Australian Slavonic and East European Studies. – 1993. – Vol. 7, no. 2. – P. 31-60. Укр. переклад (під назвою «Тіло і національний міт: до картини українського національного відродження XIX ст.») увійшов до книжки: Єкельчик, Сергій. Українофіли: світ українських патріотів другої половини XIX століття. – К.: К.І.С., 2010. – С. 19–49.

СПОГАДИ

УДК 378.4(093.3)(477.54)

М. И. Бочаров

«ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ ЖИЗНИ. ВОСПОМИНАНИЯ, НАВЕЯННЫЕ МОИМИ БЕСЕДАМИ С ВНУКАМИ»[1]

Бочаров Михаил Иванович родился в 1922 г. в крестьянской семье. В 1943 г. поступил на исторический факультет Свердловского университета, а в 1944 г. перевёлся в Харьковский государственный университет имени А. М. Горького, который окончил в 1948 г. Занимался профсоюзной и лекторско-пропагандистской работой. Был одним из руководителей Харьковского областного общества «Знание», центрального лектория. Автор ряда публикаций о лекторском мастерстве.

Для публикации отобран тот фрагмент рукописи, в котором речь идёт о годах обучения на историческом факультете Харьковского университета. Воспоминания ценны характеристиками конкретных лиц, а также описаниями университетской жизни того времени.

[…] Я появился в университете вскоре после возвращения его из эвакуации.

В университете обучалось 355 студентов, работало 98 преподавателей, в том числе 16 профессоров и 37 доцентов. На конец 1943–1944 учебного года с возвращением из Кзыл-Орды[1] последней группы студентов их число составило 585 человек. На нашем 1 курсе исторического факультета было 42 студента, из них 10 ребят, остальные – девушки.

Сначала деканом исторического факультета был К.Г. Мигаль[2], а потом профессор Н.М. Пакуль[3].

В результате военных действий и двухлетнего хозяйничанья немецких оккупантов город Харьков и университет были сильно разрушены.

Гитлеровцы превратили в руины сотни промышленных предприятий города, взорвали и уничтожили электростанции, железные дороги, почту и телеграф, разрушили здания учебных заведений, больниц, музеев, библиотек, театров, дворцов и домов культуры.

Битва за город Харьков превратила 1600 тыс. квадратных метров жилья в развалины, вывела из строя водопровод, канализацию, трамвайное и троллейбусное хозяйство.

[1] Текст печатается на основании электронного варианта рукописи, переданного доктором философских наук, профессором ХНУ имени В. Н. Каразина С. А. Заветным. Комментарии подготовил С. М. Куделко

В университете было разрушено около 60% учебных помещений, разграблены лаборатории, уничтожен археологический музей, вывезено оборудование.

В первое время после возобновления деятельности университета главной заботой его коллектива было восстановление и оборудование учебных и жилых помещений. В ремонте аудиторий и общежитий участвовали все – преподаватели, студенты, сотрудники.

Условия были тяжелыми, во многих аудиториях не было освещения и отопления, в окнах – стекол. В худших условиях находился наш истфак, который в 1944 – 1945 учебном году несколько раз менял свое местопребывание. Вначале мы размещались в корпусе на ул. Совнаркомовская, 15[4]. Осенью нас перевели на биологический факультет, где занимались во вторую смену, а во втором семестре 1944–1945 учебного года вновь вернулись на Совнаркомовскую.

После непродолжительного пребывания у тети Муси я жил в полуразрушенном помещении научно-исследовательского института математики по ул. Чайковского. Вскоре в учебном корпусе по ул. Совнаркомовская, 15, было выделено 3 комнаты для участников войны. В одной из них в течение учебного года я жил с Иваном Рыбалкой[5] и Петром Филатовым[6]. Отопления не было. Приходилось добывать дрова, использовать буржуйку.

С наступлением весны 1945 года пришло тепло в аудитории и в общежития, потеплело на сердцах у людей.

С великой радостью было встречено сообщение о капитуляции нацистской Германии. Мы в своей комнате услышали о победе в сообщении Левитана по радио около половины второго ночи, схватились с кроватей и побежали на площадь Дзержинского[7]. Там уже была масса ликовавших людей. Они приветствовали и поздравляли друг друга с победой.

Все прежние сомнения рассеялись. Я взялся за учебу с большим энтузиазмом, овладел искусством конспектирования лекций и на русском и на украинском языках. Это было очень важно, так как конспекты зачастую были единственным источником. Учебников, как правило, не было.

Студентам нравились лекции по древней истории профессора Семена Анатольевича Семенова-Зусера[8], вызывавшие живой интерес к истории Востока, Греции и Рима. Сидя за высоким столом, из-за которого едва выглядывала его голова и верхняя часть туловища, он читал лекции довольно образно, весь поглощенный излагаемыми событиями, артистически жестикулируя руками, особенно, когда рассказывал о военных действиях. Оригинально вел курс лекций по русской литературе

доцент Николай Федорович Зверев[9]. Его лекции звучали напевно и мелодично. Глубоким содержанием были наполнены лекции по истории Средних веков декана факультета Николая Макаровича Пакуля, хотя по форме они были несколько академичными.

Преподавали у нас Короливский Степан Мефодиевич[10] (История Украины), Сапожникова Гита Абрамовна[11] (Новая история), Мамалуй Александр Прокофьевич[12] (Политическая экономия), а также Макридин[13] (Латинский язык). Любимцем всех студентов был преподаватель истории СССР Дмитрий Андреевич Введенский[14].

В 1944-1945 учебном году, будучи студентом второго курса, я окончательно врос в студенческий коллектив. Меня избрали председателем профкома исторического факультета. В это время ректором университета был избран известный биохимик, академик Академии наук УССР, Буланкин Иван Николаевич[15], человек доброжелательный и вместе с тем строгий руководитель, преданный науке и университету.

[…]

В октябре 1945 года я был избран председателем профкома университета.

Общественная работа увлекла своей ответственностью и масштабностью. Кроме того, она давала мне и материальную поддержку.

Налаживание быта студентов, субботники и воскресники, организация еженедельных выездов в подшефные колхозы для оказания помощи в уборке урожая – все это занимало больше времени и сил, чем сама учеба.

Будучи председателем профкома, я являлся одним из организаторов отоваривания хлебных карточек, работы столовой, добывания и выделения для студентов промтоварных талонов на обувь, одежду, ткани и др.

Большое место в работе университета занимали сельхозработы. Весной, летом и осенью студенты регулярно направлялись на работу в подшефные колхозы и совхозы. Кроме того, за университетом был закреплен (как подсобное хозяйство) совхоз на Дальней Журавлевке.

Далеко не все студенты, особенно харьковчане, охотно ездили на сельхозработы, в связи с чем применялись меры не только общественного, но иногда и административного воздействия.

По этому поводу на историческом факультете родилась песня, в которой фигурирует зам. Декана факультета И.К. Рыбалка. Из этой песни мне запомнились слова:

Наш Рыбалочка сидит,
Списки длинные строчит

И пришедшему студенту говорит:
“Поезжайте Вы в колхоз
зарабатывать овес.
Пуда два овса Вам в зиму пригодится.
Знайте, если есть хвосты,
От колхоза не уйти… и т. д.

Студенты университета принимали активное участие в восстановлении, а затем в разборке мусора после сноса разрушенного здания Дома культуры Красной Армии[16] на улице Университетской, в расчистке территории, занимаемой ранее автопарком и посадке деревьев на месте нынешнего сквера Победы.

Здесь произошла забавная история с возведением в сквере памятного обелиска «Стеклянная струя», затягивавшемся по срокам. С ним было связано отстранение от этих обязанностей председателя Горисполкома Сачко и его заместителя по строительству Задоренко. Ответственность взял на себя первый секретарь обкома партии В.М. Чураев[17]. После завершения этой работы «Стеклянную струю» в народе стали называть – «Бахчечураевский фонтан без Сачка и Задоринки»[18].

Чураев слыл деспотичным человеком, позволял себе грубость в отношении коммунистов. Пришлось и мне быть свидетелем его нрава.

Однажды поздним вечером ректора и меня пригласили в обком к Чураеву. Сидели в приемной очень долго, И.Н. Буланкин очень нервничал. Наконец среди ночи нас пригласили. Заходим в кабинет. Впереди мощная фигура Буланкина, а за ним я. Слышу, как на ректора с ходу, с грубыми и бранными словами набросился Чураев, рядом с которым сидел его порученец. И.Н. Буланкин был человеком, который не мог оставаться в долгу. В ответ на грубость, молча, не оправдываясь, он направился к столу хозяина кабинета, взял со стола стеклянную чернильницу и со словами, сопровождавшимися не менее сочным матом: «Какой … тебя сюда посадил», – поднял руку. Порученец спохватился, Чураев с перепугу пробормотал слова примирения, но Буланкин тут же развернулся, сказал мне: «Пойдем отсюда», – направился к выходу, я за ним.

Разговор не состоялся. Мне оставалось только предполагать, что вызов, очевидно, был связан с выборами в Верховный Совет СССР, а я приглашен как доверенное лицо кандидата в депутаты. Инцидент для Буланкина остался без последствий.

Время было трудное. Не только студентам, но и преподавателям было тяжело. Длительное время, получая хлеб по карточкам, студенты и преподаватели не всегда могли их отоварить. По инициативе профко-

ма, его бытовая комиссия с участием группы фронтовиков обратилась в Горторготдел с требованием обеспечить отоваривание хлебных карточек. Нам ответили, что хлеб есть, но нет средств доставки. Если вы организуете доставку хлеба с хлебозавода на Холодной Горе и отоваривание карточек, то будете с хлебом.

Возник вопрос, где взять транспорт, а главное будку для доставки хлеба. Перед группой студентов была поставлена задача – прочесать город, достать колеса и материал для будки. Вскоре проблема была решена, студенты по очереди впрягались в это нехитрое сооружение. Все остальное было делом техники и сообразительности. На территории университета нашлось место для складирования и хранения хлеба, а добровольцы-хлеборезы успешно осуществляли отоваривание хлебных карточек и отчитывались перед Горторготделом.

Таким же путем был решен более сложный вопрос организации столовой, доставки овощей, приготовления пищи. С помощью ОРСа (заведующий Штракс) организацию основной технической работы взяли на себя студенты. Жизнь стала налаживаться. Довольны были и студенты, и преподаватели. Это был период особой близости и дружбы между ними. Трудности жизни сплачивали. Преподаватели часто приглашали студентов к себе домой, на чай, регулярно посещали общежития.

Через профком проходили основные нити оказания материальной помощи студентам (распределение одежды, путевок для оздоровления, денежной помощи). При этом помощь оказывалась не тем, кто просил, а тем, кто больше в ней нуждался. Это было главным критерием в решении этих вопросов. Интересы студентов для профкома были непререкаемы.

Помню, однажды пригласил меня к себе в рабочий кабинет ректор Иван Николаевич Буланкин. Поступила в университет для студентов добротная ткань синего цвета. Администрация университета решила изготовить из этой ткани халаты для технического персонала. Нужно было согласие профкома. Я категорически сказал: «Нет». Возмущению ректора не было предела, я устоял. Узнав об этом, ребята из профкома единодушно высказались, что после этого мне остается сказать: «Прощай университет». Но не таким был И.Н. Буланкин. Прямой и резкий по натуре, это был в высшей степени справедливый человек. Его громоздкая и суровая фигура вызывала и страх, и уважение преподавателей и студентов. Прецедент, происшедший со мной, был оценен ректором по-своему. С тех пор я почувствовал с его стороны внимание, уважение и симпатию.

Остро стоял вопрос об общежитиях. Профком решил заслушать проректора по АХЧ Н. Фомичева[19]. Обратились к ректору.

Вопрос об общежитиях поставили на ученом совете. Доклад Фомичева продолжался не долго. И.Н. Буланкин прервал его словами: «Кончай, Никита, и так уже всем очевидно, что твое хозяйство держится на пресных соплях». Так я услышал из уст ученого выражение «на пресных соплях», которого ни до, ни после никогда больше не встречал. Но делу оно помогло. Цель была достигнута.

Как я уже упоминал, за время учебы мне пришлось жить в разных общежитиях: на Толкачевке в помещении НИИ математики, в учебном корпусе по улице Совнаркомовская, 25, где размещались исторический, филологический и геолого-географический факультеты. На Совнаркомовской мы занимали одну комнату на троих: Рыбалка Иван Климентьевич (теперь доктор исторических наук, профессор) – студент старшего курса, и я с Филатовым Петром Кузьмичом – однокурсники, составляющие «гарнизон» во главе с его командиром Филатовым. Дежурными по гарнизону был каждый из нас по очереди, задачи которого состояли в том, чтобы проверить выполнение заданий, разбудить, накормить, чем мог, блюсти чистоту. Много приключалось разных историй. Рыбалка любил поспать и по этой причине однажды не накормил гарнизон завтраком. Тут последовал приказ начальника гарнизона облить виновника холодной водой в постели. Приказ поручено выполнить мне. Я отличился тем, что забыл вовремя снять с электроплиты варившуюся фасоль. Весь учебный корпус пропах сгоревшим завтраком, гарнизон отправился на занятия голодным. Начальник гарнизона был щеголеватым лейтенантом, обращался с нами только на «Вы» и всегда пропадал на танцах в рядом находящемся клубе милиции.

Последние годы я проживал в общежитии на улице Артема, 49[20], в комнатке в торцевой части корпуса на втором этаже со студентом экономфака Юрой Тереховым[21], а затем со своей женой и родившейся здесь 3 декабря 1949 года дочерью Олей.

Сейчас в этом четырехэтажном здании размещается Киевский районный отдел милиции[22].

Жизнь в общежитии проходила интересно. В красном уголке на 1 этаже каждое воскресенье и в праздничные дни проводились игры, шахматно-шашечные соревнования, танцы. Душой студентов был комендант общежития Александр Андреевич и его приветливая жена Нина. Жили они в небольшом одноэтажном домике на ул. Маяковского, примыкающем к зданию общежития. Здесь в его квартире состоялась наша скромная свадьба, на которой присутствовали мои друзья – Вася Довгопол, Сева Шило, Нина Головко, Саша Кожевников, Федя Друзь, Августа Волкова[23], друзья и подруги невесты Веры Васильевны.

Из всех жильцов общежития выделялось несколько студентов разных курсов и факультетов, группировавшаяся вокруг студента-историка Саши Кожевникова, а вернее, вокруг его жены – всегда любезной и гостеприимной хохлушки-хохотушки Галины и их очаровательной малышки Светы, любимицы всего общежития. Молодая семья Кожевниковых размещалась в небольшой комнате на втором этаже торцевой части здания, так же, как и мы, только с обратной стороны. Несмотря на загруженность общественной работой, я нередко примыкал к этой компании. Объединяла нас потребность помочь друг другу. По-разному сложилась судьба каждого из нас. Знаю, что Саша Кожевников после окончания университета навсегда обосновался в г. Лозовая Харьковской области, был директором школы, зав. районо. Галя обзавелась детьми, внуками и правнуками. Их малышка Светлана окончила пединститут, работает учительницей, имеет своих детей и внуков.

[…]

Однако вернемся к работе профкома.

Не только вопросы быта студенчества занимали профком. Проводилась большая для того времени культурно-массовая и воспитательная работа. Под патронажем профкома находился коллектив художественной самодеятельности и его кружки: народных инструментов, танцевальный, хорового пения, духовой оркестр, под звуки которого каждое воскресенье в актовом зале устраивались танцевальные вечера. Душой и опорой в организации этой работы была старшая машинистка, незабвенная Наталья Васильевна. Регулярно организовывались культпоходы в театры.

Мимо профкома не проходили случаи нарушения дисциплины, аморального поведения отдельных студентов. В целях более эффективного воздействия на провинившихся на заседания профкома приглашались старшие товарищи из числа преподавателей. Одним из них был декан филологического факультета, блестящий оратор и моралист Петр Артемьевич Рева[24]. Порой его выступления в осуждение аморальных поступков пробирали «до костей» не только допустивших те или иные поступки, но и нас, членов профкома. К сожалению, этот моралист-воспитатель сам оказался в высшей степени аморальным человеком. А узнали мы об этом позже.

[…]

Профком уделял большое внимание участию студентов в спорте, развитию его материальной базы, за что я был удостоен почетной грамоты областного спортивного общества «Наука».

Профком университета пользовался большим авторитетом, его председатель был постоянным участником ученого совета, принимал в

его работе активное участие. В своем видавшем виды заношенном кожушке я слыл среди студентов «Павкой Корчагиным»[25].

Активное участие в работе профкома принимали: Володя Сивков – ответственный секретарь профкома (биолог), Коля Семейкин – председатель культурно-массовой комиссии (экономист), Таня Константинова – казначей (химик), Саша Кожевников – техсекретарь (историк) и другие[26], большой факультетский актив.

Профком работал в тесном контакте с комитетом комсомола, который возглавляла очаровательная Валентина Козлова[27].

Постоянное внимание и поддержку нам оказывал ректор университета И.Н. Буланкин, секретари парткома А.А. Воскресенский[28], В.Н. Петров[29], И.М. Поляков[30]; деканы факультетов А.Т. Давыдов[31] (химфак), Н.М. Пакуль (истфак), В.И. Махинько[32] (биофак) и др.

У меня были хорошие отношения с многими работниками ректората, проректорами по учебной и научной работе Н.А. Измайловым[33] и Д.П. Назаренко[34], ученым секретарем, доброй и требовательной, Раисой Дмитриевной Иванченко[35], начальником спецчасти Марией Петровной Жуковой[36] и др. Хорошо запомнилась секретарь приемной ректора Нина Сергеевна Бутакова[37], выделявшаяся своей неутомимой энергией и звонким голосом.

На первом отчетно-выборном собрании профсоюзной организации, состоявшейся в театре оперы и балета, я выступил с отчетным докладом. В президиуме – ректор И.Н. Буланкин, секретарь парткома В.Н. Петров, представители ЦК и республиканского комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений. Обсуждение доклада проходило бурно, желающим выступить не было конца. Большую бурю в зале вызвал вопрос, связанный с оценкой работы профкома. Секретарь парткома настаивал оценить работу профкома удовлетворительной, а участники собрания требовали только отличной оценки. Раздавался шум, выкрики с мест, топот ногами. Прошло компромиссное решение – работу профкома признать удовлетворительной, а его председателя – отличной. Я единогласно был избран председателем профкома на новый срок.

30 августа 1946 года я был награжден медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Тем временем в общежитие на улице Артема, 9, где я проживал, прибегает рассыльный и сообщает, что меня приглашает ректор. И.Н. Буланкин сообщил, что его вместе со мной вызывают в Москву, и передал мне приглашение на совместное заседание Президиума Академии наук СССР и пленума ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений с повесткой дня:

– Доклад Президента Академии наук СССР С.И. Вавилова[38] о пятилетнем плане развития науки в СССР.

– О работе профкома Харьковского государственного университета. Докладчик – председатель профкома университета М.И. Бочаров.

Я с большим волнением готовился к докладу. В связи с предстоящей поездкой в Москву ректор пригласил начальника ОРСа Штракса[39], попросил его изыскать два отреза на костюмы для него и для меня и пошить их в университетской швейной мастерской.

Отрезы коричневого коверкота по три метра каждый были переданы в мастерскую, которая находилась в здании теперешнего гастронома на Университетской. Сняты мерки, костюмы к отъезду в Москву готовы. Но произошло чудо. Костюм на И.Н. Буланкина с его мощными габаритами пришелся в пору, а мой на меня не налез. Досталось от ректора и Штраксу и мастеру, раздавались громы и молнии. Но исправить положение было уже поздно, и мне пришлось ехать в Москву в старом костюме, доставшемся мне из американского благотворительного фонда.

Пленум состоялся в Московском Доме ученых. Мы с Буланкиным сидели рядом в третьем ряду слева. После доклада С.И. Вавилова, который в отведенные для него сорок пять минут доложил о пятилетнем плане развития науки в СССР, слово было предоставлено мне. Регламент для моего доклада один час, но я, увлекшись критикой администрации университета, в него не вложился. Пришлось просить еще десять минут. Несмотря на это, мое выступление было принято одобрительно, особенно участвовавшими председателями профкомов университетов страны, сочувствовавшими общности переживаемых студентами трудностей. После критики в докладе своей администрации, я подсаживался к Буланкину в смущении. Но его слово «молодец» и тут же подаренная мне книга Лукреция Кара «О природе вещей» успокоили меня, волнения утихли. В этом весь Буланкин.

На следующий день председателям профкомов в своем просторном кабинете был назначен прием Министром высшего образования СССР Кафтановым Сергеем Васильевичем[40].

Встреча была теплой, дружественной. Министр хотел услышать от нас всю правду о положении в университетах, о наших бедах и трудностях. В заключение он поблагодарил нас за содержательный и откровенный разговор и дал добро на просьбу организовать для нас посещение Кремля. В то время это было не просто. Для оформления документов нам пришлось задержаться на целую неделю, которая была заполнена содержательной культурной программой, организованной профкомом МГУ.

Посещение Кремля, ознакомление со всеми его достопримечательностями было для нас незабываемым событием. Зрелище было потрясающим. Чего стоил только Большой Кремлевский дворец с его парадными залами (Георгиевским, Владимирским, Екатерининским), с апартаментами, богато украшенными лепниной, росписями, статуями, декоративными вазами, художественной мебелью. Глаза разбегались, когда мы зашли в Оружейную палату. В многочисленных залах здесь представлены образцы холодного и огнестрельного оружия, золотые и серебряные изделия, вышивки, ткани и одежда, посольские дары. В самых живописных залах Конюшенной казны представлены седла, попоны и другие изящные убранства царских лошадей, старинные кареты. Чтобы осмотреть все это, одного дня было мало. Я решил вновь вернуться в Кремль, как только представиться возможность.

Вскоре после возвращения из Москвы, в мае 1947 года, состоялась отчетно-выборная конференция обкома профсоюза высшей школы и научных учреждений, на которой я присутствовал в качестве члена правления и делегата от университета. Выступивший с отчетным докладом председатель обкома П.А. Моргун[41] говорил о многом, в том числе очень пространно о работе общества рыболовов и охотников (председатель – профессор Аверин[42]), но забыл о студентах, входящих в этот профсоюз. Это возмутило нашего брата, и я в своем импровизированном каламбуре удачно критически обыграл этот факт и в “наказание” был избран членом пленума и ответственным секретарем обкома профсоюза, делегатом республиканского и всесоюзного съездов. После моего избрания ответственным секретарем обкома профсоюза председателем профкома университета стал Сева Шило, его сменили Женя Колмогоров[43], а затем Борис Данилевич[44].

[…]

Возвратившись в Харьков , стал готовиться к отчетно-выборной конференции профсоюза, которая была назначена на 8 мая 1948 года – в день защиты дипломной работы. Защита диплома проходила под председательством директора Государственного архива Октябрьской революции и госстроительства, зав. кафедрой Новой истории университета, доцента А.Д. Скабы[45]. Я получил отличную оценку, а руководитель дипломной работы доцент Немирова Анна Ефимовна[46] доложила, что моя работа при незначительной доработке может стать кандидатской диссертацией.

Успешно прошла и областная профсоюзная конференция. Меня избрали членом правления, но не ответственным секретарем, как предполага-

лось накануне. На пленуме было сказано, что это вызвано моим переходом на работу в обком партии. Я поверил и ожидал приглашения в обком, но это был обман. В отделе кадров в обкоме, куда я обратился, сказали, что все течет и меняется. Вы были нужны профсоюзам и комсомолу, а теперь ищите работу сами. Я остался не у дел и без назначения на работу, так как накануне Министерство просвещения Украины удовлетворило просьбу обкома профсоюза об оставлении меня на профсоюзной работе.

Я обратился к ректору университета И.Н. Буланкину, рассказал ему о случившемся. Он, как всегда бурно возмутился, успокоил меня и тут же позвонил в профком, предложил зачислить меня заведующим студенческим клубом и командировать в Москву в мой родной профсоюз для решения вопроса о выделении оборудования для студенческого клуба, которого как такового в университете не было. […]

Комментарии:

[1] Кзыл-Орда — областной центр Казахстана. В годы Второй мировой войны, в 1941–1943 гг., здесь размещался Объединённый Украинский государственный университет в составе Киевского и Харьковского университетов.

[2] Мигаль Кирилл Григорьевич (1904–1979) — историк, кандидат исторических наук, доцент. В 1943–1944 гг. — декан исторического факультета ХГУ.

[3] Пакуль Николай Макарович (1880–1953) — историк, доктор исторических наук, профессор. В 1933–1937 гг. и в 1944–1947 гг. был деканом исторического факультета ХГУ.

[4] Совнаркомовская — современное название — Жён Мироносиц.

[5] Рыбалка Иван Климентьевич (1919–2001) — историк, доктор исторических наук, заслуженный профессор, лауреат Государственной премии УССР (1985), заслуженный деятель науки и техники Украины (1989), академик и вице-президент Украинской академии исторических наук.

[6] Филатов Пётр Кузьмич — студент исторического факультета ХГУ.

[7] Площадь Дзержинского — современное название — площадь Свободы.

[8] Семёнов-Зусер Семён Анатольевич (1887–1951) — историк, доктор исторических наук, профессор.

[9] Зверев Николай Фёдорович (1893–1956 (?)) — литературовед, кандидат филологических наук, доцент. В 1936–1956 гг. работал в Харьковском университете.

[10] Короливский Степан Мефодиевич (1904–1976) — историк, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины (1969).

[11] Сапожникова Гита Абрамовна (1903–1992) — историк, кандидат исторических наук, доцент.

[12] Мамалуй Александр Прокофьевич (1909–1983) — экономист, кандидат экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Украины, заведующий кафедрой политэкономии Харьковского университета (1934–1980).

[13] Макридин Пётр Ефимович (1888–1947) — классический филолог, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой классической филологии (1944–1947).

[14] Введенский Дмитрий Андреевич (1909–1955) — историк, кандидат исторических наук, доцент.

[15] Буланкин Иван Николаевич (1901–1960) — биохимик, академик АН УССР, ректор Харьковского университета в 1945–1960 гг.

[16] Дом культуры КА — располагался в Харькове на ул. Университетской. Разрушен в годы Второй мировой войны.

[17] Чураев Виктор Михайлович (1904–1982) — экономист, секретарь Харьковского обкома и горкома КП(б)У (1944–1950). В последующем — на ответственной работе в ЦК КПСС и Комитете народного контроля СССР (1951–1982).

[18] Автор ошибается: бассейн и беседка с фонтаном «Стеклянная струя» (или «Зеркальная струя») были построены в 1947 г., а Пётр Петрович Сачко (1901–1962) был избран председателем Харьковского горисполкома в 1948 г. (руководил городом в 1948–1950 гг.).

[19] Фомичёв Никита М. — проректор по административно-хозяйственной части ХГУ.

[20] Артёма, 49 — современное название — Алчевских, 49.

[21] Терехов Юрий Иванович (1924–1985) — экономист, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета Харьковского университета в 1953–1970 гг., заслуженный работник высшей школы Украины.

[22] Киевский районный отдел милиции — располагается на ул. Алчевских, 49 (Артёма, 49).

[23] Вася Довгопол, Сева Шило, Нина Головко, Саша Кожевников, Федя Друзь, Августа Волкова — студенты исторического факультета, в основном, 1949 года выпуска. Довгопол Василий Никитович (1919–1981) — историк, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины (1985, посмертно). Декан исторического факультета в 1963–1964 гг.

[24] Рева Пётр Артемьевич (?–?) — филолог, кандидат филологических наук, доцент, декан филологического факультета (1943).

[25] Павка Корчагин — литературный герой романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь».

[26] Володя Сивков, Коля Семейкин, Таня Константинова, Саша Кожевников – активисты профкома университета во второй половине 1940-х гг. Семейкин Николай Степанович (1919–1992) — экономист, кандидат экономических наук, профессор Харьковского инженерно-экономического института.

[27] Козлова Валентина — секретарь комитета комсомола ХГУ.

[28] Воскресенский Александр Александрович (1895–1995) — историк, экономист, кандидат исторических наук, профессор, декан экономического факультета ХГУ.

[29] Петров Владимир Николаевич (1895–1970) — зоолог, кандидат биологических наук, доцент. Был деканом биологического факультета ХГУ.

[30] Поляков Илья Михайлович (1905–1976) — биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР (1948), заслуженный деятель науки Украины (1965).

[31] Давыдов Александр Тимофеевич (1906–1976) — химик, доктор химических наук, профессор, декан химического факультета в 1942–1944 гг., проректор ХГУ по учебной работе (1933).

[32] Махинько Владимир Иванович (1907–1982) — биолог, кандидат биологических наук, профессор, проректор Харьковского университета по научной работе (1952–1953) и учебной работе (1953–1963), заслуженный работник высшей школы Украины.

[33] Измайлов Николай Аркадьевич (1907–1961) — физико-химик, член-корреспондент АН УССР (1957), лауреат Государственной премии СССР (1973, посмертно). В 1928–1941 гг. и в 1944–1961 гг. работал в Харьковском университете. Проректор по научной работе ХГУ (1948–1952).

[34] Назаренко Дмитрий Павлович — геолог, кандидат геолого-географических наук, доцент, проректор по учебной работе Харьковского университета.

[35] Иванченко Раиса Дмитриевна (1926–1993) — филолог, учёный секретарь ХГУ (1951–1993).

[36] Жукова Мария Петровна (1909–?) — выпускница химического факультета ХГУ, начальник 1-го отдела ХГУ (1937–1974).

[37] Бутакова Нина Сергеевна (?–2014) — филолог, работник центрального аппарата управления университета.

[38] Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) — физик, академик АН СССР (1932), президент АН СССР в 1945–1951 гг.

[39] Штракс — заведующий отделом рабочего снабжения.

[40] Кафтанов Сергей Васильевич (1905–1978) — председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, министр высшего образования СССР (1946–1951), 1-й зам. министра культуры СССР (1951–1962).

[41] Моргун П. А. — председатель Харьковского обкома профсоюза высшей школы в 1940-е гг.

[42] Аверин Виктор Григорьевич (1885–1955) — биолог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

[43] Колмогоров Евгений Иванович — историк, философ, кандидат философских наук, доцент.

[44] Данилевич Борис Филиппович (1921–?) — экономист, кандидат экономических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации, заслуженный преподаватель Харьковского университета.

[45] Скаба Андрей Данилович (1905–1986) — историк, кандидат исторических наук, профессор, академик АН УССР (1967), министр высшего и среднего специального образования УССР (1959), директор Института истории АН УССР (1968–1973), секретарь ЦК Компартии Украины (1959–1968).

[46] Немирова (Немирова-Фаризон) Анна Ефимовна (1904–после 1984) — историк, кандидат исторических наук, доцент.

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Л. М. БАТКИН: МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Фото из личного дела Л. М. Баткина

29 ноября 2016 г. в Москве скончался известный историк культуры и литературовед, доктор исторических наук Леонид Михайлович Баткин (29.06.1932–29.11.2016). Свои детские и юношеские годы он провёл в Харькове. Здесь же началась его педагогическая деятельность. Отец будущего историка был юристом, а мать — музыкантом. Перед войной они проживали на главной улице столичного Харькова — Карла Либкнехта (Сумская), 27. Дом сохранился.

В 1955 г. Л. М. Баткин с отличием окончил исторический факультет Харьковского государственного университета имени А. М. Горького.

Дело студента Л. М. Баткина (включая зачётную книжку) хранится в архиве Харьковского университета[1] и включает в себя документы, относящиеся к этому периоду его жизни и деятельности. Зачётная книжка, как и его аттестат зрелости, содержит, в основном, отличные оценки. Представляет интерес графа «Знание языков» в личном листке по учёту кадров. Студент Л. М. Баткин отмечает своё хорошее знание итальянского и французского языков и плохое — немецкого. Кроме того, обучаясь на историческом факультете, он изучал древние языки: латынь, древнегреческий и древнерусский.

Из преподавателей Леонида Михайловича сегодня в Харькове проживает классический филолог, доц. М. С. Лапина, которая преподавала латинский и древнегреческий языки. Он остался у неё в памяти как

[1] Архив ХНУ имени В. Н. Каразина. Дело № 2236. Баткин Леонид Михайлович.

вдумчивый студент с широкой общекультурной подготовкой. Как деталь его обучения на факультете, она вспоминает свои поездки со студентами на экскурсии в Ясную Поляну, Спасское-Лутовиново, в которых принимал участие и Л. М. Баткин.

Свою дипломную работу «Данте — провозвестник гуманизма» он защитил на «отлично». Его руководителем была медиевист, доц. Л. П. Калуцкая (1921–1983), которая, в свою очередь, была ученицей проф. Н. М. Пакуля (1880–1953). Эту работу некоторые преподаватели считали близкой по уровню к кандидатской диссертации.

После окончания университета Л. М. Баткин поступил на работу в консерваторию на должность преподавателя итальянского языка. Со временем стал преподавателем эстетики. Сохранились весьма позитивные отзывы о Леониде Михайловиче как преподавателе. Не только высокий уровень преподавания, но и созданный им «клуб любителей искусств», литературные вечера, посвящённые Данте, Бодлеру, Верлену и другим классикам, оставили след в душе тех, кто их посещал. В 1959 г. в Москве он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Данте и политическая борьба во Флоренции конца XIII — начала XIV веков».

В 60-е гг. прошлого столетия в консерватории (а после её объединения в 1963 г. с театральным институтом — Институте искусств имени И. П. Котляревского), на кафедре общественных наук сложился своеобразный кружок «шестидесятников» (философ Г. Н. Садовский, историк Б. В. Ветров и др.), куда входил и Леонид Михайлович. В тот период его за глаза называли студенты и преподаватели «аристократом»[1].

Из комплекса документов мы публикуем две его автобиографии, характеристику и фотографию. В текстах устранены описки и технические ошибки.

Автобиография

Я родился в г. Харькове в 1932 году. По национальности — еврей. Отец мой — юрист, старший преподаватель школы следователей Прокуратуры СССР, мать — музпедагог. Репатриированных и репрессированных в семье нет.

В 1940 году поступил во 2-й класс 6-й школы г. Харькова. В 1941 году эвакуировался с матерью в Казахстан, где и продолжал учёбу. Отец во

[1] Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня заснування Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського / ред. Т. Б. Вєркіна та ін. — Х.: Харк. держ. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського, 2007. — С. 304.

время войны был в армии в распоряжении военной прокуратуры. В Харьков я вернулся в 1944 году и поступил в 49 ср. школу для продолжения обучения. В 1946 году вступил в ВЛКСМ. В июне этого года закончил 49 среднюю школу с серебряной медалью.

[подпись]

1/VII 50 г.

Автобиография

Я, Леонид Михайлович Баткин, родился 29 июня 1932 г. в городе Харькове в семье служащего.

В 1940 г. поступил во второй класс 6-й средней школы г. Харькова. В сентябре 1941 г. вместе с матерью эвакуировался в Казахстан (г. Кзыл-Орда). Вернувшись из эвакуации в 1944 г., поступил в 49-ю среднюю школу г. Харькова, которую закончил в 1950 г. с серебряной медалью.

В том же 1950 г. поступил на исторический факультет ХГУ, где занимаюсь в настоящее время на V курсе. С 1946 г. являюсь членом ВЛКСМ.

Мать, Юдрина Евгения Яковлевна[1], работает музыкальным инструктором в детсаду фабрики «Красная нить». Отец, Баткин Михаил Яковлевич[2], свыше двадцати пяти лет работал в органах прокуратуры (последняя должность – пом. прокурора Харьк. области); в настоящее время– пенсионер.

Родственников за границей и репрессированных – не имею[3].

[подпись]

12 ноября 1954 г.

Характеристика

Баткин Леонид Михайлович, 1932 года рождения, еврей, из служащих, член ВЛКСМ с 1946 года.

Во время Великой Отечественной войны с IX. 1941 г. по 1944 г. находился в эвакуации в г. Кзыл-Орда /Казахстан/.

В сентябре 1950 года тов. Баткин поступил на I-й курс исторического факультета Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького. За время пребывания в университете проявил себя как способный студент, учился только на «отлично». Будучи дисциплинированным студентом, он добросовестно относился к выполнению своих обязанностей.

В общественной работе факультета принимал участие, особенно в деятельности студенческого научного общества, был членом комсомольского бюро факультета.

Тов. Баткин закончил педагогическую практику на «отлично» и рекомендуется в аспирантуру.

Декан исторического ф-та	Секретарь партбюро
Харьковского госуниверситета	факультета
им. А. М. Горького	[подпись]
[подпись, печать]	
/доц. Слюсарский А. Г./	/канд. наук Астахов В. И./

30. III. 1955 г.

Комментарии

[1] Проживала по адресу: Харьков, ул. Гоголя, 5.

[2] Похоронен в Харькове, на 2-м городском кладбище (ул. Пушкинская, 102).

[3] Эта строчка и дата написаны другой ручкой (дописаны).

Подготовка к публикации, вступительная часть и комментарии С. М. Куделко

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРА ІМПЕРАТОРСЬКОЇ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

Рец на кн.: Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом : коллект. моногр. в честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А.Н. Дмитриев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2012. – 551 с.

Концепт «історична культура», що виник на перехресті культурології, історіографії та історії суспільної думки належить до тих виразних новацій в гуманітаристиці, що заслуговує на увагу українського цеху істориків хоча б задля його перевірки, адаптації і апробації на вітчизняному матеріалі. Рефлексії з цього приводу надають шанс суттєво розширити горизонти традиційних дисциплінарних уявлень і тих предметних та інструментальних обмежень, що їм властиві. Водночас, варто зазначити, що проблема розуміння поняття «історична культура» та його інтерпретації розглядається як правило поза межами вітчизняного історичного матеріалу [1; 6; 7; 8] і практично невідрефлексована українською історіографією.

Через те вихід книжки, яка присвячена історичній культурі в імператорській Росії, безумовно, викликає суттєвий інтерес і вже віддзеркалився на рецензійному рівні [9]. Не в останнє цей інтерес визначений самим форматом видання, що підготовлене колективом Інституту гуманітарних історико-теоретичних досліджень Вищої школи економіки, який останнім часом відіграє роль одного із важливих осередків теоретико-методологічної історичної думки на пострадянському просторі. Хронологічно цей формат вибудуваний у межах середини XVIII – початку XX ст., коли для українського історіописання та історіодумання російські інтелектуальні й професійно-історичні орієнтири набували особливого значення і звучання, а історія імперського простору сприймалася, здебільшого, як історія простору спільного минулого. Саме тому праця російських колег змушує з особливою увагою придивлятися до нього, бо той широкий історіографічний, духовно-культурний та інтелектуальний обшир не лише окреслює контекст, в якому українське історичне знання/пізнання/свідомість/уявлення визрівало протягом зазначеного часу, збагачуючись, дискутуючи, ворогуючи, самоусвідомлюючись та взаємодіючи. На цей проект варто подивитися і крізь методологічні «окуляри», зважаючи на початковий рівень освоєння українськими гуманітаріями відповідного дослідницького інструментарію, звіряючи якість розробки аналогічних завдань в українській історіографі, а значить осмислюючи і накреслюючи подальші дослідницькі стратегії [2; 3; 4; 5].

Архітектоніка книжки націлена на репрезентацію розуміння можливої структури і змісту «історичної культури», де критерієм виступає не стільки

© Журба О. І., 2016

рівень історичної рефлексії, скільки комунікації професійних виробників історичного знання та її обшири. Перший розділ («Историческое знание») вибудовується переважно навколо проблематики сцієнтистської історіографії: наукові дискусії, форми академічної діяльності, підготовка кадрів істориків-фахівців, історія історичних ідей. Другий («Историческое сознание»), немовби розширючи коло спілкування професіоналів, виводить його на місця пам'яті, взаємодію із аудиторією своїх читачів, колегами-аматорами, владними структурами, піднімає питання формування регіонального професійного історичного середовища. Увага авторів третього, найменшого розділу («Историческое воображение») сконцентрована навколо питань інструменталізації історії в художній літературі та мистецтві, ювілейних практиках, монументальній комеморації.

Така різноманітна і широка тематика, окрім того, що сама по собі викликає непідробну зацікавленість, окреслює ключові проблемні вузли дослідження історичної культури як вони уявляються укладачам колективної праці. До участі в книжці були запрошені авторитетні російські гуманітарії з університетів Москви, Рязані, Новосибірська, Омська, Петрозаводська, Казані, Воронежа, а також по одному фахівцю з України, Ізраїлю та США, що свідчить про широку географію заангажованості в цій проблематиці.

Оригінальна архітектоніка роботи та її саморепрезентація викликають доволі суперечливе враження. З одного боку, коли кожний з трьох розділів складається з абсолютно самостійних за постановкою і вирішенням статей, які ніяким чином не пов'язані одна з одною сюжетно, стилістично, а нерідко і проблемно, то така продукція зазвичай ідентифікується не як колективна монографія, а, скоріше, як тематичний збірник наукових праць. З іншого ж боку, відсутність цілісності змісту, значною мірою виправдовується монографічністю ідеології представленої роботи, що намагається репрезентувати способи предметної реалізації комплексної розробки проблем історичної культури.

Стратегія проекту визначена у вступному слові відповідального редактора О. Дмітрієва. Вона покликана простежити різні, несхожі шляхи формування історичної культури, а також форми і способи прирощення, впорядкування та регламентації історичного знання в імператорській Росії. Особливо важливим визнана репрезентація університетської науки в контексті різних інших форм суспільної свідомості, пов'язаних із історією, – від гімназійної освіти до живопису і белетристики (с. 9–30)[1]. Також принципово важливим є те як автор, який представив короткий екскурс вживання і вживлення «історичної культури» до лексикону професійного гуманітарного середовища, визначає його змістовне наповнення і співвідношення із близькими поняттями. На його думку, «історична культура», на відміну від

[1] Тут і далі вказані сторінки рецензованої книжки.

«історичної свідомості» акцентує увагу саме на інституціональний і рефлексивний аспект уявлень про минуле і охоплює різноманітні відносини між професійною історіографією і більш широкою сферою суспільних уявлень про історію (історичною свідомістю) в різні епохи (с. 10–11). У відповідності із такого роду концептуалізацією «історичної культури» виходили укладачі і автори монографії/збірника, реалізуючи стратегію свого проекту.

Автори статей першого розділу націлювалися на розгляд двох ключових проблем: вироблення і функціонування історичного знання в творчості і комунікаціях професійних істориків і роль інституційних факторів освітньої і наукової діяльності у формуванні професійного співтовариства істориків (професійної історичної культури). Так, до першої групи можна віднести працю О.Б. Каменського (с. 33–51), квінтесенція якої, за словами самого автора, полягала у виявленні внеску Г.Ф. Міллера у професіоналізацію в Росії ремесла історика і перетворенні історії з літератури в науку (с. 51), що цілком вкладається у дисциплінарне ложе традиційного історіографічного дослідження. Робота Л.П. Рєпіної розкриває шляхи формування в російській історичній думці ідеї загальної історії в творчості Т.М. Грановського, його учнів та послідовників (с. 52–73). Тематично близькою і актуальною для українського читача представляється добре відома в україномовному варіанті стаття О.П. Толочка про знамениту і знакову дискусію М.О. Максимовича з М.П. Погодіним щодо ставлення до спадщини Київської Русі та про її (і спадщини, і дискусії) значення для створення «довгої» національної історії (с. 92–112).

Інституціональний аспект формування історичної науки в дореволюційній Росії у книжці вибудований через репрезентацію процесу формування церковної історії у вищих духовних навчальних закладах (М.К. Гаврюшін; с. 193–216), історичного семінарію як структурного елементу університетської підготовки професійного історика (А.В. Свєшніков, О.В. Антощенко; с. 138–160), виявлення шляхів становлення університетської історичної освіти і науки загалом (В.І. Чесноков; с. 113–137).

В цьому ряду, на мій погляд, в контексті виявлення професійної історичної культури, особливо значимою здається стаття Т. Сандерса (с. 161–192), в якій розгляд «витоків, еволюції і соціальних функцій захисту дисертації як культурного інституту» реалізується не тільки задля «відтворення шляхів формування інституту історичної професури», але й виявлення «рис поведінки самих агентів як представників цієї дисципліни і як членів особливої субкультури в межах все більш складного і політизованого суспільства царської Росії» (с. 163).

Певним дисонансом в ідейному контексті першого розділу, цілком зануреного у професійне історичне середовище, виглядає стаття Н.Г. Федорової (с. 74–91), яка присвячена ролі шкільного підручника з історії Середньовіччя у конструюванні масових історичних уявлень. Автор наголошує

на тому, що шкільна навчальна книжка не лише визначає предметний обсяг і зміст освіти, але й є своєрідним ретранслятором соціальної пам'яті, еталоном «бажаної» історичної свідомості освіченої публіки. Цілком можна погодитися і з тим, що підручник в цілому і як історичне, і як історіографічне джерело «відображає рівень розвитку науки свого часу і загальний напрямок державної освітньої політики…, несе інформацію… про суспільні цінності соціуму… представляє собою багатошарове культурно-історичне явище» (с. 74), вивчення якого в контексті історичної культури в українській історіографії лише починає усвідомлюватися.

Другий розділ рецензованої книжки суттєво розширює розрив з традиційною сцієнтистською історіографією. Його статті немовби спускають її з наукових небес на землю різноманітних соціальних практик і професійних істориків, і професійного історіописання загалом, виявляючи їх комунікації у значно ширших суспільних колах, насамперед з владними структурами, людьми влади і владою загалом, аматорським рівнем виробництва і споживання історичного знання, його інфраструктурним забезпеченням.

В цьому сенсі цілком перспективним представляється відправна дослідницька позиція В.С. Парсамова (с. 219–234), який актуалізує вивчення середовища реального функціонування історичного знання, в якому визнається рівнозначна суб'єктність і тісна взаємодія історика-професіонала, що виробляє нове історичне знання (на прикладі М.М. Карамзіна), та його читача– споживача історичних текстів.

Більшість публікацій другого розділу зосереджені на виявленні способів, задач, мотивів і результатів взаємодії професійного наукового співтовариства з владою та освіченою публікою.

Так, цим проблемам в діяльності просвітительських історичних товариств кінця XIX – початку XX ст. присвячена робота В. Каплан (с. 355–380). Сама ідея створення таких товариств значною мірою випливала з розуміння як владою, так и соціально активними історикоми-професіоналами і діячами громадських рухів великого потенціалу конструювання суспільних настроїв і настанов шляхом інструменталізації історії як галузі знань та засобу ідеологічного впливу. Внаслідок цього 1895 р. відкрилося «Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III», яке стало найбільш впливовим з цілого шерегу створених наприкінці 1880–90-х рр. такого ж роду об'єднань (історичних відділень загальноосвітніх товариств, мережі воєнно-історичних гуртків, товариств любителів історії). Це, як зазначає автор, відповідало загальній тенденції активізації громадської активності та історизації суспільних процесів в імперії на межі століть. Шляхом створення популярної історичної літератури, народних бібліотек, проведення публічних лекцій, заснування історичних музеїв, ініціювання історичного кінематографа, – ці товариства

шукали і виробляли напрямки і механізми ідейного впливу на масову історичну свідомість. В процесі таких пошуків створювався репертуар практик історичного просвітництва, який відігравав важливу роль у «винайденні традицій», спрямованих на підтримку і модернізацію образу монархічної влади останніх років її існування та залишається в актуальному арсеналі задля реалізації схожих завдань влади і на початку XXI ст.

Проблема значимості цензурного впливу і діяльності цензурних інституцій як важливого інструменту відточування бажаних образів минулого в другій половині XIX ст. розглядається у статті І.М. Чирскової (с. 308–326). Тут аналізуються не лише правові рамки державного регулювання змісту друкованої продукції та практика його реалізації в галузі історіописання. Увага прикута і до втілення офіційних настанов як одного з важливих каналів формування обсягу і змісту історичних знань і уявлень, а також до історичного просвітництва в цілому. Варто підкреслити, що робота цензурних інституцій розглядається не лише як каральна. Вона представлена і зрозуміла в контексті інтелектуальної ситуації та суспільних настроїв того часу.

Діяльність владних структур та їх взаємодія з громадськістю в справі збереження матеріальних пам'яток та їх музеєфікації зображена у роботі А.В. Топичканова (с. 327–354). Важливими здаються спостереження щодо значної ролі провінційних музеїв у формуванні масової регіональної самосвідомості та розуміння імперською владою небезпек регіоналізму та націоналізму.

Саме через інтерес до проблем специфіки і співвідношення столичного і регіонального в сприйнятті вітчизняної історії для зацікавленого українського читача актуальність представляють статті Н.М. Родігіної (с 280–307) і В.В. Боярченкова (с. 258–279). Вони привертають увагу своєю націленістю на дослідженні особливостей розширення території різнорівневого та ієрархізованого історичного знання. Незважаючи на різні проблемні ракурси, один з яких спрямований на виявлення механізмів формування регіонального історіографічного простору, а інший – на взаємодію столичних історичних і літературних часописів з провінційним історичним середовищем, обидва тексти окреслюють процес децентралізації російського історіописання та історіодумання, його урізноманітнення, ускладнення, формування нових, нерідко опозиційних столичним, версій російської історії «знизу».

Окрему сюжетну і проблемну одиницю розділу представляє текст Т.О. Сабурової (с. 235–257), який зосереджений на виявленні, фіксації і механізмах формування образів XVIII ст., насамперед французької революції, в свідомості російських інтелектуалів-неісториків першої половини наступного століття як своєрідних «місць пам'яті», закріплених у літера-

турному і, почасти, науковому дискурсах. Сама постановка проблеми в контексті вивчення історичної культури, засвідчує продуктивність «ребрендінгу» традиційних ракурсів вивчення історичного сегменту суспільної думки.

Третій розділ книжки спрямований на виявлення мотивів, завдань та джерел візуалізації вітчизняного минулого та її ролі у формуванні і еволюції масових історичних уявлень. На матеріалах художньої творчості другої половини XVIII – першої чверті XIX ст. це представлено у статті О.А. Вішленкової (с. 383–417), а на досвіді встановлення монументів російським письменникам у XIX ст. – в статті С.А. Єрємєєва (с. 499–532). Як засіб ідеологічної мобілізації суспільства задля реалізації суспільно-політичних завдань розглядає організацію історичних ювілеїв в Росії XIX ст. К.М. Цимбаєв (с. 475–498). Він окремо наголошує, що «саме ювілеї, на відміну від звичайних щорічних свят та інших громадських актів, дозволяли сформувати нові уявлення про історичне минуле і перспективи розвитку у майбутнє» (с. 475). Автор представляє ґенезу ювілейної традиції на російському матеріалі, зосереджуючи увагу насамперед на тому «як швидко і не завжди «однолінійно» ця традиція формувалася… , які політичні і громадські кола були з нею пов'язані (або, навпаки, з неї виключені)». Надзвичайно цікавим і важливим, на мій погляд, є спостереження автора, зроблене на матеріалах святкування 100, 200 і 300-річчя заснування Санкт-Петербургу: «Незважаючи на кардинально відмінні громадсько-політичні умови, всі три ювілеї… демонструють дивну схожість в процесі їх підготовки: це і створення організаційних комітетів під покровительством вищих сановників, численних підготовчих комісій; це й схожі схеми витрат казенних сум і масштаби їх виділення з бюджету; це і фактичний недопуск громадськості до процесу підготовки і більш-менш широкого обговорення можливих варіантів заходів. Схожим виявляється навіть сценарій самого заходу – порівняльний характер церемоній засвідчує їх фактичну ідентичність: церковні, воєнні, водні процесії, салюти, ілюмінації, прикрашення парадних фасадів міської забудови і т. ін. Мінімальних змін за останні двісті років зазнала і ювілейна мова – вражаюче близькими виявляються матеріали ювілейних комітетів, включаючи назви комісій і підкомісій, система діловодства, мовні звороти писемної документації, тексти ювілейних відозв і урочистих промов, аж до офіційних післясвяткових звітів. І головне: в усіх трьох випадках ювілей не стільки відмічається самими містянами, скільки «декретується згори» державними інстанціями» (с. 476). Надзвичайно актуально звучать і спостереження щодо фіаско розроблених владою технологій використання вербальних, візуальних та інших медійних послань задля впровадження у суспільну свідомість бажаних образів минулого як інструменту мобілізації усіх верст суспільства. Причину цього автор вбачає як у відсутності діалогу влади і

суспільства з питань ставлення до історії, так і в змістовному наповненні ювілейних заходів, коли «суспільний розвиток стрімко актуалізував не надумані теорії споконвічного єднання всього народу навколо монарха, а соціальну практику революції» (с. 498).

Саме в текстах третього розділу проблематика історичної культури розгортається відверто «антиісторіографічно». Тут практично не знаходиться місця професійному історику та професійному історичному знанню, а дослідницька оптика вибудовується переважно навколо відстежування комунікацій з приводу функціонування історичного в суспільному просторі, де ключовими акторами виступає влада з її «фантазіями» щодо конструювання бажаних версій вітчизняної історії і освічене суспільство з його численними варіаціями щодо уявлень про минуле.

Як і в попередніх структурних частинах, один з текстів також стоїть немовби окремо від сюжетних розворотів цілого розділу. Йдеться про ґрунтовну, в тому числі і за обсягом, репрезентацію О.Н. Пєнської російського історичного роману XIX ст. (с. 418–475) Цей жанр представляється не лише в літературному контексті, а і як явище громадського життя, суспільної думки і історичної культури. Виділення двох періодів сплесків популярності історичного роману в російській культурі XIX ст., які названі автором своєрідною «умственною эпидемиею» (с. 472), здається, може розглядатися як доволі чіткий орієнтир щодо визначення апогеїв історизації суспільних настроїв, а аналіз змісту, особливостей виробництва і споживання цієї літературної продукції – стати певним маркером при виявленні проблемно-тематичних пріоритетів, способів адаптації і побутування історичного знання в широких освічених колах. Історичний роман XIX ст. справді перетворився у впливовий багатофункціональний інструмент, виступаючи «одночасно і освітнім курсом, ілюстрацією до підручника, наукового дослідження… і обов'язковою розвагою, і, нарешті, входом до нової культурної доби» (с. 474). Історичний роман виступав і як фактор індивідуалізації запитів на історичне знання, його домашнього сприйняття і особистої інтелектуальної праці.

Монографія, яка присвячена виявленню різноманітних аспектів функціонування й еволюції складного явища історичної культури в імперській Росії, репрезентує уявлення ініціаторів проекту щодо структури і змістовної насиченості цього концепту, ґенеза якого відбувається на межі кількох традиційних гуманітарних дисциплін і відкриває нові ракурси розширення дисциплінарних просторів кожної з них. Така переакцентація дослідницької оптики російських колег, на наш погляд, не в останнє, пов'язана з високою щільністю і достатньою якістю засвоєння ними традиційного історіографічного простору, що, безумовно, створює суттєві пізнавальні і соціальні глухі кути, а також не може не викликати інтелектуальної пе-

ревтоми, особливо у нових поколінь істориків історичної науки. Простіше кажучи, органічність вирішення завдань дисциплінарної історіографії стала міцним ґрунтом для засвоєння нових концептуальних підходів, пошук іншої контекстуальності, стимулом для пошуку і апробації нового дослідницького інструментарію.

Водночас, при всій своїй привабливості і перспективності, опорною точкою в реалізації моделі «історичної культури», що запропонована в книжці, залишається професіональний історик. Він є провідним гравцем на полі функціонування історичних знань/уявлень та їх комунікації з іншими акторами, – освіченим суспільством і владою. Інколи здається, що така постановка цілком комфортно виглядала б і як алгоритмічний сегмент традиційних історіографічних студій під рубрикою «інтелектуальні і суспільно-політичні умови розвитку професійних історичних знань». А тому збірниковий характер проекту інколи демонструє недостатньо органічне і злагоджене засвоєння його авторами накинутій ззовні концепції. На мій же погляд, перспективи концептуального освоєння «історичної культури» пов'язані, насамперед, із орієнтацією на виявлення функціонування та взаємодії всіх форм вироблення і споживання «історичного» на всіх соціальних рівнях, кожен з яких розглядався б як рівноправний гравець в цьому тотально історизованому просторі. Що ж стосується вищих, зрілих форм історичного знання, то в межах функціонування історичної культури суспільства вони могли б окреслюватися поняттям «історіографічна культура», яке, на мою думку, має суттєвий пізнавальний потенціал з точки зору постановки завдань вивчення цеху професійних істориків як своєрідної субкультури на усіх її рівнях, в усіх проявах та комунікаціях[1].

Інтелектуальні пропозиції рецензованої монографії не можуть не викликати спроб перевірити і «приміряти» запропоновані підходи на вітчизняному інтелектуальному ґрунті. Відразу варто зазначити, що, не зважаючи на концептуальне засвоєння українськими істориками понять «історична пам'ять», «історичне уявлення», «історична свідомість», «політика пам'яті», «місця пам'яті», – тобто того теоретичного набору, який налаштовує на вивчення функціонування історичного знання поза академічними обширами, на шляху засвоєння концепту «нашої історичної культури» існують суттєві, якщо не перепони, то, принаймні складні обставини, усвідомлення яких, на мою думку, дозволить адекватно підійти до розробки цієї проблематики. Не вдаючись до розлогих розмислів, зверну увагу на ключове ускладнення, – відсутність консенсусу щодо розуміння змістовного наповнення поняття

[1] В цьому напрямку, не використовуючи, правда, поняття «історіографічна культура», розгортається проект омських колег, які випустили вже 10 номерів збірника «Мир историка», який заслуговує на окреме представлення в українському професійному історіографічному просторі.

«українська історична наука» («українська історіографія»). Більше того, саме етноцентричні репрезентації історії українського історичного знання, які домінують на монографічному і дидактичному рівні, і, таким чином, визначають сприйняття цієї галузі знань, геттизують український історіографічний простір і від його зовнішніх науково-культурних контекстів, які розташовуються в діапазоні від ворожих, до своїх «інших», і герметизують його в межах полікультурного внутрішнього простору. Налаштована на виявлення тотального функціонування і комунікації історичного знання в цілісному соціумі концепція історичної культури наштовхується тут на міцні мури сегментованого «етно-українського» в складних, взаємопов'язаних і щомиті взаємодіючих соціальних і культурних структурах. Саме тому проблематизація історичної культури в сучасній вітчизняній історіографії нерідко розглядається як ідеологічна диверсія, що загрожує конструюванню національного проекту історії історичного знання.

Саме ці обставини, а також складні психологічні чинники, пов'язані з хворобливим прагненням подолати/зберегти окремішність, провінційність і відверту вторинність історіографічної території, досі не дозволяють українським історіографам щільно засвоїти простори історії «нашої» історичної науки, створити той професійний каркас, на основі якого, можна було б відправитися на засвоєння нових горизонтів. А тому, ці завдання доведеться виконувати синхронно. Їх продуктивній реалізації, безумовно, сприятиме ознайомлення і критичне звернення до досвіду наших колег.

1. *Гене Б.* История и историческая культура Средневекового Запада / Б. Гене. – М., 2002. – 496 с.
2. *Журба О. И.* Региональное историописание второй половины XVIII – первой половины XIX вв. в плену «украинского национального возрождения» (проблемы украинской исторической и историографической культуры) / О. И. Журба // Мир историка. – Вып. 8. – Омск, 2013. – С. 124–165.
3. *Журба О. І.* Історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIX ст. як передісторія українського історіописання (дискусійні замітки) / О. І. Журба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Л., 2006–2007. – Вип. 15. – С. 408–417.
4. *Леонова А. В.* О построении модели исследования регионального историографического процесса / А. В. Леонова // Мир историка. – Омск, 2013. – Вып. 8. – С. 166–176.

5. *Леонова О. В.* Історіографічний процес другої половини XIX – початку XX століття у регіональному вимірі (за матеріалами Слобідської та Південної України) : автореф. дис. … канд. істор. наук (07.00.06). – Д., 2013. – 20 с.
6. *Образы прошлого* и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени / под ред. Л. П. Репиной – М., 2003. – 408 с.
7. *Репина Л. П.* Историческая культура как предмет исследования // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. – М., 2006. – С. 5–18.
8. *Рюзен Й.* Історична культура – про місце історії у житті // Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. – Л., 2010. – С. 110–144.
9. *Степанов Б.* Прогресс в сознании истории / Б. Степанов // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 5 (123). – Режим доступа : http://www.nlobooks.ru/node/4041

О. І. Журба

ІСТОРИК І ЧАС

Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – 210 с.

Біографічні дослідження є одним із традиційних історіографічних жанрів. Сьогодні можна спостерігати черговий сплеск їхньої популярності, що не в останню чергу пов'язано з переосмисленням основних підходів до біографістики, появою нових типів біоісторіографічних досліджень, активною рефлексією щодо моделей біографічного аналізу [Приклади моделей див.: 3].

Книга Л. В. Пирогової-Таран та Н. А. Логунової присвячена одному із яскравих істориків – професору Київського університету Св. Володимира Івану Васильовичу Лучицькому (1845–1918). Одразу слід зазначити, що ця праця є підсумком багаторічних досліджень Л. В. Пирогової-Таран, яка вивчала науковий доробок вченого. Одночасно в основу книги покладене дисертаційне дослідження Н. А. Логунової, яке присвячене професійній біографії науковця [2]. Назва книги «Іван Васильович Лучицький: історик і час» здається орієнтує читача на методологічні підходи популярної сьогодні «нової біографічної історії», для якої характерне заглиблення не тільки у життєвий світ героя, але і намагання крізь нього з'ясувати конкретну соціокультурну ситуацію, окреслити кордони примусу зовнішніх обставин життя та свободу особистого вибору історичного актору [4, с. 290, 301]. Втім, здебільшого, в центрі уваги перебуває сам герой книги.

Монографія складається зі вступу та з чотирьох розділів. Перший розділ містить огляд джерел та літератури. Історіографічний огляд, структурований за хронологічно-проблемним принципом, відбиває основні особливості процесу поступового осмислення наукового доробку вченого. Джерельна база дослідження представлена різноманітними видами джерел, серед яких значну частину складають архівні матеріали, виявлення та опрацювання яких безумовно вимагало чималих зусиль. Солідна джерельна база надала можливість виконати на її основі поставлені завдання та здійснити якісне біографічне дослідження.

Другий розділ книги присвячений становленню І. В. Лучицького як науковця. Авторки детально розглянули процес його навчання у гімназії та університеті Св. Володимира, окреслили складнощі кар'єрного шляху, відзначили особливості стосунків з учнями. Позитивне враження справляє дослідження процесу формування світоглядних, суспільно-політичних та етичних переконань вченого протягом його професійного становлення та особистого зростання. Звертає на себе увагу і бажання дослідниць проникнути до лабораторії історика, що здійснюється на основі джерел

© Кісельова Ю. А., 2016

особового походження. Проте треба зауважити, що для цього розділу характерна певна глорифікація головного героя біографії. Вочевидь, авторки свідомо намагаються уникати згадок про участь І. В. Лучицького у внутрішньо-університетських конфліктах та будь-яких сюжетів, у яких оцінка поведінки історика може бути не однозначною (один із таких прикладів, про який не згадується у книзі, – історія обрання П. М. Ардашева на посаду викладача Київського університету, у якій основну роль відігравав саме І. В. Лучицький). Тільки у висновках до цього розділу дослідниці зазначають, посилаючись на слова М. І. Карєєва, що кар'єрному шляху І. В. Лучицького перешкоджала його «велика суб'єктивність та нервовий характер». Але без урахування контексту університетського життя, без розуміння розстановки сил університетських «партій» та визначення позиції І. В. Лучицького у кожній окремій ситуації, складно зрозуміти і періпетії його кар'єри, і його школоформуючі стратегії, і, врешті-решт, переконливо говорити про соціальні погляди та етичні переконання науковця.

Третій розділ, на нашу думку, є найбільш вдалим та найбільш цікавим розділом монографії. Він присвячений огляду наукової творчості вченого як у галузі вивчення історії Франції, так і української історії. Авторки запропонували періодизацію наукової творчості І. В. Лучицького, велику увагу приділили питанням методології та специфіці методологічного інструментарію вченого, простежили вплив суспільно-політичних переконань вченого на його конкретно-історичні дослідження. Окремої уваги заслуговує сюжет, який пов'язаний з реконструкцією особливостей роботи дослідника в архівах Франції. На жаль, при цьому у книзі бракує характеристики масштабної археографічної діяльності історика. Поставити за заслугу авторкам потрібно і завдання вписати наукові студії І. В. Лучицького у історіографічний контекст, з метою позначити цінність його наукових висновків та визначити, що з його наукового доробку відійшло до архіву науки, а що дало поштовх подальшим дослідженням та залишається вартим уваги і на сучасному етапі розвитку науки.

У книзі наведені цікаві спостереження щодо еволюції наукових зацікавлень І. В. Лучицького. Наприклад, розглядається питання як архівні розшуки та цікаві знахідки джерел орієнтували історика на розробку конкретних дослідницьких проблем, як відбувався перехід від зацікавлення соціально-економічними питаннями української історії до аграрної історії Франції. Треба відзначити, що дослідницям вдалося доповнили бібліографію праць вченого. Проте наявність бібліографії та особистого архівного фонду вченого (хоча треба визнати, що особливості почерку історика ускладнюють роботу з цим фондом) дозволяли поставити питання і про динаміку наукової творчості І. В. Лучицького, а також схарактеризувати масив його публікацій не тільки за тематичним, але і жанровим та видовим принципами, в цілому визначити періоди спадів та підйомів наукової продуктивності вченого.

У четвертому розділі монографії йдеться про громадсько-політичну діяльність київського історика. Основна дослідницька інтенція авторів полягала у репрезентації широти репертуару цієї діяльності. Так, І. В. Лучицький проводив просвітницьку роботу, був благодійником, членом національно-культурних товариств, брав участь у роботі місцевих та центральних органів влади (зокрема Київської міської думи та ІІІ Державної Думи), був залучений до політичної роботи як член конституційно-демократичної партії, а також протягом довгих років виконував обов'язки редактора різноманітних періодичних видань. З розділу також можна дізнатися про національно-політичні переконання вченого, результати втілення задумів у життя під час участі І. В. Лучицького у вирішенні важливих суспільних проблем, зокрема, питань організації освіти в цілому та зокрема жіночої освіти, у ході розробки проектів аграрних реформ та покращення умов життя робітників, боротьби проти заборони користування українською мовою в усіх сферах суспільного життя. У результаті дослідницям вдалося репрезентувати усвідомлення істориком суспільного та просвітницького потенціалу історичного знання та способів його використання заради досягнення суспільних цілей. Зокрема, київський історик систематично пропагував конституційний устрій шляхом публікації перекладів конституцій різних європейських країн. Також авторам вдалося підкреслити зв'язок між громадською діяльністю вченого та його науковою творчістю. Цікавим сюжетом дослідження є розгляд на основі залучення джерел жандармського відділу питання про відношення влади до громадської активності вченого.

Таким чином, авторки змогли схарактеризувати різнопланову діяльність історика, якому вдавалося поєднувати різні ролі: науковця, політика, громадського діяча, просвітника, публіциста та редактора. Проте І. В. Лучицький виступає у розділі не тільки головним героєм, що зрозуміло, але почасти єдиним гравцем на історичному полі. Зрідка згадуються імена осіб, що підтримували ту чи іншу резолюцію Івана Васильовича в Думі, зрідка наводяться цитати близьких та друзів з оцінкою його діяльності, а також відгуки про нього політичних опонентів. У результаті І. В. Лучицький залишається на самоті, поза структурою соціальних зв'язків свого часу. Проте, історичний актор ніколи не буває ізольованим, відірваним від соціального середовища. На думку. Л. П. Репіної, без аналізу взаємодії особистості з оточуючим світом неможлива ніяка «персональна історія», головним предметом якої є «історія одного життя» у всій його унікальності та повноті [4, с. 295]. Здається, що залучений авторками матеріал (особисті джерела та листування вченого) дозволяв вписати постать І. В. Лучицького у контексти інтелектуального середовища його часу, з'ясувати мережеві зв'язки вче-

ного, але дослідниці не скористалися ним у такому плані. Втім, саме це, на нашу думку, дозволило б схарактеризувати ідеологію ліберальної професури та пояснити особливості відносин І. В. Лучицького з університетськими, партійними колегами та опонентами, пояснити його протиріччя з радикальним крилом української партії та в цілому схарактеризувати мотиви його життєвих виборів у кожній конкретній ситуації.

Не зовсім зрозуміло чому саме у четвертому розділі з'являється невеличкий сюжет, присвячений родині вченого. Враховуючи, що дружина Марія Вікторівна Лучицька була відомим перекладачем, науковцем та асистенткою історика, а син згодом став відомим вченим-геологом, характеристика його родинних відносин напряму відноситься до питань наукового становлення та інтелектуального побуту історика. При цьому, на жаль, цьому надзвичайно цікавому сюжету приділяється замало уваги, хоча у розпорядженні авторів було і родинне листування, і спогади дружити історика. У сучасній біографістиці переосмислюється роль особистого життя людини, переглядається сама концепція біографії, яка більше не сприймається як проста лінія життя, а скоріше осмислюється як культурний простір, «біографічний світ», який поєднує різні сфери: професійну та побутову, особисту та публічну, і таким чином, життя особистості постає як постійне переміщення між цими сферами [1, с. 79–80]. Більш докладна характеристика родинних стосунків та особистого життя І. В. Лучицького надала би можливість краще зрозуміти перипетії його долі. Підсумовуючи, треба сказати, що робота є професійною біографією науковця. Вона переконливо доводить роль І. В. Лучицького у розвитку української науки, представляючи історика, що діяв наприкінці XIX – на початку XX ст. як науковця світового рівня, засновника наукової школи, активного громадського та політичного діяча. Проте книга залишає й простір для продовження дослідження постаті вченого, стимулює постановку нових дослідницьких завдань.

1. *Колесник І. І.* Біографічний світ Тараса Шевченка / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 79–99, 79–80.
2. *Логунова Н. А.* Наукова та громадсько-політична діяльність І. В. Лучицького : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня док. іст. наук : спец. 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Н. А. Логунова. – К., 2006.
3. *Попова Т. Н.* Биоисториописание в контексте научных традиций: концепты и модели / Т. Н. Попова // Диалог со временем. – 2015. – № 53. – С. 30–53.
4. *Репина Л. П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика / Л. П. Репина. – М., 2011. –560 с.

Ю. А. Кісельова

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ І НЕБЕЗПЕКИ ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ. МІРКУВАННЯ З ПРИВОДУ «ІСТОРИЧНОГО МАНІФЕСТУ» ДЕВІДА АРМІТЕДЖА І ДЖО ҐУЛДІ

Книжка «The History Manifesto» [1], авторства професора Гарвардського університету Девіда Армітеджа і професорки Університету Браун Джо Ґулді є амбітною спробою діагностувати симптоми кризи сучасної історіографії і запропонувати шляхи її подолання.

Втім, це далеко не перша книжка присвячена проблематиці кризи і мети історії, що з'явилась в останні роки. Можна згадати, наприклад, монографії Джона Тоша «Why History Matters» (2008) [7], Йорми Калєли «Making History: Historian and Uses of the Past» (2011) [4] чи зовсім недавню працю Лін Гант «Writing History in the Global Era» (2014) [3]. У цей же ряд лягають книжки, присвячені кризі і меті університетів і гуманітаристики, які у більшості випадків торкаються і питання історії. Як приклади, згадаю тут лише дві позиції: британського інтелектуального історика Стефана Колліні «What Are Universities For?» (2012) [2] і американського філософа Марти Нюссбаум «Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities?» (2010) [5]. Якщо подібні праці у 80–90-ті рр. минулого століття коріння кризи шукали в епістемологічних чи методологічних чинниках, автори останніх років, включно з Армітеджем і Ґулді вихід з кризи бачать передусім у переосмисленні мети і суспільної відповідальності історії. З усіх книжок, що я їх згадав раніше (принаймні тих, що присвячені безпосередньо історії), «The History Manifesto» є найбільш амбітною і безапеляційною у своїх діагнозах і рецептах. Водночас, вона викликає у мене найбільше запитань і сумнівів.

Якщо говорити загально, то я вважаю, що книжка Армітеджа і Ґулді є важливим голосом в дискусії щодо кризи і мети історії, вона вказує на один з аспектів цієї кризи (що його автори, на мою думку, помилково, вважають центральним) і пропонують одну з можливих стратегій розвитку історіографії і її подолання (який знову ж таки, автори, на мою думку, невиправдано абсолютизують). Поза діагнозом, найбільш проблематичною частиною книжки, як видається, є спроба нової концептуалізації суспільної ролі історії як оновленої версії «вчительки життя». Тут автори надмірно абсолютизують інструментальну функцію історичного знання, що підважує пізнавальну роль і функцію історії як академічної, університетської дисципліни.

Отже, спочатку про діагноз. На думку авторів, криза історії починається у 1970-х роках з поступом професіоналізації історіографії, її фрагментацією і поширенням мікроісторичних досліджень. Втім, головним чинником кризи стало саме домінування короткотермінового мислення, коли разом зі своїми

© Склокін В. В., 2016

хронологічними рамками історики звузили і діапазон своїх питань і таким чином втратили контакт з ширшою непрофесійною публікою [1, с. 1–8].

На мою думку, Армітедж і Ґулді слушно вказують на один з аспектів цієї кризи – поширення короткотермінового мислення, на який раніше звертали недостатньо уваги. Втім, я не схильний вважати, що саме цей чинник був головним. Значно переконливішим видається традиційне пояснення, що криза мала передусім епістемологічний характер і була пов'язана з впливом культурних теорій та постмодернізму і розпадом ідеї пізнаваної глобальної історії як в її марксистській, так і в вігівській, тобто ліберальній інтерпретації. Віра в те, що існує єдина пізнавана історія і кожен історик вносить маленьку цеглинку у її дослідження була підірвана. Натомість, утвердився інший погляд – що існує багато різних історій і ключову роль відіграє позиція і перспектива історика. Тобто йшлося про локалізованість (*situatedness)* і частковість *(partiality)* історичного знання [6, с. 7–8]. Фрагментація і відмова від великих наративів і, відповідно, історії довгого тривання була одним з наслідків цих епістемологічних змін, а не навпаки.

Я погоджуюсь з авторами, що все це заохочувало ізоляціоністські тенденції в історіописанні, тобто все більше істориків писало винятково для академічної публіки (з другого боку, часто недооцінюється драматичне розширення цієї академічної публіки в останні десятиріччя XX століття). Водночас, Армітедж і Ґулді схильні ігнорувати тенденції, які не вписуються в їхню картину відходу істориків до вежі зі слонової кістки у 1970–1990-ті роки. Вони ще коротко згадують суспільно ангажовану нову соціальну історію, але зовсім оминають такі напрямки як усна і публічна історії, які якраз в цей період починають творити історичне знання орієнтоване на широку публіку і часто у співпраці з нею (і це, у більшості випадків не було пов'язано з політичною інструменталізацією).

Твердження авторів, що великі ідеї і великі панорами *(big ideas* і *big pictures)* вимагають обов'язково довготривалої перспективи також не можна прийняти без застережень [1, с. 88–116]. Я погоджуюсь, що між цими двома речами є кореляція, але цей зв'язок не є обов'язковим і вже точно для того, щоб говорити про великі ідеї не обов'язково мати монографію, в якій хронологічні рамки будуть охоплювати кілька сотень чи кілька тисяч років. Важливим недоліком є те, що автори не розрізняють наукові дослідження і публічно-інтелектуальну активність. Використання цієї перспективи дозволило б побачити значно складнішу картину. Наприклад, знаний американський історик Тоні Джадт здавалось би ідеально пасує до тези Армітеджа і Ґулді. Хронологічні рамки більшості його праць, написаних у 1970 – на початку 2000-х років, охоплювали 20-50 років. Можна сперечатись, чи там не йшлося про великі ідеї. Але вже напевно не буде жодних сумнівів, що про великі ідеї і активне ангажування з актуальними суспільними проблемами і викликами йшлося в численних есеях, які він писав як публічний інтелектуал для "The New York Review of Books" та інших періодичних видань.

Тепер про рецепти виходу з кризи. Я абсолютно погоджуюсь з авторами, що історики мають ставати відкритішими до неакадемічної публіки і своїми науковими чи публічно-інтелектуальними текстами долучатись до дискусій над тими питаннями і викликами, що турбують сучасне суспільство. Поза сумнівом, дігіталізація і поява масових цифрових джерел *(big data)*, дають нові можливості для історіописання, які слід використовувати. Я, втім, не поділяю надмірного оптимізму і захоплення авторів з приводу big data та їхнього переконання, що ці джерела мають радикально змінити університети і історичні факультети чи кафедри. Масові цифрові джерела і їхній аналіз за допомогою кількісних методів і сучасних комп'ютерних програм можуть мати важливе значення у певних ділянках, як-от, економічна історія, історія клімату чи історична демографія, натомість в багатьох інших, зокрема, в рідній для Армітеджа інтелектуальній історії, їхня роль завжди залишатиметься допоміжною. Будь-який кількісний аналіз тут завжди має доповнюватись ретельним якісним, і тому я на разі не бачу як масові цифрові джерела можуть радикально змінити історичну дисципліну. Варто пам'ятати про повчальний приклад кліометрії 70-х рр. минулого століття. Деяким її прибічникам тоді також здавалось, що кількісний аналіз масових джерел і використання копм'ютерних технологій назавжди змінять обличчя історії. І хто зараз практикує кліометрію?

І останнє. Однією з центральних тез книжки є заклик повернутись до передпрофесійного ідеалу історії як «вчительки життя», яка через активну участь в актуальних суспільних дискусіях і вплив на формування політик національних урядів і міжнародних інституцій дозволяє орієнтуватись в сучасності і будувати краще «публічне майбутнє», як це формулюють автори [1, с. 13, 37]. Я б радо підписався під цими словами, якби не одне але… Ця теза немає необхідного продовження чи застережень. Я б це сформулював так, історія має грати активнішу роль як орієнтир в сучасності і провідник до майбутнього, але центральною чи принаймні важливою її функцію залишається пізнання минулого і, зокрема, тих аспектів минулого, які самі історики вважають важливими і які не обов'язково є актуальними з точки зору проблем і викликів сучасного суспільства. Тут історія як наукова і академічна дисципліна виконує одну з центральних функцій університету, який «обслуговуючи інші практичні потреби водночас надає сприятливе середовище для потреби людського розуму шукати якнайповнішого розуміння» [2, с. 27]. На жаль, подібних застережень мені в книжці відшукати не вдалось і я прочитав «History Manifesto» як безапеляційний заклик до інструменталізації історії.

І саме тут, на мою *думку*, прихована головна проблема книжки. Автори стали жертвами дискурсу кризи, який вони намагались подолати, але

не змогли. Як показують сучасні дослідники університетів і гуманітаристики, зокрема, Стефан Колліні і Марта Нюссбаум, дискурс кризи довкола гуманітаристики, пов'язаний не так з тим, що відбувається всередині гуманітарних дисциплін, як із спробами урядів накинути на університети все більш комерційний порядок денний. Тобто, ваша корисність і те, скільки ви отримуєте фінансування, визначається вашим внеском у зростання національного ВВП. Зрозуміло, що історія й інші гуманітарні дисципліни мають проблеми з таким підходом. Але, якщо ми переконані що гуманітаристика і університети загалом пропонують певну важливу суспільну мету поза накопиченням багатства, ми маємо шукати аналітичну мову для її артикуляції, а не намагатись грати за тими правилами, що нам накидають і пробувати довести, що і ми також можемо збільшити ВВП. У цій грі ми все одно програємо таким дисциплінам як економіка чи ІТ. Говорячи словами Стефана Колліні, ми маємо показати, що не людське розуміння треба цінувати, бо воно дозволяє збільшувати добробут, а добробут є важливим, оскільки він дозволяю просувати людське розуміння [2, с. 86–114].

У маніфесті Армітеджа і Ґулді мені дуже бракує визнання важливості цієї неінструментальної ролі історії і гуманітаристики. Подолання кризи можливе лише за умови її правильного діагностування.

1. *David Armitage,* Jo Guldi. The History Manifesto. – Cambridge, 2014.
2. *Stefan Collini*. What Are Universities For? – London ; New York, 2012.
3. *Lynn Hunt.* Writing History in the Global Era. New York. – London, 2014.
4. *Jorma Kalela*. Making History: Historians and Uses of the Past. – Basingstoke, 2012.
5. *Martha C. Nussbaum.* Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities. – Princeton, 2010.
6. *Ann Rigney.* Introduction: Values, Responsibilities, History // Historians and Social Values / ed. by Joep Leersen and Ann Rigney. – Amsterdam, 2000.
7. *John Tosh.* Why History Matters. – Basingstoke, 2008.

В. Склокін

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОБРАЗИ ЗАСНОВНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рец. на кн.: Вовк О. І. Постать Василя Каразіна в історіографії / О. І. Вовк ; наук. ред. С. М. Куделко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.

В історії Російської імперії першої половини XIX ст. помітне місце займає діяльність ученого і винахідника, автора сміливих проектів Василя Назаровича Каразіна (1773–1842). Понад півтори сотні років його ім'я перебуває у фокусі уваги представників різних шкіл і напрямів в історичній та суміжних з нею науках. Особистість В. Н. Каразіна відрізняється від багатьох інших контрастами поведінки, широким діапазоном здібностей і талантів. Як за життя Василя Назаровича, коли в нього було багато друзів і ворогів, так і тепер, по закінченні більш ніж 170 років після його кончини, дослідники сперечаються і не погоджуються один з одним з приводу його переваг і недоліків, досягнень і прорахунків.

Мені здається, що за своїми характеристиками В. Н. Каразін може бути віднесений до особистостей ренесансного типу. Однією з прикметних рис таких особистостей є невгамовна жага діяльності. Феномен В. Н. Каразіна виявляється в тому, що він, як кажуть, з'явився «в потрібний час, у потрібному місці». Він опинився у Петербурзі в останні роки правління Павла I, а одразу після палацового перевороту подав Олександру I свою славнозвісну записку, в якій розвинув ідею про необхідність реорганізації тогочасної освітньої системи. Він палко відстоював проект створення університету в Харкові. Саме в той період ідеї Г. С. Сковороди про відкриття вищої школи на теренах Слобідської України знайшли свої перші втілення у культурних осередках, що виникли навколо Харківського колегіуму: в так званій «Попівській академії» О. О. Паліцина та інших гуртках. Ідея Василя Назаровича про заснування в Україні вищого навчального закладу нового типу потрапила у ґрунт, вже підготовлений попередниками.

Найбільш прогресивні представники суспільства відчували потребу в проривах у галузі науки й освіти, а застарілий соціально-економічний базис господарства імперії надсилав усе більш наполегливі сигнали про необхідність реформ. В. Н. Каразін виявився камертоном цих настроїв. Він не лише чутливо вловив поставлені життям завдання, але і натхненно взявся за їх реалізацію. За його діяльністю одні сучасники спостерігали зі схваленням, інші – з явним невдоволенням і навіть ворожістю. Такий стан речей закріпився і в історіографії, яка настільки багата, що дозволяє, як ми бачимо, проводити дослідження монографічного характеру.

© Філіппенко Р. І., 2016

Таким чином, заявлена автором тема цілком обґрунтована й актуальна. О. І. Вовк надзвичайно ретельно і старанно дослідила стан наукової розробки проблеми та дійшла висновку, що у сучасній історіографії відсутня узагальнююча розвідка з даної тематики.

Територіальні межі дослідження поширюються на наукові центри Старого і Нового Світу, де виходили присвячені В. Н. Каразіну роботи. Хронологічні межі охоплюють роки життя В. Н. Каразіна (1773–1842) та період від моменту кончини просвітителя до наших днів. В кінцевому рахунку автор проаналізувала кілька сотень публікацій, які так чи інакше були присвячені засновнику Харківського університету.

Предметом дослідження виступають процеси формування, побутування і трансформації історіографічних образів В. Н. Каразіна у професійній та масовій історичній свідомості. Об'єкт дослідження – масив публікацій, у якому знайшли відображення присвячені йому комеморативні практики. Джерельна база дослідження широка і різноманітна, вона безсумнівно дозволяє зробити необхідні узагальнення і висновки. Серед певних новацій, до яких вдається автор, потрібно відзначити використання художньої літератури, яка має спільне з історичною наукою комунікативне поле.

Методи і технології дослідження, які застосувала автор для вирішення поставлених перед нею завдань, в основному розроблені у руслі наукознавства та інтелектуальної історії. Автор докладно розкриває свою наукову лабораторію. Особливо розгорнуто вона зупиняється на міждисциплінарній дефініції «образ». Ключове для даного дослідження поняття роз'яснюється з максимальною глибиною і скрупульозністю. Услід за іншими авторами, Ольга Ігорівна використовує поняття «маркер». Під «маркерами» вона розуміє зафіксовані ознаки, які, залишаючись незмінними, фіксують тематичні зміщення у кожному з конкретних історичних періодів. Не зупиняючись на даному питанні спеціально, зазначу, що обрані автором методи і прийоми наукового пізнання зумовили серйозність та обґрунтованість отриманих результатів.

Автор монографії ставить і вирішує фундаментальні мету і завдання. Основною метою роботи є реконструкція процесу вивчення життєпису В. Н. Каразіна у всій його повноті й дослідження історіографічних образів цього історичного діяча у конкретних культурно-історичних умовах. О. І. Вовк, представниця харківського історіографічного осередку, чітко формулює свої завдання та вміло і послідовно їх вирішує. До числа позитивних моментів віднесу і певний прогностичний характер отриманих висновків. Ольга Ігорівна ясно окреслює ті проблеми, які вимагають подальшої розробки, уточнення, а, у деяких випадках, і концептуального переосмислення.

Не характеризуючи зміст розділів, відзначу, що книга написана гарною літературною мовою, всі положення, що містяться в ній, підкріплюються

необхідним науково-довідковим апаратом. Окреме слово варто сказати про додатки до монографії. Ці додатки – найкраще наочне свідчення проробленого наукового пошуку, його квінтесенція.

Разом з тим, можна зробити деякі зауваження автору. Насамперед, О. І. Вовк лише тезово повідомляє про свою позицію по відношенню до героя її монографічного дослідження. При читанні книги виникає питання: який з двох основних напрямків, що склалися в літературі – апологетичний або критичний, ближче до реального прототипу? На нашу думку, було б доцільно хоча б приблизно показати співвідношення представників апологетичного і критичного напрямів у літературі. Хотілось би дізнатися, чи були випадки, коли дослідник переходив від апологетичної позиції до критичної і навпаки, якщо так – то під впливом яких чинників.

Таким чином, монографія О. І. Вовк «Постать Василя Каразіна в історіографії» (науковий редактор – проф. С. М. Куделко) є самостійним та оригінальним науковим дослідженням, яке підводить підсумок багатьом дискусіям, що точилися в літературі протягом більш ніж ста сімдесяти років. Вважаю, що ця монографія буде корисною як для представників академічної спільноти, так і для більш широких кіл зацікавлених читачів.

Р. І. Філіппенко

НОВИЙ КРОК У ДОСЛІДЖЕННІ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

29 листопада 2016 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбувся круглий стіл на тему "Позитивізм: рефлексії щодо класичної моделі історіописання". Цей науковий захід був приурочений до 50-річного ювілею проф. О.М. Богдашиної. Привітати відому дослідницю феномену позитивістської історіографії – у формі презентації своїх наукових наробок – зголосилися представники чільних осередків історичної науки не лише Харкова, але також Києва, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва.

Ще до початку круглого столу було видано збірник його матеріалів (українською, російською та англійською мовами). До нього увійшли в т. ч. розвідки й тих науковців, які з поважних причин не змогли взяти участь у цьому круглому столі. Серед них такі знані дослідники в галузі історіографії як В. М. Андреєв, В. В. Ващенко, І. Н. Войцехівська, В. І. Воронов, І. Б. Гирич, Я. С. Калакура, О. О. Ковальчук, І. П. Куций, А. М. Острянко, В. А. Потульницький, С. І. Світленко та інші.

У своєму огляді я детальніше зупинюся на низці доповідей і статей, які, на мою думку, розкривають найцікавіші аспекти і тематичні виміри запропонованої проблеми.

Робота круглого столу розпочалася із вітального слова до його учасників ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди, академіка І. Ф. Прокопенка. Після цього із доповіддю ("Позитивізм в історичній науці в Україні: сучасні образи класичної моделі історіописання") виступила професор О. М. Богдашина. Висвітлюючи сучасний стан вивчення в Україні позитивістської моделі історіописання, доповідачка запропонувала низку питань для обговорення. А саме:

1) Чи варто вважати позитивізм лише парадигмою або його слід розглядати ширше – як модель історіописання? О. М. Богдашина, спираючись на сучасну англо- і польськомовну наукову літературу, надає перевагу другому підходу. Вона вважає, що для позитивізму є властивою низка важливих атрибутів саме "моделі історіописання" – теорія, методологія, практика, світосприйняття, саморефлексія тощо.

2) Наскільки доцільним є віднесення певного автора до кола прихильників позитивізму? Наскільки виправданим є застосування конструкту "історична наука в Україні" при характеристиці полінаціонального наукового співтовариства другої половини XIX – початку XX ст.? У цьому зв'язку О. М. Богдашина звернула увагу на те, що сприйняття позитивізму в Україні не було повсюдним і завершеним навіть у період його домінування. Адже

© Сєряков С., 2016

на українських землях у добу позитивізму паралельно успішно функціонували як старі моделі історіописання (романтизм і гегельянство), так і нові підходи до пояснення історичної реальності (марксизм, неокантіанство, неоромантизм). Конструкт "історична наука в Україні" О. М. Богдашина вживає для позначення певного інтелектуального простору, котрий конструюється, виходячи з історичних та етнокультурних меж побутування українства в XIX – XX ст.

3) Періодизація розвитку позитивістської історіографії в Україні. На думку О. М. Богдашиної, вона включає п'ять періодів – а) доба передпозитивізму, коли відбувається перехід від романтичного до позитивістського наративу (1840-і –початок 1860-х рр.); б) "ранній" позитивізм (1860–1870-і рр.); в) модернізований позитивізм (1880 – 1890-і рр.); г) криза класичної моделі позитивістського історіописання (перші десятиліття XX ст.); д) доба модернізованого позитивізму (1920-і рр.). Доповідачка наголосила на тому, що вона не вважає запропоновану нею періодизацію вичерпною і припустила можливість її подальшого корегування – з урахуванням новітніх досліджень у цій царині.

4) Якою власне є структура позитивістської моделі історіописання? На думку О. М. Богдашиної, вона містить у собі такі головні елементи як віра у суспільний прогрес, визнання закономірності і багатофакторності історичного процесу, розробка теорії суспільної еволюції, абсолютизація ролі історичного джерела.

5) Роль позитивістської моделі історіописання і її окремих представників у розвитку науки є недооціненою. У цьому зв'язку О. М. Богдашина звернула увагу на те, що саме у добу позитивізму в Україні відбувається інституціоналізація історичної науки, активізується видання джерел, розширюється проблемне поле досліджень (насамперед шляхом включення до нього соціально-економічної проблематики) тощо.

Професор Харківської державної академії культури С. І. Лиман у своїй доповіді ("До и во время позитивизма: историософские взгляды медиевистов Украины в 1804 – первой половине 1880-х гг.") охарактеризував головні періоди у тодішньому розвитку медієвістики в Україні. А саме: 1) трансверсивний або транзитивний (1804 р. – середина 1830-х рр.); 2) аверсивний (середина 1830-х рр. – середина 1860-х рр.); 3) конверсивний (середина 1860-х – середина 1880-х рр.). Вони відрізняються між собою не лише ступенем виокремлення медієвістики в окрему історичну дисципліну і широтою проблематики досліджень, але й своїм ідейно-методологічним підґрунтям. У перший період в такій ролі виступає романтизм, який співіснує із рецидивами просвітницьких підходів. В аверсивний період домінує гегельянство, а наприкінці його медієвістика в Україні починає відчувати імпульси ідей позитивізму. Останній стає головним ідейно-

методологічним дороговказом у конверсивний період, тоді як впливи гегельянства зменшуються. Водночас, на думку автора, вищезгадані якісні трансформації не мали в медієвістиці України повсюдного характеру. Скажімо, С. І. Лиман акцентував увагу на тому, що у вивченні слов'янського середньовіччя навіть у 1870-1880-х рр. фіксуються ідейно-методологічні рецепції романтизму.

Великий інтерес в учасників цього круглого столу викликала доповідь О.Є. Музичка («Позитивізм у південноукраїнському історіографічному процесі середини XIX – перших десятиліть XX ст.: постаті, етапи, особливості»). В ній докторант Одеського національного університету імені І. І. Мечникова проаналізував особливості рецепції ідей позитивізму серед науковців південної України, і насамперед – викладачів Новоросійського університету.

Професор С. М. Куделко (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) присвятив свою доповідь ("До питання про прогностичну функцію історіографії") одному з найбільш контроверсійних атрибутів позитивістського дискурсу. Звертаючись до нього, доповідач спробував окреслити найвірогідніші напрямки розвитку української історичної науки у ближчій перспективі. На думку С. М. Куделка, епоха повсюдного захоплення постмодернізмом добігає кінця. Численні яскраві маніфести його представників є прикладом "мистецтва заради мистецтва", які дають небагато цінного з точки зору розуміння суті минулого. В цій ситуації, на думку доповідача, існує вірогідність чергового "повернення" позитивізму.

Професор С. В. Бережна (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) у своїй доповіді ("Становлення історичної компаративістики як методології та антропологічної епістемології") наголосила на важливій ролі компаративного підходу у сучасних культурно-антропологічних студіях. Особливу увагу авторка звернула на специфіку порівняння на макро- і мікрорівні, яка має в т. ч. різне методологічне підґрунтя (у першому випадку в такій ролі виступає цивілізаційний або формаційний підхід, а у другому – краєзнавчий підхід і історія повсякденності. На думку С.В. Бережної, саме на рівні мікроісторії відбувається найбільша антропологізація історичних порівнянь, а історична компаративістика набуває характеру антропологічної епістемології. Непередбачуваність дій окремих індивідів втім підважує уявлення про існування історичних закономірностей, актуалізуючи тим самим проблему співвідношення в історичній компаративістиці одиничного і загального.

Перша панель круглого столу («Ідеї першого та другого позитивізму в історичній науці другої половини XIX – XX ст.: рецепція та ревізія») закінчилася виступом Т. С. Китиченко – викладача Харківського державного училища фізичної культури №1. У своїй доповіді дослідниця узагальнила результати вивчення позитивізму сучасними істориками України.

Другу панель цього круглого столу («Діяльність університетських наукових співтовариств та творчість істориків доби позитивізму») відкрив професор С. І. Посохов (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). У своїй доповіді ("Позитивізм та марксизм: ремарки до відомих тверджень") він наголосив на тому, що другу з цих ідейних систем – попри наявність певних методологічних відмінностей – таки можна вважати модифікацією першої. Адже обидві вони прагнули до якісної зміни суспільної реальності (хоча й різнилися у розумінні методів цих перетворень), претендували на прогностичну функцію, ґрунтувалися на концепції суспільного прогресу і вірі в наявність об'єктивних незмінних законів розвитку. Схожою бачиться доповідачу також сучасна доля позитивізму і марксизму, чий науковий статус нині є підваженим. І якщо в першому випадку це зумовлюється суто інтелектуальними чинниками (зокрема, йдеться про виклик постмодернізму та домінування некласичної і постклasичної історіографії), то в другому – радше політико-ідеологічними причинами. На думку С. І. Посохова, українські науковці несправедливо ігнорують марксизм, ототожнюючи останній із комуністичною ідеологією і політичними режимами, що ґрунтувалися на ній. При цьому забувається, що марксизм справив потужний вплив на розвиток західної гуманітаристики XX ст., знайшовши відбиток у творчості таких знакових фігур як Макс Вебер, Мішель Фуко, Жан Поль Сартр, Ерік Гобсбаум і Бенедикт Андерсон.

Варто також виокремити надзвичайно цікаву і ґрунтовну доповідь доцента Ю. А. Кісельової (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) - "Комунікативні стратегії історіографів у добу позитивізму (на матеріалах імператорського Харківського університету)". Як зазначила доповідачка, саме у цей період активізується процес не лише сцієнтизації історичної науки, але й самоорганізації вчених, які займалися її різними сегментами (в т. ч. питаннями історіографії). Досліджуючи епістолярну спадщину викладачів Харківського університету, Ю. А. Кісельова доводить, що важливу роль у процесі консолідації історіографів відіграло утворення мережі неформальних наукових співтовариств. Вони ґрунтувалися на сталих міжпоколіннєвих контактах, які виникали у межах певної наукової школи (за принципом вчитель-учень), або ж встановлювалися між представниками різних академічних середовищ (як у випадку В.П. Бузескула і В. І. Гер'є). Утворення цих "незримих коледжів" дозволило на початку 1880-х рр. перейти до реалізації перших історіографічних проектів (зокрема, йдеться про ініційовану М. І. Карєєвим підготовку і видання "Систематического указателя исторической литературы").

Професор Є. Г. Сінкевич (Чорноморський національний університет імені Петра Могили) у своїй доповіді ("Засади позитивізму в науковій і суспільно-політичній діяльності представників Краківської історичної шко-

ли”) актуалізував надзвичайно важливу проблему – про умовність критеріїв поділу академічного середовища на наукові школи і можливість “дрейфу” їх представників від однієї ідеологічної парадигми до іншої. Це явище розглядається доповідачем на прикладі Краківської історичної школи (йдеться не лише про перехід від романтизму до позитивізму її засновника, Юзефа Шуйського, але й про концептуальні міграції – в напрямку неоромантизму – учнів Станіслава Смольки). Є. Г. Сінкевич підкреслив, що польський позитивізм – попри те, що зазнав певних концептуальних впливів з боку західноєвропейської науки – був зумовлений також місцевими чинниками. Зокрема, йдеться про поразку Січневого повстання (1863–1864 рр.), яка засвідчила недієвість романтичної стратегії розвитку польського народу (із наголосом на збройній боротьбі за незалежність) та необхідність пошуку інакших шляхів реалізації його нагальних інтересів.

Доцент О. Г. Павлова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) у своїй доповіді охарактеризувала внесок Ф. І. Шміта у розвиток теоретичних засад мистецтвознавства.

В. С. Романовський (Харківське історико-філологічне товариство) розглянув теоретичні засади пам`яткознавчих досліджень членів Харківського історико-філологічного товариства в 1877–1919 рр.

Надзвичайно цікавим виявився також зміст третьої панелі круглого столу («Постпозитивістський етап розвитку історичної науки: нові виклики»). Її робота розпочалася з виступу В. Г. Берковського – директора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (“Роберт Пол Бренер та дискусія про ґенезу капіталізму в Європі”). На думку доповідача, Бренер відіграв надзвичайно важливу роль у цій запеклій науковій суперечці, яка тривалий час точилася у західній гуманітаристиці. Критикуючи адептів мальтузіанської моделі соціально-економічних трансформацій у добу пізнього середньовіччя і ранньомодерний час (М. Постана, Е. Ле Руа Ладюрі і ін.), Бренер наголосив на важливості врахування екзогенних факторів (і насамперед – класової структури суспільства). Як підкреслив В. Г. Берковський, теоретичні наробки цього американського науковця органічно доповнили марксистську концепцію економічного розвитку. Саме Бренер звернув увагу на необхідність проведення окремого аналізу – безвідносно до демографічних і економічних процесів – тих взаємовідносин, які існували всередині окремих класів і між ними.

Доцент Запорізького національного університету І. М. Шугальова у своїй доповіді (“Традиції позитивізму в епоху постмодерну: методологічні підходи до аналізу діяльності православних церковних інституцій Наддніпрянщини в умовах трансформації суспільства (XIX – початок XX ст.”) звернула увагу на те, що нині в українській історіографії постає чимало еклектичних

праць, які поєднують методологічні засади позитивізму і постмодернізму. На думку І.М. Шугальової, це певною мірою пов’язано із запізненим розвитком української історичної науки, котра у добу постмодернізму вимушена вирішувати завдання, яке вже давно реалізоване в західній історіографії – вибудовувати свій національний історичний наратив. Як зазначила доповідачка, вона воліє поєднувати при дослідженні православних інститутів традиційні методи і принципи наукового пізнання із сучасними підходами у західноєвропейській історіографії (при цьому перевагу надає саме останнім). Аналізуючи методологічне підґрунтя історії церкви на терені Наддніпрянської України в XIX – на початку XX ст., І. М. Шугальова звернула особливу увагу на такі ключові поняття як православні інститути, органи церковного управління, трансформація суспільства і модернізація.

Доцент В. В. Склокін (Український католицький університет, м. Львів) у своїй статті (“Debates on the public use of history in contemporary Ukraine (essay)”) намагався з’ясувати, яку ж саме практичну роль відіграє історія в сучасному українському суспільстві. В цьому зв’язку він зазначає, що у пострадянській Україні загалом склалося два підходи до розуміння власної історії (йдеться про прихильників і противників її “націоналізації”). В обох випадках, як вважає В. В. Склокін, історія так чи інакше відіграє інструментальну функцію. Скажімо, метою “націоналізованої” історії є зміцнення національної ідентичності або обслуговування поточних політичних потреб. Появу “національної парадигми” як мейнстріму української історіографії після 1991 р. В. В. Склокін пояснює не лише схильністю більшості українських істориків до сприйняття минулого у формі ортодоксального метанаративу. Не менш важливу роль, на думку львівського дослідника, відіграло також бажання частини вітчизняних істориків, котрі раніше перебували в опозиції до радянського режиму, реанімувати “справжню історію України”, яка асоціювалася ними із українською історіографією другої половини XIX – початку XX ст. Відтак радянську візію історії (у категоріях історичного матеріалізму і цивілізаційної конфронтації схід-захід) швидко й безболісно заступила схема споконвічної боротьби українського народу за своє соціальне, національне, релігійне etc. звільнення. Критики “національної парадигми” української історії також не відкидають цілком практичної функції історії, звужуючи її до сфери шкільної історії (Н. М. Яковенко), або ж вбачаючи в цьому знаряддя деконструкції існуючих міфів і стереотипів (Г. В. Касьянов). Пошуки представниками обох таборів української історіографії нової соціальної ролі історії, на думку В.В. Склокіна, не є втім українською специфікою. Вони відображають ті цілісні парадигматичні зміни, які відбуваються у західному історіописанні в останні десятиліття XX ст.

Доповіді професора В. М. Скляра (Національний технічний університет «ХПІ»), а також гостей з Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (Н. О. Зіневич та Т. С. Сторожко) були присвячені теоретико-методологічним аспектам націотворчих процесів у незалежній Україні. Перший з цих доповідачів охарактеризував характерні ознаки етномовного складу населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донбасу. Своєю чергою у доповідях Н. О. Зіневич («Між уявленнями та досвідом: сучасні тенденції усної, перформативної та візуальної історії») і Т. С. Сторожко («Усноісторичні колекції наративів ромів на перетині позитивістських канонів та постмодерністських підходів») йшлося про специфіку використання позитивістської методології у різних царинах сучасної історичної науки.

Підсумовуючи, варто зазначити, що круглий стіл викликав чималий інтерес серед викладачів і студентів історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У цьому пересвідчує не лише їх численна присутність, але й активна участь у роботі даного наукового заходу. Ґрунтовні доповіді, цікаві питання і змістовні дискусії створили ту яскраву інтелектуальну тканину, з якої безперечно можна зшити новий концептуальний одяг для такого старого історіографічного явища як позитивізм. У цьому зв'язку хочеться побажати, аби такі цікаві наукові зустрічі набули регулярного характеру. А ювілярці зичимо міцного здоров'я і нових творчих звершень!

С. Сєряков

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АТЗ – Академія теоретичних знань.

ХІНО – Харківський інститут народної освіти.

ХПІПО – Харківський педагогічний інститут професійної освіти.

ХФХМІ – Харківський фізико-хіміко-математичний інститут.

УІЖ – Український історичний журнал.

ГАПО – Государственный архив Полтавской области

ИР НБУВ – Институт рукописи национальной библиотеки им. В.И. Вернадского НАН Украины

Труды ЧАК – Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии

ЧИМ – Черниговский исторический музей им. В.В. Тарновского

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Бобилєва Світлана Йосипівна – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Богдашина Олена Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Буллер Андреас – доктор філософії, референт Міністерства інтеграції землі Баден-Вюртемберг (Штутгарт, ФРГ).

Венгер Наталія Вікторовна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вовк Ольга Ігорівна – кандидат історичних наук, заступник директора Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ганус Сергій Олексійович – ст. викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.

Єкельчик Сергій Олександрович – доктор філософії, професор кафедри історії, германістики та славістики Університету Вікторії (Канада).

Єремєєв Павло Вікторович – кандидат історичних наук, доцент кафедри Східної Європи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Журба Олег Іванович – докторі історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара.

Зашкільняк Леонід Опанасович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Іващенко Вікторія Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Каплін Олександр Дмитрович – доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Кароєва Тетяна Робертівна – доктор історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Кісельова Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Куделко Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Лаас Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, наук. співробітник відділу історії України другої половини XX століття Інституту історії України НАН України.

Литвинова Тетяна Федорівна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Посохов Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Посохова Людмила Юріївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Світленко Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Сєряков Сергій Олегович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Склокін Володимир В'ячеславович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України Українського католицького університету (м. Львів).

Турстон Роберт – заслужений професор Університету Майамі (Огайо, США).

Філіппенко Ростислав Ігорович – кандидат історичних наук, доцент Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Харченко Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ходченко Олена Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Шаталов Денис Валерійович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» (м. Дніпро).

ЗМІСТ

Посохов С. І. Від редактора 3

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

Буллер А. Вопросы Геродота 5

Зашкільняк Л. О. Про свободу і обмеження в пізнанні минулого: українська історіографія на початку XXI століття 14

Посохов С. І. «Свої», «чужі», «інші»: проблеми та перспективи імагології 28

ІСТОРІЯ ІСТОРІЇ

Богдашина О. М. Історик та влада: сюжети, міркування та застереження 43

Ганус С. А. Иной как инаковый в построениях немецкой просветительской исторической мысли XVIII в. 55

Єремєєв П. В. Конструювання меж старообрядництва в російській науковій літературі та публіцистиці XVIII – початку XX ст. 69

Каплин А. Д., Харченко И. М. Славянофилы и западники во взаимных оценках 1850-х гг. 79

Киселева Ю. А. Эмоциональное маркирование в историографических текстах (на примере историографических работ В. П. Бузескула) 90

Світленко С. І. «Свої» і «чужі» символи історичної пам'яті у світогляді та творчій спадщині Д. І. Яворницького 103

«СВОЄ» Й «ЧУЖЕ» В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ'ЯТІ

Бобылева С. И. Дневниковые записи немецкой домохозяйки как медиум памяти 115

Венгер Н. В. Низовой национализм как форма общественных отношений в поздней Российской империи: эмоционологический анализ «немецкого вопроса» 128

Вовк О. И. Специфика репрезентации знаний о прошлом в современном медиапространстве (на примере биографии В. Н. Каразина) 148

Журба О. І. Історична культура Катеринославщини та особливості формування історичної пам'яті регіону 163

Іващенко В. Ю. «Свої» та «чужі» в університетській пам'яті (на матеріалах спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр.) 174

Кароєва Т. Р. Основні канали ознайомлення українського суспільства другої половини XIX – початку XX ст. з власним минулим 188

Куделко С. М. Проблеми кордонів Східної України: історіографічні нотатки 201

Литвинова Т. Ф. Историческая память и инструментализация прошлого в социальных проектах дворянства Левобережной Украины середины XIX в. 210

Посохова Л. Ю. Митрополит Іоан (Максимович) про «своє» та «чуже» в автобіографічному творі «Подорожній» (1711 р.) 218

Thurston Robert W. Where Do They Get Their History (and Politics)? Romancing the Past, Present, and Trump, Too 228

Ходченко Е. Е. Канадский фронтир глазами иммигрантов (конец XIX – начало XX вв.) 242

Шаталов Д. В. Українські землі, імперська історія: козацькі пам'ятки у сприйнятті російських мандрівників кінця XVIII – першої половини XIX ст. 252

ІНТЕРВ'Ю

Тягар упізнаваних понять: Інтерв'ю Наталі Лаас з професором Сергієм Єкельчиком 262

СПОГАДИ

Бочаров М. И. Из истории моей жизни. Воспоминания, навеянные моими беседами с внуками 286

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Л. М. Баткин: материалы к биографии 300

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Журба О. І. Історична культура імператорської Росії і українська історіографія 305

Рец на кн.: Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом : коллект. моногр. в честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А.Н. Дмитриев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2012. – 551 с.

Кісельова Ю. А. Історик і час

Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – 210 с. 315

Склокін В. В. Про перспективи і небезпеки інструменталізації історії. Міркування з приводу «Історичного маніфесту» Девіда Армітеджа і Джо Ґулді 319

Рец. на кн.: David Armitage, Jo Guldi. The History Manifesto. – Cambridge, 2014

Філіппенко Р. І. Історіографічні образи засновника Харківського університету 323

Рец. на кн.: Вовк О. І. Постать Василя Каразіна в історіографії / О. І. Вовк ; наук. ред. С. М. Куделко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.

Сєряков С. Новий крок у дослідженні позитивістської історіографії 326

Список скорочень 333

Відомості про авторів 334

Наукове видання

Харківський історіографічний збірник
Вип. 15

(Укр., рос. та англ. мовами)

Комп`ютерне верстання М. В. Гречишкіна
Макет обкладинки І. М. Дончик

Відповідальний за випуск проф. С. І. Посохов

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк ризографічний
Умов. друк. арк. 16,7 Тираж 100 прим.

61022, Харків, майдан Свободи, 4
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №3367 від 13.01.09